

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА **Р** БОЛЬШИЕ КНИГИ

Дмитрий  
Балашов

ГОСУДАРИ  
МОСКОВСКИЕ

Бремя власти  
Симеон Гордый

« А З Б У К А »





Русская литература. Большие книги

Дмитрий Балашов

**Государи Московские: Бремя  
власти. Симеон Гордый**

«Азбука-Аттикус»

1981, 1983

УДК 821.161.1  
ББК 84(2Рос-Рус)6-44

**Балашов Д. М.**

Государи Московские: Бремя власти. Симеон Гордый /  
Д. М. Балашов — «Азбука-Аттикус», 1981, 1983 — (Русская  
литература. Большие книги)

ISBN 978-5-389-25347-6

«Государи Московские» – монументальный цикл романов, созданный писателем, филологом-русистом, фольклористом и историком Дмитрием Балашовым. Эта эпическая хроника, своего рода один грандиозный роман-эпопея, уместившийся в многотомное издание, охватывает период русской истории с 1263 до 1425 года и уже многие десятилетия не перестает поражать читателей глубиной, масштабностью, яркостью образов и мастерской стилизацией языка. Вместе романы цикла образуют своего рода летопись, в которой исторические события жизни крупных княжеств разворачиваются год за годом, где отражены быт и нравы различных сословий, представлены судьбы, облик и характер сотен исторических деятелей. В настоящий том вошли романы «Бремя власти», посвященный огромной по историческому масштабу борьбе московского князя Ивана Калиты за объединение Руси, и «Симеон Гордый», повествующий о судьбе и правлении старшего сына и наследника Ивана Калиты – князя Семена Ивановича.

УДК 821.161.1  
ББК 84(2Рос-Рус)6-44

ISBN 978-5-389-25347-6

© Балашов Д. М., 1981, 1983

© Азбука-Аттикус, 1981, 1983

# Содержание

Бремя власти	7
Взгляд с высоты	7
Пролог	11
Часть первая	13
Глава 1	13
Глава 2	16
Глава 3	20
Глава 4	24
Глава 5	26
Глава 6	27
Глава 7	32
Глава 8	35
Глава 9	37
Глава 10	40
Глава 11	43
Глава 12	47
Глава 13	50
Глава 14	52
Глава 15	53
Глава 16	55
Глава 17	58
Глава 18	61
Глава 19	65
Глава 20	66
Глава 21	67
Глава 22	69
Глава 23	72
Глава 24	73
Глава 25	76
Глава 26	78
Глава 27	82
Глава 28	84
Глава 29	86
Глава 30	87
Глава 31	89
Глава 32	92
Глава 33	95
Глава 34	97
Глава 35	99
Часть вторая	102
Глава 36	102
Глава 37	104
Глава 38	105
Глава 39	108
Глава 40	112
Глава 41	116

Глава 42	117
Глава 43	119
Глава 44	123
Глава 45	125
Глава 46	129
Глава 47	133
Конец ознакомительного фрагмента.	135

# **Дмитрий Балашов**

## **Государи Московские. Бремя власти. Симеон Гордый**

### **Бремя власти**

#### **Взгляд с высоты**

Судьбы людей существуют в истории, и историей определяются беды и радости, успехи и скорби любого из нас, каждой брenneй и временной человеческой судьбы, для которой краткий миг ее земного бытия вмещает в себя безмерность мироздания, с чудесами далеких земель и алмазными россыпями бесчисленных горных миров в океане небесном.

Прежде чем снизойти с горней вышины к тверди земной и погрузить ум в кишение страстей злободневных, в суету сует, в судьбы, не ведающие вышней предначертанности своей, – ибо так, близко-поблизку, погодно, от 1328 и до 1341 года будем мы разглядывать ныне тревожную историю родимой земли, – обозрим с высоты свершившееся в мире к началу описанных событий, дабы понять, к чему и зачем были труды и подвиги ныне исчезнувших людей и какой смысл имело то, что содеивал московский князь Иван Калита в исходе первой половины сурового и скорбного четырнадцатого столетия.

Птица, что летит над землею, вытянув клюв и упорно махая крылами, видит леса и поля, видит курящие дымом деревни, и для нее невнятен тайный смысл человеческого бытия. Чьи кони движутся там, внизу, по тонким извивам дорог? Какою молвью толкуют люди? От мирных костров или ратных пожарищ восходят огонь и столбы горячего горького воздуха, опасного распростертым в аере крыльям? Птица не ведает истории, и человек, неспособный взлететь над землею, видит подчас много больше птицы, ибо он смотрит духовным взором и провидит неразличимое с высоты, но внятное разуму, видит не токмо огонь живой, но и свечение пламени духовного, видит взлеты и угасания того огня, коим живут и движутся судьбы народов.

И прежде всего, оглядев с высоты земное бытие, поразимся и ужаснемся тому, как ишшая и померк к началу четырнадцатого столетия духовный огонь Византии, как умалился, едва ли не до полного исчезновения своего, – светоч, еще недавно распростертый над тьмою тем языков и народов.

По землям славян от Адриатики и до Дуная, в Болгарии и Сербии, и до Карпатских гор, и за Карпатами, в Галиче и на Волыни, и по всей русской земле до самого моря Полуночного, и оттоле до Волги и до Оки, и под горами Кавказскими, в землях ясов, и в Дагестане – древнем Серире, – и за горами Кавказа в Грузии, в Великой и Малой Армении, и в Малой Азии – в Киликии, Фригии, Сирии, – и на склонах Ливана, и даже под властью султанов в Месопотамии и Египте, и в дальней Абиссинии, и по всей Греции – в Эпире, Фессалии и Пелопоннесе, во Фракии и Македонии – всюду простерлась православная вера. А последователи отверженного патриарха Нестория пронесли ее сквозь земли Ирана, Согдиану и Семиречье в Кашгарию и Турфан, и до монгольских степей, к берегам Селенги, и к далекому Чину – даже и туда, в Китай, достигло слово Христа. Таково было свечение духовного огня Византии в двенадцатом совсем еще недавнем столетии.

Но вот минули немногие десятки лет, и по всему Ближнему Востоку, от Нила и до Инда, словно меч гнева или губительный смерч, прокатилась гибель на православное христианство. Мусульмане захватили всю Ближнюю Азию. Погибли в страшной резне конца тринадцатого

века христиане Сирии и Армении, Дамаска, Эдессы и Антиохии, Тира, Сидона, Газы и Акры. Пали древние церкви, основанные еще первыми пустынножителями и пророками. В Африке едва устояла одна Абиссиния, а в Малой Азии мусульманские султанаты турок, сельджуков и османов подступили к самым стенам древнего града Константина. Уже раздавлена и растоптана копытами чуждых завоевателей Армения, пленена Грузия и земля ясов-алан попала в плен иноверным. Уже и в Иране в 1295 году ильхан Газан принял ислам, и вскоре, в 1319 году, вырезаны несториане персидские. И в те же годы пала, с воцареньем Узбека в Орде, христианская вера у кочевников-монголов. Исчезли, растаяли к исходу тринадцатого столетия общины христиан в Китае, умалилось христианство в Турфане и Индии. А в самой Византии и в сопредельных землях створилось гибельное разномыслие. Бесконечные церковные споры сотрясают гибнущую Византию, и сами кесари великого города склонили слух к приятию унии с Римом. Лишь горсть монахов в горе Афонской еще блюдет истинное православие, в суровой аскезе добываясь лицезрения света фаворского.

А великую некогда землю Руси поделили Литва и Орда, и уже под стены Пскова и Новгорода, уже на земли Галича и Волыни, уже к Смоленску и Твери дотягивают властные руки литовских князей, о коих полтора века назад и слыху не бывало на Руси Великой!

И долго ли простоит еще княженье владимирское, подвластное мусульманскому хану? И не угаснет ли последний отблеск византийской веры и там, в Залесской Руси, единственно оставшемся осколке размахнувшейся некогда на тысячи поприщ киевской державы? А с ним, со светом этим, с отблеском былого огня, не угаснет ли, не обратит ли во снедь иноверцам и сама земля русичей, не исчезнет ли язык словенск в волнах иных народов? Ибо что иное, кроме веры, обрядов, отчих заветов родимой старины, способно совокупить и удержать народ в быстробегущем потоке времен? И, строго оглядевши с высоты, невозможно было бы не изречь, что да, исчезнет и растворится и смеркнет совсем свет православия и с ним вместе имя Руси Великой!

Еще тянет дымом пожара сожженной Твери, самого сильного града земли владимирской, а тверской князь Александр отсиживается сперва во Пскове (Плескове по-древнему), а оттоле бежит в Литву, под руку великого князя литовского Гедимина.

Малый прок Залесья: Москва с прилегающими немногими градами осталась неразоренной и необезлюженной после многолетней распри московских князей с тверскими. Малый прок, малый, ежели поглядеть с высоты, останок земли, малый и слабый, ибо не дерзают днесь ни на какую великую борьбу с соседями князья владимирские. И сам Иван Данилович Калита, брат покойного Юрия Московского, разделивший великое княжение владимирское с суздальским князем, не дерзает уже на ратные споры, послушно исполняя наказания хана, и Бог весть, удержит ли еще власть, вернее, тень власти в родимой земле!

А литовские полки, охавив уже всю землю Руси до Киева, рвутся дальше и дальше, дерзают спорить с ханом; и, огрызаясь, пустоша землю набегами, отступают, уходят татарские рати, отдавая Литве город за городом и волость за волостью. И, поглядев с высоты, кто бы не сказал в те поры, что недалек день, когда и последние волости русские исчезнут, подчиненные Литвою, и два великих соперника, Литва и Орда, столкнутся в последнем бою за обладание этой землею, обратить которую в католичество – в «веру латинскую» – уже и сейчас деятельно хлопочут легаты, епископы и кардиналы папского Рима?

Погубленная после убиенья Шевкалова в 1327 году Тверь, во главе со своим беглым князем, откачет к Литве, Псков и Новгород тоже перейдут под руку великого князя литовского Гедимина, а ослабленная двадцатилетнею борьбою Москвы и Твери залесская земля угаснет, истает, обратившись в прохожее и проезжее пограничье меж сильными соседями, которые во взаимных походах окончательно истребят все живое и несхожее с ними, что еще уцелело здесь от великой, легендарной, невозвратимой киевской старины.



Вот что сказал бы тот, кто нелюбезно обозрел с высоты русскую землю к тому часу и дню, когда московский князь Иван Калита вернулся из похода под Псков, откуда он выгонял, по приказу хана Узбека, беглого тверского князя Александра Михайловича. Вот что сказал бы горный мудрец; и мы сами, вновь перебрав и пересмотрев нелюбезно и строго все сущее в мире и на Руси к 1328 году по Рождестве Христовом, что сами мы должны были бы изречь, не зная грядущей судьбы родимой земли? Ибо грядущего не ведает никто, а мудрецы дерзают лишь объяснять совершившееся в прошлом и о том, что должно произойти, судят по преждебывшему. Да, сказали бы мы в 1328 году, видна простому оку близкая гибель православия, на коем держалась не одна Византия, но и земли славян, но и Великая Русь. Да, этой духовной опоры своей мы вскоре будем лишены. Это был бы первый наш вывод и первое заключение при взгляде с высоты.

Да, невероятно усилилась Литва, выросла в грозную державу и продолжает расти, поглощая русские земли одну за другой. И уже теперь великий князь литовский Гедимин стал едва ли не сильнее повелителя Золотой Орды хана Узбека, сравнялся с польским королем и теснит орденских немцев, еще недавно безраздельно хозяйничавших в Прибалтике. Да, в Орде окончательно утвердилось мусульманство, и уже теперь смешно мечтать о союзе Руси со степью, обращении в христианство татар и скором одолении властных кочевников. Литва и Орда, Гедимин и Узбек – вот две истинные силы и два непримиримых противника на холмистых просторах Восточной Европы. Да, всё так! И это был бы второй нелюбезный вывод при взгляде с горней высоты на землю русичей.

А в самой залесской земле, в пределах великого княжения владимирского, что увидим мы там, приглядевшись с высоты?

Увидим мы, что самое сильное княжество земли – Тверское, с городом Тверью, – разгромлено, и, значит, вся владимирская земля стала много слабее. Убит в Орде Михаил Тверской. Убит в Орде старшим сыном Михаила, Дмитрием Грозные Очи, противник его отца, московский князь Юрий Данилович. Казнен ханом Узбеком и сам Дмитрий Грозные Очи. Второй из четверых сыновей Михаила Тверского, Александр, получивший было, вослед отцу и брату, великое княжение, изгнан год назад из сожженной Твери, и на тверском княжении сидят сейчас младшие Михайловичи – Константин и юный Василий Кашинский. А великое княжение только частью досталось московскому князю Ивану, другая часть, с городом Владимиром, отошла князю суздальскому, Александру Васильевичу. И уже почти независимым стал Господин Великий Новгород, и совсем отпали от власти великих князей владимирских земли рязанская, брянская и смоленская. И значит, нет в Залесье единой непререкаемой власти, как в Литве или Орде, а то, что есть, рассечено нелюбием и враждою и не может противустати врагам как единая Русь... Да полно, сохранилось ли еще само понятие Руси Великой? Мыслят ли себя еще новгородцы или рязане единым народом с владимирцами, тверичами или смолянами? Или только в древних харатях да в головах книжечеев-философов и осталась мечта о единой Великой Руси? Не узрит наше око с выси горней в 1328 году нужного единства Руси пред лицом Литвы с Ордою! А узрит только разброд и разор, и посему не инако возможем мы помыслить о грядущем земли, как со скорбью и с унынием, не чая уже спасения языку русскому. И это был бы третий и последний наш вывод при взгляде с высоты. Вывод о неизбежном конце и гибели русской земли.

И только одного не узрим мы с выси горней, ибо того и невозможно узрети издалека: не узрим того, как думают и чувствуют, чего хотят и чему верят сами залесские русичи – наполненные волею к жизни и отнюдь не догадывающиеся о возможной и скорой гибели своей, – на что способны они в дерзанье своем, сколько скрытых сил, сколько надежд хранят в себе эта земля и этот язык! Ибо не может даже и самый великий спасти народ, уставший верить и жить, и тщетны были бы все усилия сильных мира сего, и не состоялась бы земля русичей, и угасла бы, как угасла вскоре Византия, ежели бы не явились в народе силы великие, и дер-

зость, и вера, наполнившие смыслом деяния князей и епископов и увенчавшие ратным успехом подвиги воевод.

И тут мы сойдем с высоты и начнем наш рассказ, уже не вздымаясь ввысь, а пристально внимая тому, что происходит на этой недавно наполовину сожженной татарским нашествием лесной и суровой земле.

## Пролог

В холодных пробелах дымно клубящегося неба давно уже не вспыхивала небесная голубень. Сизые волглые лохмы, цеплявшие за верхушки дерев, тяжело и страшно влеклись над самой землею. И по меркнушему, призрачно-желтоватому свету в горних провалах туч чуялся близкий вечер.

Серая пелена небес моросила дождем. Лес застыл, кроткий под непрерывною капелью, роняя пожухлые, почернелые клочья своего убора. Лес знал, что это последняя влага перед близкой зимой, и потому стоял тихий и смиренный, не лез блеском листьев, не лопался почками, не острил встречу дождя тонкие иголки трав, а словно грустил понуро или засыпал, уже не впитывая стоявшие озерцами среди кочек лужицы ненужной ему воды. Ручей, что едва струился летом, огибая ржавые, поросшие осокою отмели, сейчас сердито ревел, обратясь в пенистый поток, и только один его голос врывается непрошено в осеннее безмолвие лесов.

Шуршание обложного дождя гасило все прочие звуки, и потому скорее по шевелению раздвигаемых ветвей, чем по чавкающему зову шагов можно было понять, что в лесу кто-то есть. Обдирая плечами мокрую преграду кустов вдоль заросшей и заколодевшей тропинки, двигались трое: корова, женщина и ребенок.

Грубая старинная пословица молвит: пусти бабу в рай, она и корову за собой волокет. Рай не рай (очень даже не раем был дождик, зарядивший из утра да так и не кончавший, даже и гляду не было, что разъяснит!), но действительно вели корову, купленную или иначе достанную, и вели явно к себе, ибо не так ведут животное продавать, дергая за вервие и уже заранее как бы отчуждаясь. Здесь, напротив, вели бережно и сами жались к корове, к теплу ее обширного чрева, принаравливая свои шаги к разлатой колеблющейся поступи вековечной крестьянской кормилицы. Женщина шла пригорбясь, изредка нашептывала слова древнего скотьего заговора, и вела бело-пеструю красулю на веревке за собой, а та покорно, покачивая рогатой большой головой, ступала за нею вслед, изредка взмахивая хвостом и слизывая с губ большим шершавым языком капли дождя. Шерсть на ней потемнела и лоснилась от стекающей влаги. Мальчик шел сзади, дабы подгонять корову, но он не столько подгонял, сколько сам старался не упасть. Поминутно спотыкаясь на ветках и корнях дерев, он то отставал, то вновь подходил к самому крупу коровы и очень хотел тогда ухватиться руками за коровий хвост и так идти за нею, но боялся это сделать и только изредка касался рукой мокрой и теплой коровьей шерсти с робким обожанием и благодарностью к доброму большому зверю.

Остановясь в очередной раз, женщина достала деревянную мису и, пристроив ее между ног, стала доить корову. Нацедив миску, поднялась и сперва протянула ее мальчику. Тот отпил немного и молча отдал матери. Она стала пить мелкими глотками, не спеша, и пила долго, но выпила тоже немного и вновь отдала мису мальчику. Оба и вдруг подумали о хлебе – хлеба не ели они уже очень давно, – но ни он, ни она не сказали ничего. Так, по очереди, допили они молоко, и мать первая, сделав усилие, встала, сказав:

– Поидемо. Ночь...

И мальчик тоже встал, закусив губы, и пошел опять сзади коровы, желая и не решаясь ухватиться за коровий хвост.

Ни по одежде – туго замотанному темному плату и долгому платью женщины, ни по ее мокрому, с мужского плеча, зипуну, ни по долгой рубахе и латаной свите мальчика в липовых лаптишках нельзя было сказать, кто они и даже – какой поры. Века неслышно текли над ними, сотни годов, и в любом из протекших столетий, после пожаров, недородов, моровых поветрий и войн, когда появлялись так вот бредущие по дорогам бабы с детьми, с коровами в поводу, значило это, что не угасла еще и вновь и вновь возрождается жизнь на земле.

Сгущались сумерки, и упорный мелкий дождь бормотал все сильнее. Мокрые ветви хлестали женщину по лицу. Мальчик часто спотыкался, но не плакал. Раз, остановясь, они прислушались и сквозь шум ручья в чаще расслышали далекие редкие удары секиры.

– Дедушко наш! – сказала женщина севшим от усталости сиплым голосом. – Дедушко наш дровы рубит!

Осторожные удары едва-едва доносились сквозь сплошной, все покрывающий шорох дождя.

– Это наш тятя, – сказал мальчик, – наш тятя, твой и мой!

И женщина, оглянув на сына, не захотела или не посмела возразить. Муж ее, сын старика и отец мальчика, был убит, и теперь без старика свекра ей бы и совсем пропасть.

Она окликнула мальчика, сказав что-то по-мерянски, он промолчал, и в тишине только капли дождя шуршали и шуршали, опадая с ветвей, да, чавкая, ступала корова, и наконец ответил ей по-русски, с детским упорством, схожим с упорством дождя. Женщина, пробормотав что-то, поправила волосы под платком, засунув мокрую прядь под сбившийся повойник, и снова они шли и шли в сгущающихся сумерках и коровий хвост однообразно ударял по мокрым кострецам. Женщина снова сказала что-то по-мерянски, но мальчик упрямо отозвался по-русски вновь, и, вздохнув, побежденная упрямством сына, мать сама перешла на русскую мольву.

Рогатая голова коровы и темный женский платок еще долго мелькали в сумерках среди мокрых кустов. Сердито грохотал вздувшийся поток, и было страшно представить, что им еще придется переправлять вброд через эту ревущую воду, по скользким камням и предательскому бурелому, завалившему русло ручья. Но пока они будут гнать корову (вновь и опять, вновь и опять!), пока будет молоко для детей, будущих пахарей и воинов, дотоле пребудут города и храмы, гордая удаль воевод и книжная мольва, многочисленные науки, художества и ремесла, дотоле пребудет страна и все сущее в ней.

...Она все еще ведет корову. В рай – не в рай. Не стала раем для нас и поныне родная земля. Где? Когда? В какие – седые или недавние – годы?

Где-то в России. На Руси Великой. В веках...

## Часть первая Зодчество князя Ивана

### Глава 1

Иван прислушался, безотчетно считая про себя удары медного языка. Звон колокола был жидок, и что-то жидкое, нетвердое было во всем, что остолпляло его теперь. Не вставая с колен, тяжело свесив голову, отягощенную густою волной заплетенных в косицу волос и густою русою бородою с ранними промелями заботной седины, в той же позе, в коей творил он молитву перед «Спасом», Иван Данилыч, московский властитель, господин Великого Нова Города, великий князь владимирский, глава Руси и подручник ордынского хана, задумался.

Да, конечно, волю цесаря Узбека он не исполнил! Не мог исполнить, а вернее сказать (самому себе, стоя днесь на молитве, и сказать мочно!) не захотел. Рати стояли под Опочкой. Натъ было громить Плесков, слать полки москвлян на плесковские, зело твердые, из дикого камня кладенные стены, стойно дяде Андрею или покойному брату Юрию зорить Русь, которая того не простила б великому князю владимирскому до гроба лет...

Был март. (Дотянули до марта! Причем тянули все, и он, Иван Калита, менее всех!) Был март, и снег рыхлел, начинал проваливать под тяжелыми копытами окольчуженной конницы. С тем и было посылаю в Орду: пути-де непроходны зело, поймать тверского князя не сумели, но и с тем воля царева исполнена, поелику Александр Михалыч от великия нужи и угрозы ратныя ушел из Плескова в Литву.

И серебро посылаю на поминках. Много серебра. И скоро, и сукна, и мед, и кони, и красные терские соколы – всего преизлиха. Самому цесарю, женам и вельможам его, коих он, Иван, должен был помнить всех полично и поименно (и то также помнить, кому чего и сколь надобно дать!). И теперь одного б не было: не было бы извета в Орду от ворогов тайных! Отселе, из Руси. Из той же Твери. Да почему только из Твери? И с Москвы напишут! Помилуй и спаси, Господи, раба твоего!

А только вот... с начала, с самого начала похода не думал он, да, не думал, что так обернет все и с князем Александром, и со плесковичи. Не гадал... Сейчас даже и сказать можно, когда, в пору каку и в который миг озарило его истиною.

В тот день он, из утра не слезавши с седла, попал в затор на дороге. Повозка накренилась, угрожая обрушиться под угор груды стянутого вервием добра. Взырошенные кони дуром и врозь дергали построики, медленно, с натугою, проворачивалось блестящее, в кованом ободе, колесо, вылезая из снежной каши, и по натуге колеса, по дрожи конской, по сосредоточенным лицам воевод, подскакавших обочь, учуял: послать на приступ – может, и пойдут, но не посылать – все вздохнут с радостью. Не послал. Вздохнули. Угадал верно. Это вот колесо, и растерянные лица возникли, мокрые, в испарине, расстегнутые овчинные зипуны, растерянные взгляды, когда узрели князя своего – не готовно-ражие, а растеряннo-смятенные, словно не снег виной, а застал за чем нехорошим...

Он подъехал верхом, солнце грело спину и шею. Март исходил последними днями. В мокром снегу, растянувши на сорок верст, копошились обозы, возки и сани, пешая и конная рать, и, как игрушечная, стояла невдалеке крепостца, светлый дым курился-кудрявился над нею: топили печи либо грели смолу ради возможного ратного приступа. Оттуда, с заборол, изредка пролетала стрела; далекий крик дрожал в воздухе; комонные москвичи оскивали крепость по-за рвами, целились, придерживав коней; спустив тетиву, срывались опять в скок, уходя от ответного псковского гостинца.



В путанице дорог нелепо растянутые полки подходили и подходили к Опочке (может, и лепо, как там воеводы решали? Молодой Василий Протасыч знает лучше его!). Разбрасывая тяжелые жемчужные градины снега, подскакал тверской князь Константин с боярами, меж которых кинулось в очи лицо старшего Акинфича – Ивана.

– Вот как?! Стало, не ушел с Александром в Плесков? Альбо оттоле – сюда?!

Когда-то, четверть века тому назад, отец Ивана Акинфича, Акинф Великий, едва не захватил Переяславля, где сидел в ту пору Иван Калита, тогда еще молодой растерянный княжич, ожидавший скорого пленения и взятия града. Московский воевода Родион Несторыч вовремя подоспел с полком. Нежданным ударом разбил Акинфичей, самого Акинфа Великого сразил в поединке и, вздев голову убитого на копье, поднес ему, Ивану, в знаменование победы. С тех пор, все эти долгие годы, сыновья Акинфа враждуют с Москвой и после Шевкалова разоренья должны были оба уйти с Александром... Так что же, значит, сносят они между собою? Значит, тайное согласие единит беглого тверского князя с его братьями, выступившими по зову Калиты в поход противу старшего брата? Да не с тем ли и прибыл Акинфич, дабы нежданным двойным ударом, оттоле и отселе, покончить с ним, Калитой?!

Бояре что-то почтительно баяли о близкой ростепели, о снегах, неуверенных конскому копыту, – не посести бы тут с обозами! Румянолицый, высоконый Константин, глядя на него расширенными глазами, кивал-поддакивал. Иван, гляючи на него, всегда вспоминал твердый носик племянницы Сони, Софьи Юрьевны, полагая, что московская жена удержит тверского князя от всякого – ратного, иного ли – нелюбия к нему, Ивану. Тверские князья были в нынешнем походе оба. В обозе везли юного Василия Михалыча, не очень еще дозволяя мальчику скакать на коне впереди полков. Да ведь он, Калита, сам же и настоял на том, чтобы в поимку за Александром Тверским выступила «вся земля», то есть и младшие братья беглого князя тоже!

И тут, только тут и подумал! Только тут и испугался смертно, до холодного поту, до ужаса! Представил вдову князя Михайлы, убиенного, святого, как толкуют решительно все, – высокую, иконописно строгую, ничего не забывшую и не простившую; и как, с каким ликом, с какими наказами снаряжала она младших сыновей всугон за старшим там, у себя, в горелой, наспех отстроенной Твери, в помочь кому? Брату убийцы мужа (ибо покойного Юрия все в Твери считали главным и даже единственным погубителем Михаила Святого), и мало что брату убийцы! Самого-то его, Ивана, не кем иным считают в Твери, как убийцей Дмитрия Грозные Очи, хоть и без него казнил Узбек старшего сына Михайлова, – все равно! И почему бы сейчас Константину не зарубить нежданно врага своего, как зарубил в Орде Дмитрий Юрия: саблей, в мах... И все окончит разом. И останется только красная лужа крови, медленно съедающая истоптанный копытами снег... Перепал. Забоялся. Забоялся так, что возжаждал скорее оглянуть: близко ли свои кмети? Да нет, Константин никогда на такое ся не решит! Александр – тот, что сейчас сидит за твердыми стенами Плескова, – тот бы, пожалуй, и возмог... Или уж, чести ради, не похотел! (Дак и того обидней!)

Князь Александр леповит, красовит ликом, статью – что сокол, прямой князь! А горд – горд паче меры! Как он его ненавидел порою! Вот и здесь, и днесь, на молитве стоячи, вспомня – не вздохнуть! Как в дыму! Главный враг он! Он – укор, и язва, и поношение ему, Ивану, да что – всему дому московскому!

Грамоту прислал из Плескова «всем князьям, женущим по нем и хотящим его пленити». Иван ту грамоту и поднесь помнит наизусть: «Мне убо должно есть со всяким терпением и любовью за всех страдати, нежели отмщати лукавствующим и крамолящим на меня: ничто же убо есть житие земное, все убо исчезае и в небытие отходим, и воздано будет от Господа коемуждо по делам его. Вам же лепо было другу за друга и брату за брата стояти, а не выдавати татарам братию свою, но противятися на них за един и стати всем вкупе за Русскую землю и за православное христианство! Вы же супротивное творите, и татар наводите на христиан, и братию свою продаете безбожным татарам!»

Если бы он сам мог сказать эти слова! Не сможет. Никогда. Побывав в Орде, понял, что никогда. Разве – Узбек умрет... Да и то: что изменит смерть этого самовлюбленного и мнительного деспота! Когда-то он понимал брата Юрия. Теперь начал понимать покойного Михайлу Тверского. Нельзя! И он будет знать, что нельзя, а Александр Михалыч не хочет и не будет этого знать, и Русь будет любить Александра, а не его, Калиту. Уже и поныне умную бережливость его зовут скупостью. О, он не скуп там, где надобно! На каменные церкви, на монастырь во граде брошено излиха, и все ради единого слова митрополичьего (а Феогност уехал в Литву и глаз не кажет – неужто все зря?).

Или послать грамоту тверского князя в Орду?! Нет, пушай полежит. Не сейчас. Не надо сейчас...

И вот главный враг. Александр Тверской. За то, что смел, за то, что безрассуден. За то, что сын великого отца. За то, что брата его старейшего, Дмитрия, он, Калита, и в самом деле помог уморить в Орде...

И подумалось в те поры: по чести сказать, и суздальскому князю, Александру Василичу, почто так уж заботить себя поимкою тверского князя? Тягался с ним, Калитою, о великом столе. Получил Поволжье и Владимир. Сейчас, слышно, строит свой Нижний, ладит туда перевести стол из Суздаля и, поди, больше всего боится, как бы московский великий князь не наложил руку на Нижний Новгород!

Он, Иван, тогда все еще надеялся. Прехитрое, как казалось самому, послание сочинил – на благородство Александра надея была да еще на страх татарский: «Аще не приведем в Орду князя Александра Михалыча, вси от царя Азбяка отечества своего лишены будем и смерти преданы и землю Русскую пусту сотворим». А самому Александру тогда же с владыкой Моисеем и Авраамом, тысяцким новгородским, послал: «Царь Азбяк всем нам повелел искати тебя и прислати к себе в Орду. Поиди убо к нему сам, своею волею, да же не привлечеши ярости его на всех нас! Удобно бо тебе есть за всех пострадати, нежели нам всем тебя ради пропасть и пусту всю землю створити».

Лукавил. Знал он Узбека, как себя самого! Понимал, что Узбек трус, получит серебро и утихнет и за то, что не пойман Александр, не накажет уже никого. Была, однако, надея: Русь... обчая беда... отвести... Не то время! И никого не обмануло клятое послание. Плесковичи решительно воспротивились: «Не езд, княже, все за тя главы своя положим!» Да и новгородцы не ревновали о сече, ни тверичи, ни суздальский князь... И вот – и всё! Рушилось. И понял это в тот миг, когда, испугавши его, Константин отбыл, и продолжалось тяжелое вращение в сырой снежной каше кованого колеса, а растерянные рожи молодых оборачивались от него к застрявшему возу, и пар шел от тел, от лиц, от расстегнутых мохнатых зипунов... Бросилась в очи чья-то зеленая рукавица на снегу, яркая, как березовый лист, непонятно почему в точности похожая на его собственную (и почтительно тут же поданная Ивану стремянным). Оказалось – уронил, не заметив, и в том было что-то, унизившее его. И в том было паки унижение, что побоялся спросить про Акинфича, а слухачи донесли вечером: верно, оттоле! Прискакал с супротивных стороны, и сносят между собою. Вот и понимай! И приступ к Плескову без стеноломов, без пороков камнеметных... Даже и он, Иван, понимал, что отобьют, с соромом отобьют их плесковичи! А суздальцы дадут москвитам пойти наперед и не поддержат. Поддержат ли новгородцы? Ой ли! И что же тогда? И чьей головой покупати будет трудный мир с ханом: Александровой али его, Калиты, главою?

Решение пришло к нему ночью – спасение! И уже не спал до утра, и уже на рано-ранней заре ринул, аки агнец в скорби, ко отцу небесному прибегая: Феогност! Пасть в ноги присланному из Царьграда греку, просить, молить: да своею волею – волею нового митрополита русского – пристрожит, прикажет плесковичам! Умолил. Феогност наложил проклятие на плесковичей. Те и еще поупирались, но в конце концов пред церковною властью сдались. Александр ушел в Литву...

Разумеется, уйти ему дали без препоны. И проклятие (хоть и супруга, и дружины немалое число, и казна княжеская остались во Плескове) тотчас было снято с города, и все сошли в мир и любовь. А он... он сел за тяжелое послание хану Узбеку. При поминках. При серебре новгородском, что иначе осело бы в его великокняжеской казне. И как спешно, как резво, выдирая возы и сани из провалов и водомоин в рыхлых весенних путях, из снежной каши в самом деле развезшихся дорог, незаботно оставляя тяжелый припас в новгородских рядках до сухого летнего пути, шли, и шли, и шли, торопливо откатывая домовь, домовь, домовь! К жонкам, в дымные избы. Ладить упряжь и снасть, пахать, сеять. И уменьшалась, растекаясь, рать, ручейками уходя в налитые солнцем леса, в синюю даль дорог. Уходили суздальцы, уходил владимирский полк, нынче пришедший под воеводством суздальского князя (не всё и не вдруг выдала ему Орда!). Уходили, откалывались тверичи, шли, приметно избирая иные от московитов дороги, и таяло, уменьшалось войско великого князя. А лица у всех радостные, весенние – никто не хотел ратиться в этой войне!

Вот сейчас он выйдет из полутьмы церковной. Будут двор, нищие, что ждут его, великокняжеской, неукоснительной милостыни, храмоздательство, затеянное ради нового греческого митрополита Феогноста, бояре с делами, дьяки с грамотами и старший сын Симеон, такой еще мальчик, столь еще беззащитный пред грозным величием власти!

Иван поднимает лик горе, и долго глядит на большого «Спаса» московской работы, и видит вдруг, что лик Спаса суров и жесток, и пронзителен зраком, и морщины округ широко разверстых глаз и около рта Спасителя тонки и горьки. С кого писал образ сей московит-иконописец? Чей зрак, чью густоту волос, чью жестокую сеть морщин держал он в мысленном взоре своем? Иван редко гляделся в полированное серебро зеркала и забывал порою о печатях времени на лице своем. Но сейчас постиг, припомнил и ужаснулся: лик Спаса на иконе не являет ли тайная тайных его, княжого лица? Понимал ли его иконописец? Провидел ли умным взором или сам для себя неожиданно измыслил такое? Или жестокое столь вкоренилось нынче в московском доме, что и писец иконный, мысля о Спасе, не иначе видит горнего учителя нашего, Иисуса Христа?

«Господи! К тебе прибегаю! О земле своей пекусь я в жестоце и хладе сердца своего! Повиждь и внемли нижайшему рабу своему!»

Он рывком встает с колен. Осеняет себя последний раз крестным знаменiem. А земля – вот она! Кулящие паром поля, леса и деревни, муравьиная работа мужиков и баб... И неостановимое, как время, возрождение тверской силы.

## Глава 2

За порогом церкви его обняла и разом успокоила сверкающая свежесть мая, лезущая отовсюду трава, рудосерые просыхающие бревна, и нечаянные березки по-за теремами в зеленом дыму, и заречный простор лугов и красных боров по-за верхами стен, и легкий – после ладанного дыма – ненасытимый весенний дух с той, луговой стороны.

Стража раздалась посторонь. Он ступил с крыльца и пошел, строго утупив очи, не хотя видеть выставленного напоказ и немо, а то и с легким жалобным ропотом протянутого к нему человеческого уродства. Все же пришлось придержать шаг и, раскрыв калиту на поясе, достать горсть серебра, которое, однако, не стал нынче сам раздавать нищим, а передал постельничему, примолвил негромко:

– С рассмотрением!

И тот, с полуслова поняв великого князя, приотстав, начал обходить, расспрашивая и оделяя, нищую братию. «Только на молитве и оставят в покое!» – подумал Иван, уже не радуя

солнечному дню, и убыстрил шаги. Впрочем, от домово́й церкви до крыльца теремов путь был недолгий.

От глыб камня, привезенного по зиме санным путем и сваленного в высокие кучи прямо на снег, тянуло погребным, кладбищенским холодом. Земля округ куч была еще сырая: видно, недотаял заваленный камнем лед там, внутри. Камень ломали еще с осени и возили на Москву с Филиппева поста до Пасхи – доколе стоял лед и держали пути, – загородив и заставив камнем едва не пол-Кремника. Резко чернели невдали, под невысоким утренним солнцем, рвы начатой церкви Ивана Лествичника. «Послезавтра закладка храма!» – напомнил себе Иван, поглядев в тот конец. Послезавтра, двадцать первого мая, был день памяти кесаря византийского Константина и его матери Елены – основателей Царьграда, Второго Рима. День этот для закладки Иван выбрал сугубо и со смыслом. Иван Лествичник соименный Ивану святой, а Еленой зовут его супругу. Все было со значением, и хоть въяве слова о Третьем Риме – Москве и не были сказаны, но – чтущий да разумеет! Выбор имен и освященного дня говорил о многом, и ученому греку Феогносту то будет зело явственно!

Новый митрополит, спасший его под Псковом, был еще не стар, ясен зраком, велегласен и деятелен. Под смуглотою южного загара просвечивал здоровый румянец, в движениях являлись твердость и быстрота. Все говорило о нраве решительном и самоуправном, даже самовластным. Было достаточно внятно, что послали его неспроста, а сугубо вопреки и вперекор московскому хотению поставить своего преемника Петру, Феодора, отвергнутого цареградской патриархией. И в этой решительности патриаршей были свои язва и заушение. Мнилось прежде, при Петре еще, возмoжет и в Орде одолеть христианская вера русская. Не одолела. Не на том ли сломался и сам Михайла Тверской? Не оттого ли так и с Царьградом ныне круто содеялось? Словно с воцареньем в Орде Узбека поменела, умалилась лесная Владимирская Русь! Словно уже и не с кем, и не с чем считаться кесарям и патриархам византийским на здешней земле! А может быть, и еще того хуже! О чем и думать соромно. В Цареграде рать без перерыву, внук встал на деда. Андроник Третий на Андроника Второго. Византийские кесари ищут теперь помочи у франков да фрягов, сносят с римскими папами... Не в угоду ли католикам назначен на Русь Феогност? Тогда все даром и все впусте!

При встрече новый митрополит, посетив гробницу Петра и бегло озрев Кремник, посетовал на скудость града Москвы. Свысока оглядев рубленые терема клетки и церкви изрек мимоходом:

– Прилепо стольному граду имати храмы из камени созиждены!

Рек – и как окатило стыдом. Иван бросил тогда почитай все, что имел, на каменное храмовительство, дабы заносчивый грек внял и постиг, воротясь на Москву, что не слаб и не жалок перед ним властитель Владимирской Руси. (Хоть и то примолвить надобно, что не от великой силы заманивает он к себе митрополита русского. Уедет Феогност в Литву, к Гедмину, и – всему конец: Москве, великому княжению, а может, и самой русской земле!)

Как долго покойный Петр молил его создати храм Успения Богоматери и как долго собирався он, как медлил исполнить волю Петра! И сколь своего, церковного добра дал Петр на создание храма! А теперь? Петр был свой и добрый. И он, Иван, капризничал с ним, как дитя пред родителем. И ведь нет в нем ныне нелюбия к Феогносту, в самом деле нет! Поначалу осерчал, – когда оттуда, из Цареграда, осадили его, словно норовистого жеребца, отвергнув архимандрита Феодора. Но лишь только некие из ближних стали недовольничать новым митрополитом, он, Иван, первым окоротил хулителей:

– Всякая духовная власть от Бога!

Они все не понимают (и Михайло Тверской не понимал!), что надо принимать то, что есть, и из этого делать потребное. «То, что есть» значило: не идти войной на Псков, ежели этого никто не хотел; не лезть на рожон с татарами, всегда и во всем внешне угождая Узбеку. И тут, в делах церковных, важнейших, чем прочие, принаравливать к присланному гречину, а не

спорить противу судьбы. Так вот, заметив, что тому нелюбы деревянные храмы Москвы (грек – приучен к камению многоценному!), все силы и бросил на создание белокаменной церковной лепоты... И тут же укорил себя, вспомня прежние уговоры Петровы. Как порою с близкими себе менее бережны бываем, а нельзя так! Увы, и он в этом не лучше прочих! Стал ли бы он при Петре созидать разом, как замыслил ныне, четыре каменных храма на Москве? Так что ж, выходит, что и все в жизни требует грозы али понуждения? Доброта излиха не то же ли зло для лукавого и леностного раба Божия? Почто у добрых родителей почасту плохие чада, нерадивые и неумелые к труду? Нужно, ох нужно жезлом железным учить и направлять всякого смертного: да не оскудеет и не ослабнет свершая труды свои! И для него, Ивана, Феогност ныне – жезл железный. И за то, что скупился тогда, при Петре, излиха, за то он нынче давно уже не считает на церковное дело ни серебра, ни сил, ни припаса снадного...

И пусть не насмешничают над его малою Москвой! Он отселева не уйдет! Не Юрий! Ни в Переяславль, ни в Володимир, ни в Новгород Великий! Здесь будет стольный град Руси! На этих холмах! Не мог святой Петр так обмануть себя в чаяньях своих, а он предрек, умирая, величие граду сему! А Петр – святой. И надобно паки и паки хлопотать о канонизации блаженного! Паки и паки надо слать патриарху о сем деле! И пусть новый митрополит хлопочет такожде о признании святости покойного! Даром, что ли, он, Калита, строит на Москве каменные храмы? Верно, мал его город. И перед Тверью мал, и перед Новгородом, а уж о Цареграде и речи нет! Но вот: Петр видел Цареград, а не почел ничтожным град Московский!

С этими мыслями, освежив себя гневною обидой, Иван ступил в сени княжого терема. Тотчас с лавки, с поклонами, поднялись два боярина. Один из них, Мина, был посылаем им в Ростов, в помощь Василию Кочеве. Ростовское серебро собиралось туго, и Иван требовал решительных мер. Завидя Мину, похотел было отправить его еще до трапезы, но сдержал себя. Трапезовать великого князя ждали архимандрит Данилова монастыря, четверо думных бояринов и посол иноземный из кесарския земли, допущенный к трапезе по совету старого Бяконта. Иван давно уже научил себя трапезовать с важными гостями, хотя порой и долило: хотелось простоты, уединения. В уединении лучше думалось и вкушалось способнее. Не надобно было брать серебряную двоезубую вилку, не надобно было и ждать, когда стольник с поклоном подаст новое блюдо... Ладно, все одно надобно отпустить гостя! Немец просил грамоту на проезд торговых гостей в Орду. Бяконт с Сорокоумом уже дознали, какие товары надобны в немецкой земле, и предлагали самим продавать потребное, а в Орду гостей зарубежных не слишком пускать. То было разумно, и следовало только не отпугнуть посла, не то уйдет в Тверь, а с ним и немецкие сукна, и добрый уклад, и оружие, что привозят из ихних земель торговые гости.

Немец был невысок, но плотен. Поклонился с достоинством, не роняя себя, по-журавлиному отступив назад и взмахнувши плоскою немецкой шапкой с пером заморским. Иван сел. Уставно, по чину, уселись бояре. Слуги внесли горячую мясную уху, разлили мед. Иван, по своему обычаю, потянулся сперва к блюду с мочеными яблоками. Немец, не трогая вилки, орудовал ножом, рвал и грыз мясо, крупно глотая. Свои бояре не отставали от иноземного гостя, и за столом на время установилась сосредоточенная тишина. Иван вкушал мало, больше наблюдал за гостем. Тот наконец откинулся на лавке (уже подавали кашу и кисель), много-словно благодарствуя великого князя владимирского. «Сейчас начнет обиняком просить пути до Сарая!» – подумал Иван, утверждаясь все более в том, что Бяконт прав: пушай торгует с Москвою! Видно, и тверичи не очень им потворствуют, да нынче без воли великого князя и Тверь проезда в Орду не решит!

Немцу отвечали свои бояре. Постепенно завязался разговор. Слегка захмелевший немец вздумал поучать русичей (он добре знал русскую молвь и почти не ошибался в словах). Бояре горячились. Иван слушал с любопытством. Послы иноземные были еще внове для него, и он тщился понять, что же самое главное в этом зарубежном госте? Что кроется за шелухой слов, за цветистыми и высокоумными славословиями великому русскому князю? Гордость он уже



понял. Понял и скрытое небрежение и небрежению тому усмехнулся про себя, не дрогнув и не изменяя лицом. Прав Бяконт, прав! На Волгу пускать их не след!

Посол меж тем расхваливал ихние немецкие товары, высокопарно изрекал о законе имперском, о том, что только сильный и владетельный повелитель (тут он поклонился Ивану) возможет заставить всех горожан и черных людей хорошо работать и не лениться («Добро работати и не ленити себя», – сказал он), также, как это у них, в земле немецкой.

О том, что творилось в немецкой земле, бояре были, однако, наслышаны хорошо и почали возражать гостю. Иван мягко, мановением руки, утишил поднявшуюся было прю и, впервые разомкнув уста, молвил послу:

– Со скорбью можем сказать, что иноземный гость изрек правду. В наших землях не всюду спокойно, и проезд купцам зело труден там, где кончается волость Московская! А посему лучше вам товары свои обменивать на Москве!

Немец растерянно уставился на Ивана, с опозданием поняв, что разговор поворотил в сторону, выгодную русичам, а не ему. Но великий князь уже склонил голову, отпуская иноземца, и тому пришлось, опять с поклонами и хвалами, покинуть палату.

Иван, усмехнувшись одними глазами, оборотил лицо к сердито взъерошенному Сорокоуму:

– Мыслишь, не прав немец сей?

Старый боярин тотчас взорвался опять, пристукнув посохом, словно все еще споря с немцем, и сердито глядя чуть мимо Ивановых внимательных глаз:

– Заставить хорошо работать плохого работника нельзя! Ты мастера удоволь! Доброму мастеру дай леготу для работы!

– Тогда и плохой потянет учиться мастерству! – спокойно поддержал Сорокоума доньше молчавший Василий Протасьич. Сорокоум кинул глазами в сторону молодого тысяцкого, задыхавшийся, мотнул головой, неотступно примолвил:

– Посему! Преже люди, потом товар! Не о том, что получить, хоть и из тех земель заморских, а о том, чтобы мастер в нашей земле был убоготорен и ревновал о деле своем, – вот о чем должна быть главная дума княжая! У нас почни прижимать, стойно тому, как в немецких землях ихних, и все по лесам разбежат, и все княжество запустеет! Альбо запьют, али в разбой кинутся, а уж коли друг друга грабить учнем, тут и конец Руси Великой!

Сорокоум говорил дело. Ивану и самому не по нраву пришлась немецкая выхвала. По своей многолетней работе на Юрия довольно познал он, что значит плохой работник и что значит хороший на месте своем. Плохого, и верно, ничем не заставишь работать. Не заможет!

«Мастеру – леготу, земле – тишину и закон праведный», – продолжил Калита мысленно речь боярина. Он давно уже умопостигал сие, еще при митрополите Петре, когда они вместе переводили и правили уставы, соединяли «Мерило праведное» с византийским «Номоканонном» и составляли книгу «Власфимию», противу еретиков и хулителей церкви направленную. То понял, что никому не надобны скачки и премены, никто не жаждет крушить и ломать – разве голь перекатная в чаянии скорой и недолгой наживы. А надобна всем тружующим – также же как греку Феогносту каменная храмовая твердость – твердая вера в устои, в незыблемость власти и всего, что покрывает и защищает власть: добра, скота, лопоти, привычных навычаев и обихода, всего, что от дедов и прадедов нерушимо и извечно. Надобна вера в прочность бытия! Смерд ли поставит избу на росчисти, купец ли обзаведется хоромами на Москве, боярин ли измыслит двор с повалушею – у каждого и любого должна быть надежда на то, что, когда угаснут силы, никто не выгонит и не выбьет его вон из двора, никто не сгонит с земли, не зазрит и не обидит, никто не велит переделывать наново, а так вот – в этом дому, хоромех, терему ли – и умереть позволят ему в чести и покое, и детям чтобы оставить цело и непоручено, и быти спокойну и за детей, и за внуков и правнуков. И в том, быть может, самая великая и главная сила власти, что она каждому дает уверенность в завтрашнем дне. А вот в чем величайшая

печаль и беда власти вышней, что сам-то он Иван, ныне став главою Руси, менее всех прочих граждан своих уверен в дне грядущем!

Всё могут. Могут и в Орде уморить. Могут и здесь восстать противу. Сейчас в его руках великий стол. А потом? Все они равны, и тот же суздальский князь равен ему, Ивану! А уж тверской и подавно! Что важнейшее должен содеять он, ото всех отличное, дабы передолжить – навсегда, насовсем! – и Тверь, и Суздаль, и Новгород, и прочие грады и веси русстии... Что?

Да, разумеется, совокупить землю! И – не войной. Не разоряя. И – чтобы тянули к Москве, а не к иным княжествам. Стало, он прав, что шлет Мину с Кочевой в Ростов за неукоснительной данью! Иначе – с чего же брать! Зорить Москву нельзя!

Строго подумал так и вдруг невольно прикрыл глаза, такую резкою болью прошло воспоминание: узкая Машина рука, прохлада ее слегка потной ладошки на его заботном челе... И увидел ее всю, и словно нежною болью овеяло сердце: Маша, любимая дочь, нынешняя княгиня ростовская, и Мина с Кочевой. Серебро. Проклятое серебро для проклятой Орды!

Нет, он прав, все равно прав! Иначе бы не было такой боли и такой нежности в сердце. Он никого не обманул. Он просто не может иначе!

### Глава 3

Бояре ушли. Слуги начали прибирать со столов. Иван, помедлив, вышел из покоя. Его ждали дела, и он, даже думая о Маше, не имел права медлить сейчас. Мина ждал.

– Серебра много в домах боярских, у горожан в скрынях. Пушай с жонок колтки и чепи сымают! – Иван, вперея взор в преданные глаза Мины, знал сейчас, что похож на брата Юрия и еще, быть может, на тот жестокий Спасов лик, но и зная, не смягчил ни взора, ни слов. За ярлык ростовский было дано столько, что даже и Юрий не вдруг решился бы на такое. А взять надо было вдвое. И пушай Мина с Кочевой это поймут, пушай деют с насилием великим, но соберут ростовскую дань! Этот его замысел не должен пропасть. Иначе – не стоять великому княжению. И это было первое, чего не мог, на что не решался Михайло Тверской. А он, Иван, «тихий и скромный», – решился. Пускай его заклемят, яко татя, но он сим серебром соберет воедино Русь! И пусть черный народ тянет к Москве!

Мина мялся, получив грамоту, все не уходил. Решившись наконец, ударил челом. Двое оружных дворян Мининых сблodiли: разбили обоз купеческий, да и над смердами деяли сильно, как узнано было на правеже. И теперь оба были повинны казни.

Иван внимательно поглядел в глаза боярину. Сказал чуть хрипло, голосом покойного брата:

– Баловали люди твои и допрежь, при Юрии! И это мне ведомо! Людишек разбивали отай, было?!

Мина понизил глаза:

– Было, княже! Дак прочие робяты в сумненьи теперича, как бы то и им... Все огорчены, вишь! – Сказал и поперхнулся – так темен и страшен был сейчас недвижный взор Ивана.

– Скажи молодцам, – произнес тот с тихою медленною силой, – что грабить своих – это себя самого сожирать! Ни разрешить, ни простить сего князю немочно! Когда бьют своих, это конец! – почти выкрикнул он, возвышая голос. – Конец власти, языка, земли, всего сущего в ней! Так и погибла Русь при Батые! Пушай поганые режут друг друга! Не мы! – Он примолк. Договорил спокойно: – Мне во княжестве своем потребны тишина и от татьбы бережение. Злодеи те будут казнены завтра из утра. На Болоте. Приведешь дружину, пушай поглядят: умнее станут впредь! А прочим скажи: и им то же будет, да и тебе, боярин, не сносить головы, ежели на Москве разбои учнут творить! Посылаю тебя в Ростов, тамо и зипунов добывай своим холопам!

Мина ушел. Тут было все ясно. «Робяты» поозоруют в Ростове досыти, но серебро соберут. А как иначе? Прежним Юрьевым молодцам не дай воли – и на Москве не удержишь от разбою! Пусть уж в ином княжестве шкоды творят. Он прикрыл глаза, представил себе завтрашнее позорище, что неволею придет зрети и ему самому: помост с плахой, толпу горожан, купцов и смердов, с радостным любопытством вззирающих на зловещую исправу – не часто казнят дружинников на Москве! – позорную телегу с двумя Миниными «робятами», палача в красной рубахе, священника со крестом, и то, как жадно и долго целуют крест обреченные смерти, и последний жалобный крик, и кровь, и тяжело падающие в корзину головы, и ропот и шум толпы, вздохи и возгласения жонок, невест с чего, словно на скомороший праздник, прибегающих кажен раз позоровать на казнь.

Все ж таки гнев опустошил его преизлиха. Лоб был в испарине, и должный покой долго не снисходил к душе. С тем большим облегчением ступил он, после полудневного перерыва, за порог книжной палаты, где переставал быть властным, а становился только мудрым и где не позволял себе никакой, даже невольной грозы. (А меж тем изограф-иконописец узрел и тут в нем сугубую твердоту!)

Он дорожил этими часами тишины, где были вдумчивая работа писцов, да шорох раскрываемых и развертываемых харатий, да порою беседа, всегда не о суетном, а о том, что выше и тоньше грубых забот дня. Здесь он не позволял никому величать его преизлиха, и лишь когда дьякон-писец, заключая «Правду», сравнил его с Юстинианом – не острожил, не остудил: знал, что это нужно. Не скажи сего дьякон, он сам бы подсказал сравнение.

Нынче токмо начал уставать. Давно неинтересно стало сличать статьи законов, велеть казнить татей, добиваясь неукоснительного исправления на деле писаного слова. С охотой бы переложил на плечи властей церковных и дела душегубные, князю подсудные, но – не имел права. Возропцут многие, и пошатнет уважение к власти. Посему судил всегда сам, не складывая даже и на бояринов великих.

Однако эта глава «О градском устроении», кою нынче подал ему сводчик с греческого, живо заняла и развлекла Ивана. Поскольку касалась она главнейшего сейчас, что занимало и долило Калиту с того еще беглого замечания Феогностова о его любимой Москве (тогда, почитай, и понял, что любимая, а то все было недосуг помыслить о сем, а только труды, труды, труды, и за трудами как-то не приходило зная, что давно уже стало тут все от души неотрывно).

«Закон градской» разбирали по статьям. И о местах возвышенных – для храмов; и об улицах – да не пройдут прямо, яко стрелы, но каждая да примет потребную глазу и стопе кривизну; и о домах, что не должны касаться друг друга, но на потребном расстоянии, в двенадцать стоп, – дабы и глядеть из окон можно было бы вдаль, на море...

Сводчик приодержался, требовательно поглядев на князя. Был он бледен и невзрачен с виду, имел на плечах свиту послушника и явно готовил себя к монашескому житию. И не ему было бы – так-то помыслить! – иметь заботу о градском велелепии и о том, каково приятно зреть сквозь окна дома на красоту земную. И однако и рек и думал он именно об этом, но не для себя, а как бы остраниаясь, с твердым уважением к смертным и суетным соплеменникам своим.

– Надлежит ли оставить здесь «море» и исчисление в стопах? Ибо у нас прозор меж домами делают и до трех и даже до шести сажен!

Иван, любуясь сводчиком, покачал головой.

– Надлежит оставить без изменений: для прозору двенадцать стоп. Иначе лукавствующие скажут: не суть византийское уложение, но сами ся решали, а посему можно и не блюсти такое! Нет ведь запрета ставить дома шире? А вид благой у нас и на реки, и на луга, и на боры – такожде яко на понт в греках. И сие ясно и вразумительно любому чтущему. Не для глупцов ведь, а для благомысленного и прилежно чтущего сей устав!

Сводчик согласно склонил голову. Князь был прав и тут, хоть и сам понимал о разности греческой и русской жизни.

Сводчик, и верно, собирался, окончив труды княжие, уйти в Данилов монастырь, а посему град Московский видел отстраненно, весь вкупе, и любовался им, и даже сам измыслил, что холмы градские послужат к наибольшей красоте, когда увенчают их церкви из белого камня, и терема и клетки, в тесной стройности, не мешая друг другу, будут карабкаться по склонам, среди садов, в изножиях белых церквей. Одно было скорбно ему: что он уже не увидит этой распростертой в аере красоты. Но уже и затеянное великим князем трогало сердце. Наконец-то Москва возможет сравниться с Ростовом, Суздалем, Тверью... Быть может, только Владимир еще долго не престанет подавлять прочие грады величием своих храмов. Царьграда он не видел никогда, так же как князь. И не очень ясно даже умел представить его себе. Слишком превышало воображение то, что сказывали о Втором Риме очевидцы.

Работа с Калитою была более чем приятна ему не ради сытного куска (он ограничил себя в пище и питии раз и навсегда, когда еще выбирал стезю жизни), а тем несказанным чувством причастности к великому, которую давал ему этот труд. Личной славы (греховной гордыни!) он не хотел. Но – и когда упорно изучал греческий язык во Владимире, и когда мерил ногами и посохом дороги Руси, и когда вкушал хлеб и квас в крестьянских дымных и душных избах, и когда ночевал в стогу ли сена, в овине, на полатях в чужой поварне, в холодной ли келье очередного монастыря – всегда мечтал он об этом вот: невестимо и безымянно прикоснуться к тому, ради чего изошрял свой ум и добывал книжное знание. Много веков спустя скажут: «Хотел пользу народу своему принести». Он понимал по-другому: послужить Господу и князю – в чем для него была духовная и насущная служба своей стране.

Они погрузились в долгий перечень устроенья водопроводов, о сию пору почти неизвестных на Москве, спорных дел о ремонте домов, о двух и более хозяевах в доме, и сладко было обоим: один воспарял духом, другой отдыхал от суетневных княжеских трудов.

Ивана все подмывало спросить книгочея о давешнем споре с цесарским немцем. Любопытно было, что думает об этом такой вот бессребреник, коему ни товар, ни зажиток не принадлежали и не будут принадлежать никогда в жизни. «Верно, не сможет и изъяснить путем?» – подумал Иван и было подавил искушение. Но опять подошла сходная статья, и он, усмехнувшись глазами, спросил, откинувшись в креслице:

– Вот ты, како мыслишь, что первее ко благу страны: товаров обращение, множество добра собранного и строгое понуждение каждому или сугубое внимание доброму мастеру в его ремесвии, забота о гражданах прежде богатств?

Вопросив так, Иван был уверен, что книгочий поддержит второе и разовьет что-нибудь о том, что дух превыше брэнной плоти, – и ошибся. Тот поднял заботное чело, глянул на князя умно и строго. Помолчал мгновение.

– Прости, княже, я давно думал о сем и не то скажу, что хочешь ты слышать от меня, а иное. – Он вновь приодержался и, утупив очи, вздохнул и чуть с дрожью и страстью заговорил: – Понуждение вкупе с изобилием товаров иноземных не сотворяют блага стране. Забота о добром мастере угоднее Господу. Но и тут спросить должно: а сколь тех, кто от щедрот мастера того будет втуне вкушати еству и питие? Благоденствие страны зависит не от серебра, войска и ратного талана – хоть нужны и серебро, и рати, и талан! Не от обилия товаров в анбарах – хоть и надобно обилие! А от того, первое, сколько людей работают и сколько – втуне едят. Сиречь: чем больше работников в народе и чем меньше втуне едящих, тем благоденственнее земля. И второе: от того еще, насколько люди народа искусны в ремесве своем. Могут и все быти тружajúщие, но, яко неции дикие, лопь и югра и прочая самоядь, у коих токмо охота да олени, – останут все одно беднее иных языков и не возмогут одержати великой страны. Но, яко в Новгороде Великом, егда каждый прехитр в ремесве своем, и кузнечном, и златокузнечном, и шорном, и каменном, и древодели изрядные, и швецы, и лодейники, и иконники, и прочая

многая – тогда истинно богата земля, и сильна вельми, и способна к одержанию власти великой! В сем – истина и суть всего.

Иван слушал удивленно. Когда тот стих, подумал было, промолчав, вернуться к уставу градскому, но не выдержал:

– А как же мыслишь ты тогда сей труд, коим ты днесь заботен, и труд учителя, и воина, и князя, и боярина, что не пашет, и не сеет, и не собирает в житницы? Стало, чем меньше всех нас, тем лучше для страны?

– Почто ты так, княже! – с обидою оттолкнул книжничий. – Разве возможна страна без воина, без управителя рачительного, коим боярин себя являет, без мниха, наставника духовного, и без главы – безо князя? Каждый свою лепту вносит и свой труд творит для языка своего! Но и всякий таковой труд также может быть успешен или плох сугубо! Воину потребно побеждать на ратях; мниху пристойно беспорочное житие, молитва, пост и знание книжное, паче же всего – совокупление духа Божия в себе; боярину – умное бережение и таковое управление, дабы не возроптали и земледелец, и ремесленник, и гость торговый; купцу надлежит везти товар из земли в землю, а не наживаться на нехватке... Тунеядцы суть – кто труда своего не творит: лихоимцы, мздоимцы, лиходеи, судьи неправые, воины трусливые и неумелые, также и леностный пахарь и ремесленник неискусный – всякий, кто не при деле своем, трутень есть!

Иван вздохнул и тут уже не возразил ничего, только поглядел благодарно. И тот понял немое одобрение князя, зарозовел ликом и, утупив очи, начал честь очередную статью – о сроках, колико потребно ждати на пустом месте градском. «До двадцати лет. Аще ли и тогда владелец не явит себя, отдати надлежит место то другому».

– Сего срока довольно. За двадцати летов всяко или объявит себя, или уже умрет, или в ином мести обретет отчину! – сказал он. И оба, думая об одном и том же, согласно склонили головы. Работа продолжалась.

Иван мыслил вернуться к «Уставу градскому» и вечером, но не сумел – закрутили дела. Посему был резок и неприлепо (покаял потом) отвечал игумену о закладке храма. Поостыв, вызвал старшего посельского, с коим надлежало обсудить задуманную Иваном мену сел: Окатьевои слободы под Москвою на княжеское село на Пахре.

– Окатию невыгодно покажет, придать ежели... – осторожно отвечал посельский. Обсудили, что следует придать. Уже совсем было отпуская посельского, Иван спросил будто бы мимоходом:

– А как, убежные смерды идут к Твери?

– Правду сказать, идут, князь-батюшка! – отвечал тот сокрушенно. – Осаживаю, конечно, иных...

– Осаживать нельзя, – перебил Иван, – надо добром. Сами бы приходили, как в Тверь!

– А тогда тово, Иван Данилыч, леготу надоть! – возразил посельский.

– Леготу? – переспросил Иван.

– Без даней, без кормов, наездов, безо всего – слободу, одним словом. Года на три, а то и на пять... На десять-то тяжелько... Тогда осядут и у нас!

– На десять и давай! – примолвил Иван, как о решенном.

– Чегой-то? – не понял посельский.

– На десять летов, говорю, давай леготу! Пушай, яко во Тверь... Грамоту седни изготовлю!

Отпустив посельского, Иван опять задумался о митрополите. Все было неясно, неверно, зыбко до сей поры! Землю Феогносту мог дать и Гедимин в Литве, а тогда... И он вновь вздохнул о покойном Петре. Да, был бы жив Петр! Как тогда ходили к нему с крестником! Крестник нынче стал какой-то бесполезный для дела. Далекий и словно бы чужой. Или он сам виноват? Где-то не хватило любви, заботы, понимания... А ведь еще Петр рек об Алексии: «Не упусти!»



Надо будет вновь потолковать с ним, показать митрополиту, что ли?! Свой ведь, до конца свой! Быть может, когда-нибудь... Ну, да об этом рано и думать! Довольно, ежели на склоне лет станет епископом!

Сын заглянул в покой, спросил с опрятством:

– Матушка заботна, ужинать с нами?

– Семушка! – позвал Иван. Мальчик тотчас, быстро и пылко, приник к плечу родителя.

Иван огладил сыновьи кудри, помедлил, примолвил ласково:

– Помолюсь, приду!

Вот уже и день минул. Багряные свету в окно покоя предвещают вечер. Сын! Единая надежда! В жизни всего не успеть. Только ежели сын повторит и продолжит... Дочери не в счет. Пойдут замуж (и надо отдать их со смыслом). Младшие сыновья, Иван с Андреем, еще не ясны... Как ему не хватает днесь старшей дочери, Маши, год назад выданной за шестнадцатилетнего ростовского князя Константина! Маши, что помогла ему обадить, улестить и обмануть ростовчан (и купить затем у хана Узбека ярлык на княжение ростовское). Ярлык давал ему право самому собирать ростовскую дань. Константиновы бояре не умели в срок платить ордынского выхода. Он, Иван, сумеет. О, он многое сумеет с этим ярлыком в руках! Маша должна понять! Она так его понимала всегда! Только... Не виноват ли он перед нею? Нет, не виноват! Господи, не виноват я!

Он сгорбился, ощутив опять, как тяжело ему сейчас, сегодня, предстать пред своими домашними.

## Глава 4

И вот они сидят своею семьей. Тут все, кроме Маши: Феотинья – Фотя, по-домашнему; Евдокия – Дуняша, уже невеста (ее прочит Иван за ярославского князя Василья Давыдовича – хорошо бы и Ярославль к рукам прибрать!); Федосья. Все дочери ровненькие, темно-русые, все красавицы – той неяркой северной красы, что не враз западает в очи, а сперва надо глянуть и раз, и другой, а там уже и засмотришь, и узришь. Хороших девочек родила ему Елена! По другую руку сыновья: наследник Сеня, тринадцатилетний подросток, маленький трехлетний Иван и Андрейка – этот на руках у кормилицы. Данилушки нет: прибрал Бог, возревновал к имени родителя. Верно, блажен батюшка на небеси, что все, названные его именем, спешат уйти за ним туда, как их маленький Данилушка, как Данило Протасыч, старший сынок старого тысяцкого. Иван хотел было и еще одного сына назвать в честь отца, да побоялся. Через Господню волю лучше не дерзать!

Елена с последних родов сильно похужела: все еще не оправилась от болей, потуск взор, не стало многих зубов. Иван с беспокойством глядит на нее, на то, как она привычно строго хлопочет, поправляя детей, чтоб не роняли гречневую кашу на стол, и приказывая слугам, и странная мысль приходит ему на ум: а счастлива ли Елена, ставши великой княгиней? Вот как горько порою складывает она губы, как, озирая стол, проминует глазами его, супруга своего. Но Иван молчит. Сыну степенно рассказывает о послезавтрашнем торжестве. Говорит, подробно объясняя, кто где должен стоять, что надлежит содеять ему, князю, и что – отцу архимандриту. Сема слушает, старательно запоминая.

– Батя! А в таком деле должен митрополит благословляти?

– Должон, сынок! Вот был бы Петр живой, он бы освятил уж, и с радостью освятил сей храм!

Понимает уже сын надобность в церемониях и в уставном житии. Это добро! Княжич должен расти в законе. Лучше излишняя строгость, чем, как у иных, своевольное буйство. Буйному горько придет потом, когда почует окорот и в делах и в правах: и великий князь не всесилен в дому своем! Князь должен быть примером, главой, сам – яко закон пред прочими.

Расти, Семен! Твой батька во младости голоса ни разу не возвысил, был тише воды ниже травы пред братом Юрием, а – правил Москвой! Криком да буйством города не возьмешь!

Потому и в дому своем сугубо блюл Иван посты и молитвы, требовал и от сына и от дочерей, дабы выстаивали службы полностью и чли часы, не сокращая. Вот и ужин начали с молитвы, молитвою и окончили. Дочери одна за одной подошли к отцу попрощаться на сон грядущий. Отосланы мальчики. Иван прошел в изложню. Постельничий бережно снял с него сапоги, унес дорогой пояс. Иван умылся под серебряным висячим рукомоем, с удовольствием прошел босой по восточному ковру. Елена, уже распояской, расчесывала и переплетала косы. В трепетном свечном пламени резче обозначились морщины на шее жены, запавший рот, пусто обвисшие груди под рубахой. Елена очень постарела за эти два года. Ей и в самом деле не в радость пришло великое княжение владимирское!

Наконец, задувши свечу, она тоже легла. Поерзала, обминая постель, намеренно не касаясь Ивана. Он улыбнулся в темноте. Елена последнее время почасту так небрегла им из-за болести своей женской, а то и стесняясь постарелого тела своего (как-то сказала о том Ивану). Не понимает, сколь нужна ему и теперь, и такая: словом, ласкою, советом, – да и без того сжился так с нею, что уже и не видит порою печатей возраста и увядания. Думая утешить, поднял руку, огладил жену по волосам и вдруг понял, что она молча, неслышно, плачет.

– Почто ты, Оленушка?!

– Ты, ты... не любишь, не любишь... – Он хотел привлечь, сказать горячо: «Люблю!» – как она выдавила с рыданием: – Не любишь Машу! Слыхала я, Мину с его живорезами посылашь в Ростов! Зачем тогда было выдавать на позор, стыд... – Поднялась на локте, чуть видная в лампадном сумраке, выдавила со страстной ненавистью:

– Ты ведь не Ростов, ты дочь свою зоришь! Даве за столом, про церкву етую... Едва сдержалась! Что мне эти почести! Да, ты – Костянтин, а я – никакая не Елена, я простая жонка, баба московская! Даже не княгиня! Вот! И так уже глаза колют!

– Кто? – не сдержавшись, глухо спросил Иван.

– Кто, кто! Знаю, и все! Станешь доводить, дак по злобе что ни то исделают! Дочку продал... Знаю! Ростовскими деньгами хана хочешь ублажить! Ты и Машу продал бы хану, коли бы нужна была! А я, а мне... холила, растила... Лучше бы, лучше бы никакого етова княженья не нать! А там: которы да свары пойдут, и все изгибнем! Юрко вот тоже много заносился, да плохо кончил! И ты теперича, кажинный раз, едешь в Орду – сердце кровью обольется: задавят тамо!

Иван хотел было остановить ее, но жена сердито сбросила его руку.

– Не задавят? Ох, не зарекайся, Иван! Михайлу задавили, не тебе чета был! Сам ся не возвышай паче Господней меры!

Он глядел на нее во тьме немо, и все внутри свертывалось, холодело и никло. Может, жена в чем-то и права – в своем, бабьем, мелком, женском, но как же она не понимает! Она, которая должна, обязана, которая права не имеет ни так баять, ни даже думать так!

Великое одиночество словно бы крылами, тихой совою, коснулось его, и он лежал, уже не глядя на темное, с черными провалами глаз лицо Елены, и уже почти не слушал ее, и только одно опять больно прорезало сознание: Маша, ее образ, ее ласка... Как он одинок без нее, без старшей и любимой своей дочери! Как безмерно, как бесконечно одинок!

Стало тихо. Жена, выговорившись, часто дышала, двигалась – видно, утирала глаза. Сказала глухо:

– Прости меня. Устала я. В черевах что-то плохо. Умру. Деток бы сохранить!

А он был далеко и лишь с усилием заставил себя вновь поднять руку и огладить жену. Глупая! И все равно родная, своя... А она поняла – чутьем женским, – посунулась к плечу мужеву.

– Прости, что не так сказала, а жаль Машу, так жаль...

– И мне жаль! – строго и отчужденно отозвался он. – А только без ростовского серебра мне ся не сохранить и власти не удержать в руках.

– Знаю. Устала я, Иван. Не радостно мне. И – боюсь.

– Я вот что, – сказал он, помедлив. – В те поры, как под Опокою стояли, видал Ивана Акинфича с Костянтином Михалычем вместех... – Он помолчал. Жена высморкалась и утерла лицо подолом рубахи. – Акинфичи злы на меня из-за Весок, вотчины ихней, переяславской, что я Родиону пожаловал. Родиона удовлетворить нать было... А теперь думаю, то ли содеял? Силы много у Акинфичей! Юрко, покойник, дуром не похотел перезвать Акинфа Великого к себе, на Москву. А теперь как и перезовешь? С Родионом Несторычем вороги навек!

Не об этом сейчас думал Иван, но хотел заставить жену забыть о Маше. Она – поняла ли, нет – посопела носом. Видать, передернула плечами.

– Жени ты Родиона на сестре Акинфича, на Клавде! Он вдовый, и она вдова. Вот те и спору не станет! Тут и Вески, и всё тут. – Добавила ворчливо: – Свадьбы сводить – не мне тебя учить!

Опять намекала на ростовские дела. А он лежал и думал и дивился, как просто решила Елена то, чего он никак не мог понять и измыслить во все эти дни. Да! И кажется, с тем и нашел, чем и как одолеть тверских князей! Акинфичей перетянуть к себе! С Андреем Кобылой! Все ить свои! По роду-племени все изначала святому Невскому служили! А примирить Акинфичей с Родионом, то и прочие бояре не зазрят... С этого и начать! Собрать воедино! Недаром же его прозывают Калитою на Москве!

До него уже плохо доходили слова жены (Елена говорила что-то тихонько, не то жалуясь, не то советуя с ним), а он был весь – в мысли: «Дела – тлен... Как раз боялся... И правильно, что боялся! Нужно, чтобы после смерти продолжилось: не кончалось задуманное... Она мнит: умрет – и конец. (И я умру!) Мы все – прах, и отыдем в вечность в свой черед! Надо оставить род. Надо, чтобы было наследие, чтобы волею-неволею, а продолжали, держали, чтобы и в поколениях не гасла свеча...»

– Ты не слушаешь меня, ладо?

Иван, возвращаясь из дали дальней, обнял жену, притянул к себе, стал гладить по плечам и спине, а сам все думал, оборачивал, додумывая, решая так и эдак, невзначай брошенные Еленой и сейчас ставшие для него ключевыми слова.

## Глава 5

Дедо, повесив пестерь на шею, пошел босыми раздавленными стопами по рыхлой, еще зябкой от зимнего холода земле. Первая горсть зерна, описав широкий полукруг, легла на взоранную пашню. Грачи метнулись заполошно, упавая с вершин дерев.

– Кыш! Кыш, проклятые! – Сноха и внучек оба побежали следом, размахивая длинными ветвями. Хуже голодного грача нет птицы по весне: выключают зерна из пашни, сделают голызину того больше! А зерен этих нынче – сбереженных, да выпрошенных, да с горем выменянных на небогатую охотничью дедову добычу, – зерен этих ох как мало! Потому и костистая рука дедова, сперва щедро загребая ладонью в глубине пестеря, потом, судорожно сжав корявые пальцы, сминает до крохотного комочка и без того невеликую горсть, и полумесяц летящего по воздуху зерна кажет не тем широким и щедрым, как когда-то, а едва заметною тонкою чертою в прозрачном и легком воздухе новой весны. Ничего! Был бы хлеб! Все одно – хлеб! Оклемать бы только! Рука ведет ровно, не вздрагивая, сама чувствует, сколь и доколе надо размахнуть, и струйки зерен ложатся на землю тоже ровно, словно бы обрисы венцов у нарочитого иконного мастера...

Дедо доходит до конца поля и, отмахнув головой (не время стоять!), начинает второй загон. Малый понукает взятого взаймы коня с бороной-суковаткой. Тот клонит шею, фырчит,

угрожающе тянет мордой с долгими желтыми зубами – не признает малого. Мать спешит на помощь сыну, и под их согласные окрики, конский фырк и оголтелый ор рассерженных птиц борона ползет по полю, заваливая и укрывая от жорких разбойников разбросанное зерно.

О полден наконец садятся передохнуть. Дедо оттирает жидкий пот с морщинистого чела, чуя уже близкий исход сил. Да, вишь, дети, сыны, убиты на ратях, а хлеб и себе, и боярину, и князю надобен все равно!

Баба, сноха, оставшая от покойника сына (почитай жена!), наливает кислый брусничный квас в глиняную братыню, кладет на развернутый плат печеные репины. Внучок суетится, старается угодить деду. Махонький! Шея-то што у воробышка... Дожить бы, поднять!

Дикая, с плоским накатом из некореных бревен, приземистая изба, с неровно обрубленными углами, слепая, безоконная, стоит на месте спаленных дедовых хором. Потемневший, с обугленным краем амбар – остаток порушенного хозяйства – притулился в стороне. Тонкие радостные березки уже поднялись стройными копыцами на старых пепелищах бывших здесь некогда, до Шевкалова разоренья, дворов.

Князю нонь много надобно, прошали и хлеб, и скору... Чего затевают опять промежду себя тверские князи с московским? Ноне рати б не нать, не выдюжить! Едва отдохнули от нахождения татарского... Дедо никнет головой, тяжело думает, жуя скудную вологу. Каков был Михайло-князь! А и его передолили, замучили в Орде... Еще до того до всего, до Щелкана ентого... Он, шурясь, обводит взглядом свое невеликое поле, оглаживает по шелковой головке приникшего внучка.

– Дедо, дедо! А там у нас терем стоял?

– Стоял... – рассеянно отвечает старик, чуя, как гудят ноги и плечи и как невмочь (а надо!) вставать и снова идти по стылой земле... А тамо косить, и жать, и снова пахать – под озимое, и отдавать с великими трудами добытое зерно наезжим княжеборцам... Токо б не стало рати! Все пропадем. Не выдюжить тогда...

Крестьянину нужна земля. И оборона от врага, татя ли, того, кто захочет порушить с потом и кровью нажитый крестьянский живот: жизнь и добро, дымную клеть, скотину и зажиток. Чего хочет каждый? Покоя в трудах. Но покой от татей – в казнях, в суде скором и часто немилостивом. Покой от врага – в войске, которое надо сытно кормить, и укреплении княжеской власти. Почему и платят дани и несут покорно бремя трудов и дел нарочитых: городского и дорожного, хоромного и повозного; почему дружно и враз встают по первому зову на брань, и головы кладут на ратях, и снова терпят и несут свой нелегкий крестьянский крест. Почему от последнего ломтя порою отрывают кусок боярину и князю своему. Дорого стоит власть!

## Глава 6

Мина прибыл в Ростов, когда Василий Кочева уже окончательно увяз в долгой и неразрешимой пре с тысяцким города Ростова Аверкием.

– Как ся творилось при дедах-прадедах, так пуцай и ныне порядку, по закону идет! А на грабеж волости Ростовския добра моего нетути! – твердо отвечал Аверкий на все настоячивые попреки Василия Кочевы. Ростовская дань досюдова собиралась с трудом и не полною мерою, и старик Кочева уже из себя выходил, наливаясь бурой кровью, но переупрямить ростовчанина не мог никак. Да и сил не хватало. В огромном Ростове, под сенью огромного, украшенного каменною резьбою собора, в тени краснокирпичного терема Константина Всеволодича, в людной путанице улиц, торговых рядов, монастырей, книжарен и храмов, в разноязычном гомоне торгового, среди дворов и переходов широко раскинутого княжеского дворца, московская дружина Василия Кочевы словно умалилась и исшала числом. Тоненькая ниточка ратных не могла сдержать литого напора народных толп, окрики московских воевод тонули в реве и гомоне ростовской черни. Серебра давать наезжим данщикам не хотел никто, о чем

недвусмысленно, с хулами и поносным лаяньем, заявляли прямо в лицо Кочеве старосты и выборные от горожан и гостей торговых.

Юный князь, Константин Васильевич, семнадцатилетний мальчик, вместе с женой, Марией Ивановной, дочерью московского великого князя Ивана Калиты, укрылся в загородном поместье своем, что для москвитов было и хорошо, и худо. Хорошо, что не перед лицом своей московской княгини вольны они были творить сборы даней во граде, худо тем, что никакой заступы делу своему от князя Константина добыть было немочно, а за Аверкием стояла как-никак ростовская городовая рать, да и уважение граждан ростовских к своему старейшине весило немало, грозя взорваться народным мятежом. Второго из юных ростовских князей, Федора Васильича, тоже было не сыскать, да и с ним, владельцем Сретенской, неподсудной Ивану половины Ростова, бесполезно было бы и толковню вести. Потому и бесился, и рвал и метал в бессилии московский боярин Василий, потому и ждал обещанного с Миною подкрепления, яко манны небесной, без местнической спеси и зависти к сопернику – уже, почитай, и не до соперничества было ему теперь!

Города растут, хорошеют, мужают и старятся, словно люди. Но только ежели человек с возрастом утрачивает юную лепоту и уже – согбенный станом, в седине и морщинах – мало напомним кому прежний отроческий облик свой, то город к возрастию сугубому, исполненный украсою палат и храмов, от прежних лет накопивший хоромное узорочье, величавую стройноту башен-костров и тяжкое великолепие боевых прясел, словно поясом опоясавших тьмочисленное скопление дворцов, повалуш, гриден, клетей, церквей, колоколен и стрельниц, – город к возрастию и уже к закату своему глядится еще более прекрасным и прилепым, чем в буйной, неустроенной и еще необстроенной юности!

Когда-то, в незапамятные годы, был град Ростов старейшим градом залесской земли, и оттого даже и вся волость сия звалась в те поры Ростовскою. Лежащий на великом озере Неро, Ростов долгие годы хранил мерянский языческий дух, и тяжело приходило первым епископам здешней земли побороть непокорливый и крутовыйный народ ростовский. За десятилетия со крещения едва-едва отодвинули великого идола Велеса от княжого дворца на окраину города, в Чудской конец. Но зато и светом истинной веры, мудростью книжною, ученостию своих иерархов прославил себя древний залесский град! И поднесь ростовский епископ не первый ли пребывает среди епископов Владимирской Руси?

Но прихотливы судьбы земли, и капризна река времен, и уже давно потуск, уступил первенство свое граду Владимиру, а там и Суздалью древний Ростов. А старинная слава – осталась. И не ею ли плененный старший сын Всеволода Большое Гнездо, Константин, не восхотев лишиться стола ростовского, порвал с отцом, раскаторовал с братией своей, лишь бы усидеть на ростовском княжении! И усидел. И еще украсил древний град, и обогатил библиотекою, равной которой не было в те годы на Руси, и... не возмог повернуть вспять реку истории родимой земли! Ростов так и остался уделом, украиной Руси Владимирской, а в споре городов поднялась выше всех гордая Тверь, выросли Москва и Нижний, далеко обогнавшие праотца залесских городов. И уже старый Ростов склонял было выю под властную руку Михайлы Ярославича Тверского, и кабы не жестокая гибель Михайлы в Орде, кабы не долгая пряха Москвы с Тверью, Ростов, возможно, уже давно откачнул к сильному соседу своему. Мельчая в частой смене малолетних князей, земля ростовская давно стала переспелым плодом, готовым, только тронь его, упасть в руки удачливому победителю.

Но город, пощаженный Батыем, великий и славный, все так же стоял, красуясь красотою несказанною, и таковым, в тьмочисленном кипении и кишении своем, предстал взору московского боярина Мины в вечернем багреце заходящего дня, что алым облаком одел красный дворец Константина и розово-желтыми светами лег на величавую громаду ростовского Успенского собора.

Московляне въезжали попарно в Переяславские ворота города, и те, кто не был тут никогда, изумленно озирались на непривычное им многолюдство и хормную тесноту городских улиц. Проминовали торг и собор. Скоро княжой двор наполнился ржаньем коней, гомоном и лязгом оружия. Мину с дружиною ждали. На поварне булькали котлы с варевом, у коновязей высились горы свезенного с пригородных слобод останнего сена, слуги, захлопотанные, бегали от поварни к теремам. Ратные, узнавая своих среди Васильевых кметей, громко переговаривали, делились новостями. Шумной толпою, толкаясь, набивались в челядню, к огненным щам, к вареному мясу и каше. Пока творилась обычная суета, пока накормленных ратников разводили по клетям, повалушам и горницам княжого двора, Мина только лишь успел перемолвить с Кочевою слова два. Но вот стих гомон, сторожа, бряцая саблями, разошлась по своим местам, улеглись спать ратные, и наконец оба московских воеводы уселись друг против друга за столом в особой горнице. И тоже – как не перекусить с дороги! – молча отдали дань и щам, и печеному кабану с яблоками, и пирогам, и каше с изюмом, нарочито изготовленной для жданного гостя... После чего Кочева кивком отослал слуг, сам налил кисловатого меду в две чары и, глаза в глаза, глянул сурово в мохнатое лицо Мины. Тот рыгнул сыто, откачнул на лавке, взъерошил и без того разлзтую бороду, на невысказанные Кочевою немые слова отозвался ворчливо:

– Слышал! Мирволишь ты им, Титыч!

Кочева, супясь, набычил толстую шею, засопел было – негоже Мине с ним, Кочевою, на равных-то! А – и не возразишь, сам ждал! Сдержал себя. Отмолвил понуро:

– У мыта, у пятна и тамги, у всех переволоков лодейных – наши люди. На заставах, всюду, мои ратны, а толку – чуть! Эко, словно бы и товару не везут во град! Аверкий ихний всему причина, не дает ходу, и на-поди!

Мина отпил, перемолчал с прищуром, обмысливая слова Кочева. Ответил погодя, не вдруг:

– С Аверкием твоим смолвим... – И опять умолк, и враз, решившись, поднял яростные глаза, и – словно холодом по спине, словно клинок обнажая: – Ты, вот што... Скажу ныне тебе об етом зараз! Данилыч двоих молодцов моих за татьбу казнил на Москве! Прилюдно, позорно, на Болоте!

– Дак... за дело? – пугаясь не столько слов, сколь яростного взора Мины, возразил Кочева.

– Дак не без дела, тово! – словно отбрасывая что от себя, отмолвил Мина. – А только робяты злы, кого хошь теперича разнесут! Я с тем к тебе послан, воевода! – продолжал Мина грозно, кладя кулаки на стол. – Серебро штоб, не то – головы наши! И, смекаю, не то чтобы выход царев, а сколь чего Данилыч в Орде раскидал дак – вдвое теперича!

Он задохнулся, умолк, и молча – текли мгновения – оба, в колеблемом свечном пламени, бросающем долгие тени на тесные стены хоромины, утупив очи в тусклое олово чеканного кувшина с медом, сопя и вздыхая, думали, не думали даже – ждали, что из них скажет другой? И Мина, отпив опять и поморщась от кислоты питья, изрек первый:

– Мыслю градские ворота перенять нынче же, в ночь! А из утра – шерстить всех порядку!

– Крови б не было, – пробормотал Кочева, исподлобья озрев сурового помощника своего. Сам подумал: как и не быть крови, а и без крови как?

– Пушай! – отозвался Мина. – Нам што кровь! (И опять вспомнились ему те, на Москве, на Болоте.)

– А Аверкий твой, – протянул он, с прежним прищуром глядя в глаза Кочева, – Михайлу Ярославича забыть не может! Дак потому! Вишь, и опосле погрома Твери не прочнулись! Не сведали, чья сила теперь! – Он опять охаписто сжал кулак, будто погрозив кому-то незримому, и довершил: – Чуток ищо молодцы покемарят, а там и почну будить. Подкинешь кметей?

– Бери, что ж... – отозвался, пряча глаза, Кочева. – Но, коли что... Твоя голова в ответе!

– Оба мы головами вержем, Василий! – возразил Мина неуступчиво. – Данилыч кровь простит... Коли с умом! А серебра... Серебра не простит, николи!

И – принялся за кувшин. Корявым, привычным больше к оружию пальцем надавив на отжим, поднял узорную крышку, плеснул в чары себе и хозяину. Молча выпили. Баять было и не о чем теперь.

– Тута соснешь? – спросил Кочева Мину. Тот кивнул, показав глазами на курчавый овчинный зипун. Василий поднялся, внезапно почуяв старость в изнемогших членах, смутно позавидовал настырному младшему воеводе: «Резвец! Поди, с годами и в думу княжую попадет!..»

– Пойду, наряжу своих. Тебе душ полста?

– Возможешь, и сотню прикинь! – отозвался Мина. – Да пушай к первой страже будут готовы! Пока те дурни спят, мы с тобою и город перейдем!

Скоро в полутьме весенней короткой ночи началось осторожное шевеление, топот и звяк, приглушенный говор множества кметей. Комонные отряды московитов отай разъезжались по улицам, сворачивая рогатки, глуша оплеухами и пинками сонных городских сторожей. Первые ворота заняли без боя. У вторых створилась малая сшибка, у четвертых и до мертвого тела дошло. Ретивый попал старшой у воротней сторожи: пока головы не проломили, не восчувствовал, чья ныне на Ростове власть! К утру город был почитай весь захвачен московскою помощью. Местную дружину – кого застали на княжом дворе, – лишив оружия, заперли в молодецкой: пушай охолонут маненько!

Разгневанный Аверкий явился на княжой двор с синклитом бояр и выборных от града. Василий Кочева встретил его непривычно хмурый и неприступный – словно подменили москoviта! Сказал, уже не отводя глаза:

– Ордынское серебро брать будем со всех! Пото и ворота закрыли! И с тебя, Аверкий, не посетуй уж, и со всех бояр, и с горожан нарочитых...

Ростовский тысяцкий вскипел. С опозданием узрев московскую дружину за спиною Василия, готовую взяться за сабли, рванул себя за отвороты дорогой ферязи, крикнул:

– Голову руби, смерд! А я не позволю! Не дам грабить града! Пушай великий князь с нами, с боярами, с вечем градским сговорит, а не с ханом своим поганым в Сарае, за нашею спиною! Возможем и сами собрать дань ордынскую!

Княжой двор начинала остолплять, тесня московских ратных, густеющая толпа горожан. Но в этот трудный час Мина, пробившись с помощью ордынской плети сквозь ряды смердов и кинув повод стремянному, вбежал в палату. Озрев и едва выслушав брызжущего слюною Аверкия, синклит и градскую старшину, что уже было со сжатыми кулаками отступала, загораживая своего тысяцкого, Мина, громко позвав оружных кметей, врезался в гущу ростовчан и ухватил Аверкия за воротник. Бояре обомлели неслыханною дерзостью москoviта, а Мина, не давая никому прийти в себя, выволок Аверкия из рядов и, кинув в руки подоспевших кметей, рявкнул:

– Взять!

– Повешу пса! – возопил он в лицо ростовскому тысяцкому, меж тем как кмети, крепко взяв старика под руки, волокли отчаянно упирающегося Аверкия прочь от своих сограждан, которые, оказавшись в кольце копий и обнаженных сабель, лишь глухим ропотом выражали возмущение, не смея ринуть на помощь плененному воеводе.

– Пушай! – орал Аверкий. – Кровью! Моею кровью пушай! А не дам! Погину, яко Христос на Голгофе, а вы вси, граждана ростовские, разумеите, какова...

– Вешать! – взревел Мина, перебивая старика. – Вешать сей же час! Вережку сюда! Помост! Давай старого пса! Не за шею, нет, за ноги! Вытрясем из ево ордынское серебро!

И старый боярин, что уже было решил отдать жизнь, осиянный мученическою славою, нежданно повис под потолочиною, нелепо, по-скоморошьи, перевернувшись вниз головою, с

завороченными полами долгой ферязи, хрипя и булькая, извиваясь и нелепо болтая руками. Старика лишили чести, лишили права достойно умереть!

Скованные ужасом, глядели ростовские старейшины на жуткий воздушный танец своего тысяцкого, только в сей час поняв наконец, что ярлык, купленный Калитою у хана, – это не пустая сторонняя грамота и что платить за тот ярлык придет им всем, и тяжка окажет граду Ростову плата сия! И, озрясь на ошетиненное округ железо, старцы градские возрыдали и стали падать на колени, протягивая руки в сторону всесильного, миги назад едва ли не смешного, а теперь неслыханно грозного московита.

Аверкия, вдоволь поизмывавшись над стариком, вынули из петли едва живого. Вытаращенные глаза тысяцкого, в кровавой паутине, были страшны и едва ли что видели. Кровь шла из ушей и гортани. Слуги уволокли поруганного боярина к себе в дом, и тотчас вслед за ними явились оружные московиты и начали переворачивать хоромы сверху донизу, собирая серебряные блюда, чаши, достаканы, цепи и пояса с камнями, лалами и яхонтами, вынося поставы драгоценных сукон, мягкую рухлядь, кожаные мешки новгородских гривен, арабских диргемов и западных нобилей... Брали без меры, счету и весу, оценивая взятое едва на глазок. Уже не брали – грабили! И такое же творилось в тот же час по всему Ростову. Брали, не очень даже разбираючи, где Борисоглебская, а где Сретенская сторона.

Обобрав город, принялись пустошить все подряд пригородные волости и везде творили также: дружиною занимали боярский двор, а там проходили по смердым избам, из веси в весь, отбирая узорочье и серебряную утварь, стойно татарам, – разве только, в отличие от ордынцев, не жгли хором и не трогали храмового серебра.

И не в редкость было узрети в те поры, как за ревущею в голос раскосмаченной девкой гнался безстыдно ражий московит и, ухватив беглянку за косу, заламывая назад голову, едва не с мясом выдирает из ушей серебряные серьги.

«Робяты» ополонились все досыти. Портами, оружием и коньми. Мина сам потрошил потом переметные суммы своих кметей, ругаясь, лупил по рожам, отбирая ворованное серебро. Ратники ворчали, словно собаки над костью, нехотя уступали воеводе. Добра хватало и без того, да жадность одолевала каждого. Когда так берут, охота и самому запустить руку в князеву мошну! Размазывая кровь на битых мордах, неволею развязывали торока. Мина отбирал, не жалея. Знал, что только собранным серебром оправдается учиненный им в Ростове грабеж и насиливание многое.

Впрочем, и себя самого не забывал боярин, уже не один воз добра, не один десяток коней отсылал он восвояси, торопясь удовлетворить себя на ростовской беде. В имении великого боярина Кирилла не удержался и от грабежа прямого. Боярин давал в уплату дани ордынской драгую бронь, что и великому князю пришла бы в пору, – с золотым письмом по граням синей стали, с блистающим зеркалом и наведенными хитрым узором налокотниками, – дивную бронь! Мина отобрал бронь за так и не стал даже класть ее в счет ордынской дани («Себе беру!»). А молодцам разрешил пограбить и все прочее оружие на дворе боярском.

Боярин Кирилл, высокий, сухой, красивый, вскипел было, потемнели синие очи, и тут же сник, уступил, сдался. А сыны его, те волчатами глядели на московского княжеборца. Особенно старший. Даже и броситься в драку был готов, едва удержали свои же холопы за плеча! Бог спас, не то пришлось бы кровавить саблю, а там, поди, уже и ответ держать о погубленной боярской душе!

Не ведал Мина и после не узнал, кого грабил он в те поры и какие боярчата глядели на него ненавистно! А узнай – и не поверил бы, пожалуй, что тот, старший, едва не зарубленный им, будет духовник великого князя московского, а второй, отрок лет эдак семи-восьми, станет с годами самым великим подвижником Руси Московской! А бронь та, отобранная безстыдно, доживет до горестного сражения на реке Тросне (ровно сорок лет спустя того соромного дела), где сын Мины, Дмитрий, в отцовой броне, защищая рубежи Москвы от неожиданного набега



Ольгерда литовского, сложит голову в том неравном бою, кровью искупив давний, позабытый уже грех усопшего отца своего, и похищенная некогда Миною броня достанется, в свой черед, удачливому литвину...

## Глава 7

Четверо великих бояринов тверских сидели в горнице небогатого посадского дома в маленьком городке литовском, где нашел приют бродячий двор изгнанного князя Александра Михалыча, когда-то великого князя владимирского, а ныне, вот уже второй год, беглеца, коему пришло распроститься с последним приютившим его русским городом, Плесковом, и теперь скитаться во владениях Гедиминовых. Бояре разговаривали, и разговор грозил уже перерасти в брань. Трое собрались выслушать четвертого, прибывшего утром из Твери, с той, русской стороны, оставленной всеми ими ради своего князя. Вести были так и сяк, но не о них шла речь. Приезжий, Иван Акинфич, сказывал братьям – родному, Федору, и двоюродному, Александру Иванычу Морхину, а с ними третьему в их тесном, почти семейном кругу, свояку Андрею Иванычу Кобыле, – о необычном деле, затеянном москвитями.

Сам Родион Несторыч Рябец сватался к их с Федором сестре, Клавдии, вдове убитого некогда под Переяславлем Давыда, в том самом злосчастном бою, в коем сам Родион вздел на копье голову их батюшки, Акинфа Великого, и поднес юному тогда княжичу московскому, Ивану Данилычу Калите, нынешнему великому владимирскому князю и главному, после хана Узбека, ворогу их господина, Александра Михалыча.

Разговор шел как раз о том, что за сватовством этим стоит едва ли не сам князь московский. И что нелепо им, боярам опального Александра, идти на этот союз даже и ради вотчин переяславских, вновь отобранных у них Калитою.

Иван метался, выслушивая то тяжелые упреки Александра, то строгие покоры Федора, и лишь спокойно-вдумчивое молчание Андрея Кобылы рождало в нем надежду ежели не уломать братьев, так хоть заставить их выслушать его путем.

Слуг из горничного покоя удалили – не для них был разговор. Даже и оконца заволочили заслонками: не достоин иному любопытному уху знать то, о чем тут толкуют русские бояре промежду собой.

Дубовый жбан с молодым пивом уже сильно опустел; уже сильно оплыли свечи, от пляшущего огня коих по нетесным бревенчатым стенам горницы мотались огромные тени. От лавки, застланной медвежьей, грубо выделанной шкурою, к глиняной черной печи и назад, туда и назад, мерил покой Иван, почти задевая головою черный аспидный потолок из накатника. Дорогое платье боярина, руки в золотых перстнях, остроносые сапоги цветной кожи казались здесь, в грубой и бедной хоромине, особенно богаты и необычайны. Но и трое, рассевшиеся на шкуре за столом, когда на них падали отблески света, тоже являли собою вид зело не бедный. Невесть, видывали ли когда в этом крохотном, не то литовском, не то полесском, городишке такие порты, такое узорочье, таких разубранных коней и такое дорогое оружие, коим величались наезжие русские бояра и их изгнанный великий князь. Право Ивана Калиты на владение столом владимирским здесь не признавалось ни на словах, ни на деле. Ради того ушли с князем своим, ради того жили и ждали: воротить домовь и взвести Александра вновь на золотой стол владимирский! И об этом тоже была речь в тесной горнице, промежду четырех бояринов русских.

Все четверо были на возрасте, в зрелом расцвете лет и сил. Уже не юнцы, не холостые парни. Уже и победы и поражения извели они в жизни и судьбе, водили полки и спасались от татар. За каждым стояли сотни слуг военных, каждый мог поднять, явившись в Тверь, не одну тыщу оружного народу, кметей и мужиков, и потому, даже изгнанные, даже и подвергшие себя добровольной, вкупе с князем своим, опале, были они силою немалой, с коей считался и Геди-

мин, приютивший беглецов, и московский князь Иван Калита, и даже далекий хан ордынский, Узбек, повелевавший десятками языков и народов.

– Корысть земную достоин имати нам вкупе со князем своим! Токмо! А без ево – не след! Мы – слуги господина нашего, и нелепо нам принимати дары от ворога московского! – кричал Александр Морхинин, пристукивая по столу кулаком.

– Дары? Какие дары? Дарят тебе Вески те?! – орал в ответ Иван, продолжая мерить горницу беспокойными шагами. – О сватовстве речь! О сватовстве! Вески... С Весками... в придано пойдут Родиону. Сестре даем, не чужой душе!

– Не мы даем, а нам дают! – уточнил Федор. – Дают и тут же назад берут. Уж безо князя Ивана не обошлось никак! Тьфу! – Он зло сплюнул. – Лис двухвостый! Вот кого Дмитрию-то Михалычу стоило убить в Орде вместо Юрия! Он всему злу притчина. Поди, и князя Александра имать не сам Узбек надумал, а Данилыч подсказал! А с Весками он давно крутит! Ох, Иван, дал ты промашку единожды, под Москвой, не отпирайся, дал промашку немалую! С тех же Весок и началось. И что, сидим мы тамо? А одолел бы Михайло-князь, давно сидели на отчем мести мы с тобой!

Иван покраснел, побурел даже. О той, давней, полуизмене в бою под Москвой, когда он не перешел с полком в заречье и тем позволил москвитам отбиться на бою, Иван Акинфич предпочитал не поминать. И уж брату не след бы поминать о том! Доходы с переяславских вотчин шли ему наравне с Иваном.

– А уверен ты, Федор, что тверские бояре, захвати тогда Михайло Москву, нас с тобою в думе княжой долго потерпели? Да те же Бороздины! И тебя и меня с великих местов живо согнали бы в городовые воеводы али еще подале куда! Мы все для тверичей пришлые! Родовые вотчины наши в Переяславле, понимай сам!

Федор хмыкнул, пожал плечами, представил себе лица природных тверичей и – смолчал. Брат Иван, пожалуй, угадал верно.

– Ты-то што молвишь? – отнесся Федор к Андрею Кобыле.

Высокий и широкий, Андрей раздвинул румяные щеки, усмехнувшись слегка, дрогнули усы, крепкие мощные длани приподнял от столешницы (такими лапами не в труд удавить и медведя), растопырив толстые пальцы, словно отодвинул от себя спор братьев:

– Мне што молвить! Дело семейное! Брат нашево князя, Костянтин, на дочке Юрия Данилыча женат и в походе на нас вои вел. Что ж, его тоже зазришь в дружбе с Иваном? – Повторил, опуская ладонь: – Дело семейное! – Задумчиво поглядел долу. Огладив широкую каштановую бороду, прибавил: – Сама-то Клаха как? Чать, не маленькая!

– Ты, Андрей, что же думаешь, лепо нам и с Иваном Данилычем поладить за спиною князя своего? – с обидою изрек Александр Морхинин.

– Почто ты так?! – спокойно, без обиды отозвался Андрей. – Я ить здесь сию, с вами! И молодцы мои тут, в Литве! Мне ить и воротить во Тверь мочно было! Сам знашь!

Он бережно олапил глиняный кувшин, подержал, болтнул. Почуввав пустоту, приподнялся, осторожным медведем двинулся по горнице, пригибаясь, чтобы не задеть потолочин. Легко приподняв жбан, налил полный кувшин пива и воротил к столу.

– Пейтя, гаспада! – сказал по-псковски, для смеху, и широко улыбнулся. Не любил, когда при нем зачиналась какая брань. Самого Андрея Кобылу ни разобидеть, ни раззадорить на спор было решительно невозможно. Присев и отпив, он шумно вздохнул, поглядел в потолок:

– Хлеб уже убирают! – сказал, ни к кому не обращаясь, и хоть не примолвил ничего, а стало понятно, что убирают там, дома, в Твери. И еще показалось трем другим, что не так уж и важно, пойдет ли нет Клавдия за Родиона, дело в сам деле семейное!

– Ты, Андрей, како мыслишь о делах наших? – посбавив тон, хоть и по-прежнему хмуро, спросил Александр Морхинин. (Он сидел нахохлясь, глядя выпуклорачьим взором, стойно

родителю, и островато, неприступно отгораживался локтями от прочих.) – Како мыслишь, почто мы сидим тут и до чего досидим?

– А никак не мыслю! – добродушно и просто отмолвил Андрей. – Сижу! Был бы дома, пошел нынче сам, с горбушею, валить хлеб. Люблю пройтись эдак-то по яровому! – Он усмехнулся вновь румяно и молодо, давая сотоварищам волю подтрунить над его пристрастием к мужицкой работе. Пожал широкими плечами: – Как ни то да образует! Либо Узбек умрет, либо еще что содеет. Не век же нам по Литве горе мыкать!

– Плоха надея! – пробурчал Морхинин.

– А ты, Александр, каку думу думать? – строго спросил его Федор, так и не тронувши пива, поставленного перед ним Кобылою. Он был суше Ивана, узкобород и не улыбочив ликом, а потому казался иногда годами повозрастнее брата, да и говорил так вот, строго и неотступно, почитай, со всеми и всегда. Федор был воин, стратилат, и вынужденное сиденье в Литве ему было тяжелее, чем Андрею Кобыле.

Александр повел рачьим выпуклым глазом в сторону двоюродного брата, передернул локтями, сказал – в стол:

– Мыслить надобно о Руси! А не о своих вотчинах!

– Дак и откажись от вотчин тех! – вскипел Иван.

– Почто? – хмуро подняв на него глаза, спросил Александр. – Вотчины нам дадены за службу князю своему в володенье и в род! Пото надлежит и честь рода блюсти неотступно!

– А мы тут, в Литве, – круто остановясь, выкрикнул Иван главное, о чем молчали допрежь, – кому ся деем пользу: Руси али Гедимину литовскому? Он ить и веры не нашей!

– В веру православную Литву и перевести мочно! – примирительно прогудел Андрей Кобыла. – Тут и так православных христиан поболее, чем невегласов литовских альбо католиков...

– Другую Русь зачинать? – спросил Федор сурово. Ему в ответ промолчали. Другую Русь, Русь литовскую, с чужими князьями во главе, коих еще надлежало крестить в православную веру... О таком тяжко было и подумать. Нет, воротить бы Александра на великий стол да поприжать Москву... Но все поняли вдруг, что, пока они будут которовать с Москвою, Гедимин станет усиливать себя за счет русских земель, и кто знает, чем кончит этот настырный литвин, получивший стол непонятно как, едва ли не угробив своего покровителя, Витенеса. Такой ни перед чем не остановит! И в молчанье, обнявшее четверых, в согласную думу земляков Федор уронил колюче и жестко:

– Одно скажу: с Ордою Гедимин не сговорит! Да и с немцем, пожалуй, тоже... С Узбеком на Смоленске соткнутся они... А вот како надлежит нам ся вершить – не скажу. Ты, Александр, все знашь, все постиг, молви!

– Католики жмут... – отозвался Морхинич недовольно. И помедлив: – Видал сам, какая она, Литва! Сила есть, а вот броней добрых... Немец, он в железе весь. Без нас, без Руси, им тут не сдюжить! Понимай сам! На сем дели можно и Твери выстать, можно и новую Русь зачать. Не с Москвою ж нам лобызаться! Дядя Акинф убит под Переяславлем, Давыд – с ним вместе. Мы-ста едва ушли! Михайлу-князя москвичи уморили, Дмитрия Михалыча тоже – без Ивана Данилыча не обошлось! Худой мир с таким соседом! А как великое княжение добывали? Юрий – из-под шаровар своей татарки; Иван – уж не знаю, не сам ли Узбеку ся давал... Нынче Ростов ограбил под дочерним подолом, дочиста, бают. Срам! Великий князь! Смердич, одно слово!

– Не скажи, Александр... Иван Данилыч умен... – раздумчиво возразил Федор. – И умен, да не наш! – круто окончил он и поднял глаза на брата: – Берегись, Иван! Окрутит тебя тезка твой, сам и не почувешь! Хитрее Данилыча нам с тобою не быть!

– Весок жалко! – просто сказал Иван. – А Клавдя что ж... Ей и я не укажу, коли не восхощет! Андрей вон бает: «Дело семейное!» Я и сам так мыслю... А потом... Мне-ста способнее станет туда-сюда ездить, может, и не столь хитер твой Данилыч, на деле-то!

– Он мой, как и твой! – возразил Федор и, помедлив, прибавил: – Повидь Клашу. Пушай сама решит! В сам дели, не Русь продаем, свадьбу сводим! Ты, Александр, как ся?

– Я двоюродный! Была б родная сестра, еще подумал бы, пожалуй. Только не по нраву мне это. Хоть и двадцать пять летов прошло, а все – убийца он, Родион-от!

– На бою ить, на рати дело-то створилось... – протянул неуверенно Иван. (Родион и в самом деле мог ведь не убивать родителя, или уж... Голову-то на копье – грех какой!)

– Над воином так не деют! – строго произнес Федор вслух то, о чем подумал Иван. И вновь решенное было ими дело невесомо зависло в воздухе.

– Андрей! – почти с отчаяньем спросил Иван. – Ты-то как?

– А что я? – отозвался румяный великан. – Ты Клавдю прошай лучше. Ей жить-то! Или уж в монастырь пойти... И то – годы не малые!

И при слове «монастырь» вновь задумались братья. Как-то упустили до сей поры. Надо было Клавдии давно жениха сосватать, да вот... Ростила дочь. Убивалась по Давыду. А там и дочь болезью в могилу унесло, и годы прошли. Тут и знай, и думай!

– Вот что, Иван! – решился наконец Федор. – Прошай Клавдю, как она. А только... Знай, Иван, я с тобою, куда ты, туда и я. Уж братней доли не отрину. Только и ты, тово! О Руси думать надо в первую голову! Это Саша правду бает! А князю своему изменить – Родину порушить. Мы за Русь в ответе с тобой. Да что – все четверо! За людей, за смердов, за Тверь пожженную, за убиенных на той рати Шевкаловой... Тебя не остановишь, знаю. Может, и Клавдия решит взамуж пойти. А только – сказанного не забывай, брате!

Выпили. Про себя каждый подумал почему-то о браке Клавдии как уже о сговоренном, хотя и не знали, как еще решит сама сестра. Но и то сказать: сестра в братней воле. Ей, коли похочет своего добиться Иван, две дороги только: в монастырь или в постель супружескую. А отсюда, из Литвы, не усмотришь, не услышишь, коими глаголами станет улещать Клавдию старший брат! Потому и хмурились и молчали. И еще потому молчали, что было подозрение на Ивана: а все ли сказал им брат или еще и иные посулы принял он от князя московского? Горько было думать о сем Александру, а Федору и подавно. Но Иван ради своего похотенья на многое мог посягнуть, да и посягал не раз! Было за ним такое, не скроешь, не забудешь, хоть бы и хотелось! И только Андрей Кобыла, широко улыбнувшись, простодушно остерег Акинфича:

– Смотри, Ваня! Сестру не насилуй, пушай сама решит! Так-то, по сердцу, лучше, способнее! И тебе опосле покой будет на душе! Противу совести да противу воли ежель чего сотворишь, после сам ся покаешь сто раз!

## Глава 8

Родион Несторыч после смерти первой жены и детей так и не женился вновь. Глухое отчуждение, вот уже четверть века, с того памятного боя под Переяславлем, окружавшее его в среде бояр московских и несомое им уже привычно, как крест, как судьба, как неизлечимая нутряная болезнь, да гордость, тем большая, чем больше чуял он это, после убийства Акинфа Великого, настороженное недружелюбие – верно, они и не позволили Родиону искать невесты среди этих чванных москвитов: Редегиных, Афинеевых, Окатьевых, Кочевых... Все они не стоили его перста мизинного! Он один, со своей кованой ратью, весил больше их всех – так, распаяя себя, думал порой московский воевода, в иное, более спокойное время понимавший, что и Протасий, и Бяконт, да и не они одни, не менее его значат (а то и много более!) при дворе московском. Но так или иначе, а высокий седоусый красавец Родион старел один в своем сходненском гнезде, в тесаных хоромах, в окружении слуг, приживалов, собак и соколов (охоту

любил он превыше всего), среди случайных наперсниц своих, коих часто менял, никогда и некоторую не приближая к сердцу, почему они и приходили и исчезали, не оставляя следа ни в домашнем быту, ни в памяти боярина.

Среди местных он был чужаком, и порою долило, что обширное имение Сходненское, а к тому и переяславские, вырванные у Акинфичей, вотчины, останут какой ни то захудалой дальней родне или уйдут как выморочные в княжескую казну после его смерти – на бою ли али в постели своей... Но до смерти в постели было, положим, еще не близко!

Утром того дня, поломавшего, возмутившего и наполнившего новым смыслом всю его жизнь, еще ничего не знал, не ведал Родион, в накинута на плечи летнем посконном зипуне стоячи посреди двора, меж тем как конюшие выводили злого каракового жеребца, и тот, свивая змеем атласную тугую шею, приседал и храпел, кося глазом в сторону Родиона, и злился, и норовил то куснуть, то лягнуть едва-едва удерживавших зверя ражих молодцов-конюших.

Прослышав от подсказавшего вершника, что зовет князь, Родион, не без сожаления, велел увести жеребца и, воротя в хоромы, приказал подать выходные платье и сапоги. Ко князю надлежало явиться в лучшей сряде. Конь, обычный его верховой, степных кровей холощепый иноходец, уже ждал у крыльца, подведенный конюшими. Родион, переоблаченный, легко взмыл в седло, слегка повел бровью – четверо военных холопов уже ждали верхами своего господина – и, в опор, вылетел из ворот.

Воротился боярин поздно вечером, задумчив и хмур. Совет, а точнее сказать, приказ великого князя отвергнуть было бы трудно, но даже и дай ему Иван больше воли, Родион не знал бы, что ему содеять теперь. Новыми глазами обвел он свое жило, по-холостяцки запущенное (борзые свободно ходили по дому, а любимая охотничья сука так и ночевала под кроватью господина, подчас пугая неожиданным лаем случайных его подруг).

Постельничий холоп стянул сапоги, унес дорогое платье. Родион, переодевшись вновь в холщовые шаровары и рубаху, лег на постель, закинул сухие жилистые руки за голову, прикрыл глаза. И тут поплыло-закружило пред ним. И тот роковой, далекий уже, как жизнь, как время, бой, и белое горло Акинфа Великого, и его голова, вздетая на копьё, и хруст, зловещий хруст ножа, когда он, обеспамятев, кромсал горло врага... Сглотнув сухую слюну, вымолвил беззвучно:

– Никогда она мне не простит! – И покачал головой. Безумно было это все. Совершенно безумно! И бесполезно все – и поездка во Тверь, куда князь Иван Данилыч посылает его с неважным поручением, а на деле затем, чтобы посмотреть на невесту, и все это тяжелое, нелепое сватовство... Да и поздно, поздно все! Сколько лет ему, сколько ей? Он совсем закрыл глаза, задышал часто. Две слезинки показались, почти незаметные, в уголках крепко смеженных век. Горячая, горькая обида на жизнь, на время, беспощадное ко всему, что опоздал или не возмог совершить человек в годы своей юности, поднялась в нем и остановилась где-то у горла. Конечно, он поедет в Тверь. Исполнит наказ Ивана Данилыча. Ну и... и посмотрит Клавдию Акинфичну. И получит отказ. И сможет спокойно оттолкнуть князю... Спокойно оттолкнуть, спокойно оттолкнуть... Что? О чем?

В дверь постучали. Доезжачий прошал что-то, он ответил, и, как показалось, разумно, и тот, кивнув, вышел исполнять. Но Родион через мгновение уже не мог вспомнить: с чем приходил холоп? О чем и ради какой надобности спрашивал?

Едва поужинав и кое-как отделавшись от вечерних забот хозяйственных, Родион, зная, что не заснет, накинута тяжелый дорожный охабень и вышел в сад над речным обрывом. Здесь почти не донимали комары и можно было, кинув охабень под яблоню, прилечь (тотчас подбежала, ткнувшись носом в ладонь, любимая борзая) и, прикрывшись полою долгой, широкой оболочкины, думать, глядя, как срываются и, прочертив мгновенный огнистый след, падают спелые звезды, исчезая прежде, чем успеваешь задумать желание.

Река журчала. Невдали глухо ворочалась мельница. Вода была, до осеннего обмолота, спущена, и работала только одна крупорушка, равномерно ударявшая пестом в высокую долбленую колоду, полную проса.

Он все-таки уснул, задремав, потому что среди ночи проснулся вдруг, словно ударили, и несколько мгновений думал: что такое, и в чем дело, и почему он тут? И тотчас припомнил все, и облился опять жарким стыдом, и без мысли, недвижно, расширенными глазами вперился в ночную, затянутую речным туманом темноту. Там, за рекою, скрипели-перекликались коростели; прямо над ним тянула свое «т्योंть, т्योंть, т्योंть» зорянка; в отдалении прокричала выпь. Ночь вся жила тайною жизнью зверей, птиц, насекомых; что-то шуршало в траве, ползло, потрескивало, чьи-то усики щекотали кожу. Жизнь не кончалась, как порешил он когда-то. Она не кончалась никогда. И то, что предложил ему князь, было не нелепостью, не хитрым расчетом государских дел, нет! Это было его спасением. Единственным, возможным еще спасением за всю прошедшую четверть века, за все то грозное и горькое отчуждение, в котором он жил, словно в оцепенении, и уже привык и не сопротивлялся этому, не чая уже себе ни другой жизни, ни другого конца...

Он поедет в Тверь. Он, убийца Акинфа, вымолит у его дочери прощение себе. Вески, что станут теперь приданым Клавдии Акинфичны, – как малы они! Как мало значат перед тем, что ему теперь, на старости лет, обещали подарить жизнь! «Да пускай Акинфичи забирают Вески себе!» – мельком, как о ненужном совсем и далеком, подумал Родион. Подумалось – и ушло. Над ним было теплое, близкое небо, затканное золотыми россыпями звезд сквозь темные ветви и вырезную листву яблони. Он смотрел – и не мог насмотреться, дышал – и не мог надышаться и, кажется, плакал, сам не замечая того. К нему пришло спасение! Что бы ни затеивал вокруг этого брака князь Иван, чего бы ни хотели Акинфичи, все равно! То, что получит он, неизмеримо, безмерно больше! Если – «да». Если она захочет. Теперь он вдруг и сразу страшно испугался возможного отказа Акинфичны...

Странно, что во всю ночь ни разу не подумал он: как выглядит его будущая невеста? Когда-то он видал ее еще молодой вдовою. Видал – и не заметил, не разглядел толком. Была невысока, стройна. Сейчас, верно, и огрузнела, и постарела... «Не надо! Не думай!» – прокричал внутри остерегающий голос, и он легко, без сопротивления, послушал его. И тогда вновь приблизились к нему небо, и ветви яблони, и беззвучные мерцающие разговоры золотых звезд.

Было спасение. Жизнь можно было, перечеркнувши, повторить опять, переписав, как грамоту, на новую харатью!

Теперь на него стал наваливать сон. Он еще сколько-то боролся с ним, плыл, как на волнах подымающегося перед зарею речного тумана, но вдруг уснул и улыбался во сне.

А небо бледнело, зеленело, одна за другой гасли звезды, как свечи, зажженные Господней рукой. Гасли звуки, только журчала река да глухо стучала крупорушка в отдалении. Все заволочло туманом. Приближался рассвет.

## Глава 9

После того как схлынула Туралыкова рать, волоча рабов, скот и добро, оставляя дымы пожарищ да пепел вместо деревень, уцелевших охватило отчаянье. Сама великая княгиня Анна жила в велицей скудости, а уж им, жонкам боярским, пришло и поболее того. Клавдия сама и воду носила из Тверцы по первости. Покуль не приехал брат, не помог кое-как огоревать первую клеть на пожаре. А до той поры ой и досталось! Жили в земляной норе, в грязи, во впах; госпожа и слуги – все в одном жилье. По стыдному делу какому – хоть отвертывайся! Ни хлеба, ни дров... Брат Иван привез какого ни есть добра, пригнал корову первую. Клавдия как села доить, так и заплакала той поры... Великая боярыня тверская!

И все-таки Тверь восставала из пепла. Потихоньку строились купцы; возвращались, не разом и не вдруг, уцелевшие жители. Оживали деревни, и оттуда, из лесных глухоманей, вновь повезли скору и лен, зерно и убоину. Великая княгиня Анна всем подавала пример. Сама жила как холопки, а являлась на люди всегда прибранная, прямая, в строгой и чистой сряде; и, бояли, даже стирала сама, по ночам. С первых же ден устроила странноприимный дом, призревала убогих, раненых, увечных и обмороженных, детей, потерявших родню, жонков, оставших без мужа и крова. Сама ходила за болящими, перевязывала гнойные раны, не морщась от страшного запаха, и подвигом своим, иноческим терпением, а паче того – гордым достоинством, тем, как не роняла себя ни в обличье, ни в повадке княжой, – подняла, вытянула и град, и княжество, почитай. Клавдия и сама снесла все это только глядя на великую княгиню Анну. Стыд было перед госпожою себя потерять.

Едва оправились – мужиков снова погнали в поход: имать князя Александра Михалыча. Пока те топтали снег до Великого Нова Города и назад, уже по ростепели, по мокрым путям (обезножели и кони и люди!), здесь опять, без мужской силы, едва не надселись оставшие без помощи жонки и старики. Не чаяли дожить, пережить морозы, выюги и стужу.

И вот пришла весна, и воротившие до дому ратники взялись за сохи и бороны, и стало можно вздохнуть, хоть дух перевести от непосильных трудов и скорбей. Клавдия отъедалась, отходила; холопы ладили новый терем; уже бойко торговали по вымолам и на посадке купцы; строилась Тверь – и жизнь возвращалась в берега свои. Отвели сев, свалили покос, и стало вовсе легче дышать. Как всегда опосле трудов безмерных, когда отдыхают и тело и душа, мгновеньями чуялась радость беспричинная: идешь по двору – и радостно вдруг. Ни с чего! Птицы поют, начинают зеленеть обгоревшие, простоявшие год черными остовами дерева, куры роют горелый сор, что-то ищут, и – радостно. И хоть в легкий волжский ветер все вплетает и вплетает горько-кислым духом старого пожара, а все одно радостно, молодо словно. И жонки те, с коими сидела в земляной яме, так приветно, так улыбочиво встречают: беда связала паче господарства самого!

В те-то поры и приехал в очередную Иван с необычайным сватовством московским. Мялся сперва, а как сказал... Нет, даже и не поверила спервоначалу, думала – шуткует. Да нет!

– Ты в себе ли, Иван? – спросила сурово. По первости и баять не стала, ушла. И ругать не стала – не ведает сам, что и говорит! Родион! Да лучше в воду, в омут головой. В монашки ли... Тьфу и тьфу!

Видала его как-то. Седые усы бросились в очи, и глаза недобрые, холодные глаза. И сам сухой, высокой...

А вечером Иван вновь приступил к ней с речами. Поняла уже, что не спяну, не с проста ума несет, что просто так ей того не отпихнуть, не отринуть. Ночь не спала, ворочала так и эдак. Того горше, того обидней показалось, когда сознался ей, что уже баял с Федором и с Александром, двоюродником... «Меня преже того мог бы прошать! Аспид, одно ему слово!» И вспомнилось лицо брата: растерянное, словно прибитое. Да и сам ли надумал-то? Поди, без москowlян и тут не обошлось!

Знала о делах брата досыти, потому и спросила, когда из утра пришел, не жалеючи, в лоб:

– Мною Вески купляешь?

Сказала горько, с неожиданной хрипотцой, задышалась (с годами располнела, ожерелок стал заметный). Как корову продают! Братья родные! И кому? Самому Родиону! Может, и надо было ей в одночасье за другого кого пойти... А уж теперь... Да и за кого? В те поры сказали б такое – зарезалась, не вздохнув. А теперь лежит вот, думает. Отгорело, поутихло старопрежно-то! Что тут! Много летов минуло, ой много! И жисть уже на ту половину перешла. В монастырь уйти? И самое статочное дело! Себя не уронить. Хотела тут и вымолвить о монастыре, не сумела сразу надумать – какой? А мысли потекли по другой стезе. Одна. Дочь умерла в мор. И внучат нету. Она еще в теле, в силе родить. И себя блюла, не как иные жонки...

Што ему Вески?! Хочет досягнуть своего. Настырный! Не мытьем, так катаньем... А я? А как бы батюшко, покойник, содеял?

Нет, нельзя в монастырь! Просящие, словно бы и виноватые, и жадные глаза Ивана напомнились... Вздохнула, потрогала грудь. Все еще упругую, не в стыд мужику казать (уж не сама ли продавать себя надумала?). Усмехнулась зло, хмуро. И вспомнились седые усы Родиона... Может, судьба?

Как на бою, взявши город, озверев, насилуют жонок: рвут серьги из ушей с мясом, волокут, задирают подол... И ужас, и жаркий стыд. Так вот, батюшку убив, тут бы, тогда бы... Нагую, на снег, в кровь... Нать бы, верно, зарезалась опосле али удавилась со стыда! А Иван теперича... Звери вы, мужики!

Утром, когда Иван пришел, неотступный, жадный, встретила с глазами, обведенными тенью, побледневшая за ночь. Вдосталь промолчав и выслушав новые речи брата (ох и ненавидела же она его в тот миг!), сказала:

– Ладно, присылай сватов!

И – повело. Начала терять сознание. Все закружило перед очами, едва устояла на ногах.

И дальше все крепилась. Не плакала ночами. Давала себя одевать, охорашивать. Выдержала приезд Родиона самого. Что-то только он сказал ей – не поняла. Кровь так шумела в ушах, что и не слыхала почитай.

И покатилося дело ближе и ближе к свадьбе. А она все не понимала, не верила, поистине-то не верила ничему. И поверила, уже когда огласили в церкви и стали собирать к венцу...

В ту-то ночь и приснился Давыд, молодой, розовый, как словно с мороза вошел, и в инее ресницы и усы. Свежий такой, холодный весь. Сердце упало, и как тающая льдинка за шиворотом, прошло сладким щекотным холодом, и онемели руки и ноги, а он прошал что-то и близко-близко был к ней... Обнять бы, а рук не здынуть! А у него и дыхание как словно холодом веет.

– Ты живой? – спросила.

– А ты? – спросил и усмехается, и вот сейчас уйдет, растает ли, а рук не поднять! И в теле во всем такая истома молодая, давняя, так просит: обними, согрей! А после и поняла – она-то уж не та, не прежняя, и заплакала, а он смотрит и смеется, и смеется, и весь в инее, уже и белым-бело все вокруг – не то снег, не то вишенья, не то яблоневый белый цвет!

Так вот и проснулась – в слезах. А девки пришли одевать, казать сряду. Немо дала себя умыть, одеть и, уже оставшись одна (попросила сенных девушек выйти на мал час), поняла: не сможет! Ничего не сможет! И пусть будет проклят брат Иван и все его дела прехитрые с Москвою и московским князем! И пушай, коли хочет так, нагую, за косы, выводит ее на позор! А сама – нет!

Клавдия, обеспамятев, срывала с себя одежды, швыряя и шваркая тяжелые переливчатые атласы, бархаты, парчу и шелка. И когда брат Иван, тихонько тронув рукоять дверей, пролез было в покой, склонив голову под притолокой, сказать, что пора, то, едва возвел очеса, его какшибануло ослопом: сестра стояла нагая, в одном янтарном ожерелье и повойнике, нагая и тяжкая, широкая, с опущенными тугими грудями, со сведенными в гнев татарским излучьем бровями, и смотрела ненавистно и властно, словно даже гордясь стыдною своей наготой. У Ивана мягко ослабили ноги, и он привалился к притолоке, не разумея, что сказать, содеять...

– Ну что ж! – звонко крикнула сестра. – Бери, вона! За косы бери! Выводи! Ну! Убийце мово... батюшкову... Ну! – И рванула повойник, рассыпав змеями посыпавшиеся косы. – Ну, чего робел?! Веди!

Иван тут только, когда сестра, белая и гневная, грудями вперед, темнея каштанового отлива шерстью под мышками и в межножье, пошла на него, опомнился, вывалился наружу, с треском захлопнул за собою тяжкую дверь покоя, за которой глухо взмыл крик и рыданья Клавдии, и, слепо, тупо глянув на подбежавших служанок, вымолвил:



– Воды! С госпожой плохо... тамо... – И, махнув рукой, не оборачиваясь, пошел вон.

Надо было сказать Родиону, гостям. Отказать... Повиниться али соврать чего. Иван, однако, понимал, что ничего не может, только так вот сидеть и ждать неизвестно чего. Его позвали. Он вышел, низил глаза, улыбался. Сестра задерживалась уже до неприличия, уже и Родион начал хмуреть и каменеть ликом, и гости перешептывались, отирая платами лица. В набитом покое было, хоть и при отворенных оконцах, не продохнуть. А Иван все не мог сказать – отказать ли – и все ждал, чтобы эта стыдная безлепица как-то совершилась без него и помимо него.

И тут, уже когда он, прикрыв глаза, гадал, скоро ли негромкий ропот гостей перейдет в открытую брань, послышалось:

– Ведут!

Ну! Иван замер, не хотя глядеть. Почудилось, что Клавдия так и выйдет к гостям нагая, и тогда... тогда... «Свечи тушить скорей!» – нелепо и тупо подумал он. Но ропот стих. Поднялся снова... Иван поглядел опасливо.

Клавдия стояла, опираясь на двух вывожальниц, с огромными, как темные озера, глазами, бледная до синевы, ни в губах крови, в голубом атласном саяне и жаркой россыпи серебра, жемчугов и янтарей на груди, в ушах и надо лбом. Стояла и была красива так, что и сам Иван замер и побледнел, и Родион дрогнул усом, чуть растерянно склонясь в поклоне перед своею будущей женой.

«Упадет!» – подумал опять Иван, покрываясь то холодом, то потом. Но Клавдия не упала. Склонила медленно голову, прекрасная и почти неживая, проплыла по покою, приняла поднос с чарками и подала Родиону. И он взял, и вот теперь бы ей уронить поднос, но вывожальницы подхватили (за тем и следили!), бережно приняли из ослабевших невестиных рук.

И еще хватило сил у нее так же медленно, царственно, выйти из покоя. А дальше уже не помнила, довели, донесли ли, и долго оттирали уксусом виски, приводя в чувство, там, у себя, в задних горницах.

И только уже осталось пережить все: и пиры, и венчанье, и поезд – и после крикнуть тому, седуусому, в лицо: «Ну, что ж ты! Бери!», чтобы как гулящую бабу последнюю, как суку... И чтобы выть потом, стиснув зубы, или грызть руки себе, или... Да что там! Может, и ничего. Только молчаливые теплые слезы потом, как весенний дождь. Может, и ничего... Может, и всяко! Да уж не увидит никто и не зазрит никто...

А только после родится у нее сын, и будет назван Иваном, белый и пухленький, прозванный потому смолоду Квашонкой, и станет он боярин княжой, Иван Родионович Квашня, родоначальник большого боярского рода, и проживет, и наживет детей, и, уже когда отойдут в лучший мир его мать с отцом, а Иван Акинфич уже давно откупит у Родиона свою переяславскую вотчину, и тоже умрет, и много-много чего еще произойдет и свершится на Руси, – прославит он имя свое во главе Коломенского полка, на поле Куликовом, на реке Непрядве, у Дона, в тяжелом бою с Ордой.

## Глава 10

От тяжких ударов металла по камню закладывало уши. Едкая белая пыль покрывала тесовые мостовины, ограды, бревенчатые стены теремов, даже шатры и кровли городень. В белой пыли, как покойники, выныривали лошади; скалясь, напружив переплетенные мышцами ноги, круто сгибая могучие шеи, тянули скрипучие, оседающие в осях волокуши с глыбами белого камня. Люди в лаптях и рванье, в домодельном сукне и посконине, в поршнях и кожаных передниках, подвязав, по обычаю мастеров, волосы кручеными гайтанами, в жаре, в грязи и в поту, в шуме и крике, равно посеребренные белой каменной пылью, тьмочисленно шевелились повсюду: и под стенами, и на стенах, и вокруг возов, и у высоких костров сложенного каме-

ния, и там, где резкими всплесками, яро и часто, взлетала земля из-под лопат, – еще сводили церкву Ивана Лествичника, и уже начинали другую, во имя святого Петра, его честных вериг. Великий князь торопил. Обе церкви велено было скласть и свершить до осени.

Федор Бяконт, морщась и задыхаясь – годы уже круто брали свое, – перелезал через кучи бревен, загородивших дорогу; кряхтя, опираясь на плечи слуг, приостанавливался, дабы отереть пот со лба: с безоблачного неба на Кремник щедро лилось расплавленное золото древнего Ярилы, солнцегода далеких языческих предков.

– Круто забрал Иван Данилыч, круто! – проговорил, отдуваясь, Бяконт, пряча мокрый, весь в каменной пыли, красный плат, и уже намерился двигаться далее, как узрел в стороне одинокого, в простом платье, густоволосого и тоже усеребренного пылью и недвижно стоящего горожанина. Вгляделся, узнал – ахнул. Подплыл, разведя руки поврозь. (К старости стал тучнеть неподобно и ходил уже вразвалку, колеблясь всем рыхлым телом.) Стащил суконную шапку с седой головы:

– День добрый, княже!

Калита дернулся, глянул нетерпеливо, прихмуря было чело, – узнав Бяконта, омягчел ликом, кивнул старику, спросил, приподымая голос (так оглушительно звенело и стонало под молотами каменосечцев, что впору было кричать на ухо друг другу):

– Успеют ли к Ильину своды свести?!

– Должны поспеть, князь-батюшка! – прокричал в ответ, с отдышкой, Бяконт. – Народу ить что черна ворона! – И, решась (слуги замерли в отдалении, тоже признав великого князя), попенял: – Неподобно одному-то, княже, без догляду!

Иван остро обозрел старика, отмолвил, помедлив, с легким недовольством:

– Чать, у себя. Во своем городе. Дома!

Бяконт понял, что князь зело нерадошен и заботен излиха. Чем? Мастера трудились на совесть, грех было бы на что и пенять... Прощать? Дак надобно безо спросу понимать-то! Подумал, прикинул то и это, почти уже догадывая, щурясь от пыли, примолвил:

– Феогност-то! Не видит! Его бы заботою...

И – угадал. Князь глянул ярым зраком. Отрывисто рек:

– На Волыни! В Галиче, в Жараве ле!

– Не ладит в наше Залесье? – уже уверенней спросил Бяконт, понявши заботу княжескую. Калита промолчал, кивнул.

– На тот год Спасову церкву класти и монастырь переводить в Кремник? – сказал-спросил боярин. – Натъ бы быти митрополиту при сем!

– Не приедет – за благословением пошлю! – отмолвил Иван так же отрывисто.

– И к делу, батюшка! – покивал Бяконт. Подумал. Переждав нарочитый грохот и стоны окальваемого камня, подсказал: – А и ждать неча! На зиму Феогност, слышно, в Киев ладит, дак по осени и послать, как подстынут пути!

Калита посмотрел на этот раз в лицо Бяконту внимательно, и странная для великого князя беззащитность проглянула на миг в его взоре. Только на миг, но и того хватило Бяконт. Давним умудренным смыслом своим постиг он тотчас тайный страх своего князя и отмолвил мысленно, скорее даже себе самому, чем Калите: «Что ж! Конешно, не ровня наши храмы византийским, что и говорить! Да и володимирским тоже! Дак – время-то тяжело! Сколь на ордынского хана да на силу ратную серебра уходит, страсть! Должен Феогност нас с тобою понять, княже! Вину пору и малое – великое есть, коли с верою да с прилежанием любовным!»

– Ко мне ле? – спохватился Иван.

– К тебе, батюшка-князь, – отмолвил Бяконт, вновь наклоняя голову.

Иван бегло глянул на Бяконтовых холопов и поворотил к теремам. Старик поспешил следом, колыхаясь и придыхая. Слуги не смели при князе взять господина под руки. Иван,

обогнавши было боярина, придержал шаг. Уважал старика. Да и надобен был Бяконт, зело надобен! Прежде самого князя сообразил дело-то!

Взошли в сени. Слуги бросились стремглав отряхивать метелками из тетеревиного пера платья, подносить воду в рукомоях, белые тонкие полотенца. Иван скинул верхний, посконный, зипун, ему подали домашний, шелковый. Прошли в верхний горничный покой. Здесь стонущие удары по камню звучали глуше, можно было говорить, почти не повышая голоса. Слуги внесли медовый квас, закуски, блюдо свежей земляники. Иван дождался, когда уйдет последний, подвинул блюдо боярину, сам рассеянно стал брать по ягоде и класть в рот.

– Кого пошлем?

– Тако дело думой решать надобно! – возразил Бяконт.

Иван кивнул нетерпеливо:

– Колготы б не было! Босоволковы, отец с сыном, чести себе потребуют!

Бяконт прищурился. Великий князь слегка недолюбливал Босоволковых, хоть и сила у них была большая.

– Алексей-от Петров молод ищю! – раздумчиво протянул он. – Филиппа? Василья Окатьева ежели?

– Твоего сына хочу послать! – строго перебил Иван.

– Феофану, княже, то честь великая! – отмолвил Бяконт, не сумев скрыть удовольствия в голосе. – Одначе и он молод, зазреть могут! Надо бы старшего кого ни то из маститых, из думцев, из нас, стариков...

– Протасия не пошлешь! – возразил князь. – А Василий Протасьич, опять же, молод службою! И Сорокоум занедужил... Разве уж самого Окатия?

Но Бяконт покрутил головой:

– Михайлу Терентьича достоин, княже! Ему уж много за полста лет перевалило, и роду высокого. Не зазрят! А уж мой-то Феофан пуцай под началом у его походит! И та честь не мала: к митрополиту посыл!

Иван подумал, положил еще ягоду в рот, раздавил языком. Рот наполнился тонким и терпким лесным ароматом. Умен Бяконт! Покойный Терентий Мишинич служил по Переяславлю, у родителя-батюшки был в чести, а тут, на Москве, ни вражды, ни зависти ни в ком не поимел. По покойнику и сына уважают. И дело не ратное, посольское дело. И посольство-то особое, к митрополиту русскому, не в ину землю... Ни Протасий, ни Окатий, ни Родион Несторыч не зазрят... Умно решил Федор Бяконт! Умней не решишь! Сказал вслух:

– Быть посему! Ты, Федор, переже думы перемолви с боярами!

– Меня не учить, князь-батюшка! – возразил Бяконт. – Протасию сам скажешь, поди?

Иван опять кивнул молча. К старику тысяцкому следовало сходить самому.

Все же было горько: столько серебра, и сил, и труды великие, а Феогност и глаз не кажет! Сидит себе в Жарава... С Литвой, с Гедимином ся ликует. А ежели и останет тамо?! Что делать тогда, он не знал. Не мог ничего решить зараньше. И, вздохнув, уже отпуская Бяконта, обсудив с ним попутно и те дела, из коих старый боярин шел в терема княжеские, помыслил, попенял было Господу, что явно не спешил помочь своему рабу в непростых его княжеских трудах. Но, попеняв, тут же и укорил себя за дерзкий ропот противу вышней воли, понять которую смертному не дано никак. Быть может, и это ему, Ивану, крест и испытание за гордыню? Не волен смертный, даже и он, князь, указывать Всевышнему в путях его и помыслах горних! И токмо одно надлежит каждому: нести свой крест, не ослабевая в трудах.

– Не ослабевая в трудах! – сказал Иван вслух, себе самому, и повторил глуше: – Не ослабевая в трудах...

Митрополит русский должен быть здесь, на Москве, а никак не на Волыни и не в Литве Гедиминовой. И сего должен он добиваться, не ослабевая в трудах! Тяжкие, стонущие удары по камню отвечали ему.

## Глава 11

Мишук срыжался в Киев. Катюха бегала зареванная. Дети прыгали и визжали на разные голоса. Тетка Просинья тоже добавляла шуму. Словом, в доме стоял дым коромыслом. Да и прямой был дым: печь чегой-то не налажалась – то ли дровы не подсохли вдосталь – кудрявый чад клубами ходил по хоромину.

Морщась, Мишук крутил башкой, поминая нелегким словом продавца избы и, с запоздалою завистью, дядину хоромину на Подоле, что продал когда-то большому боярину Окатию. Се лето с сенами не управили в срок, пото не поспел и печь переложить, а нать было, ох и нать было скласть печь погоднее!

Он недавно воротил домой, праздничный. Повестил было о великой чести, выпавшей ему: шутка ли, старшим поставили над обозом! И вот незадача! Катюха с первых же слов разревелась:

– Одну оставлять!

Мишук, отстегивая саблю и переболокаясь, остоялся даже:

– Кого ты реवेशь-то?! Да батя мой по посольскому делу всюю жисть! Пото и в чести был у князей великих! А я все на дворе да на дворе, с конями да в стороже. Скоро и голову сединой обнесет! Так, што ль, из навоза и не вылезти?!

– Да! А куды я с дитям, да на всю зиму! Ни хоромина не готова, ни сенов не навожено! Яков твой токо на печи и сидит! Что с него толку! Да и печь вон...

В говорю встряла было тетка Просинья:

– Поезжай, поезжай! Бабью-то брехню не переслушашь!

– Брехню, да? Брехню, да? Я для тети Прости всю жисть собакой была! Собака и есь! Век за детьми да за скотом, из скотнюхи не вылажу, все с пузом, детей полон дом, а в церкву выйти не в чем! Знала бы, за кого шла...

Просинья, конечно, в долгу не осталась, начала припоминать все Катериныны протори и промашки: и портны белит не так, и квашню путем не замесит, и дитю летось не сберегла, и мужик у ей не обихожен...

От ору бабьего изба готова треснуть. Мишук, хлопнув дверью так, что едва ободверины не вылетели из гнезд, выбежал во двор, к коню. В сердцах не знал, за что и взяться. Катюха вылезла зареванная, пришла в хлев. Мишук не глядел, слышал лишь, как шмыгает носом. Подошла сзади, охватила полными руками, вжалась. Мишук еще поежился, но уже и оттаивал – жалко стало жонку, огладил большой рукой. Катя подлезла к нему под мышку, все еще хлюпая носом, стала ластиться; сперва пожалилась на тетку, что век не дает ей жить, потом почуяла, видно, что этим Мишука не проймешь (сама уж залезла к нему и под зипун, совсем оттянула от дела: пригрей да приласкай! Распалила не ко времени...), и вдруг вовсе незаботным, а любопытным голоском:

– Скажи, как створилось-то? Почто и выбрали тебя? А каково тамо, в Киеви? Жонки красивые, бают! Хучь гостинца-то не забудь, привези!

И всегда так: накричит, накудесит и – словно и не она – хохочет опять да дивует, словно девка... Не соскучишь с нею!

Скоро сынишка забежал (верно, тетка Просья послала), потом дочурка засунула нос:

– Я первая, я! Я тятю нашла!

Всё как пошлют которого за чем, дак оба и бегут, пихаются – кто первый...

Под вечер Катя носила воду с Неглинки – в колодце, что на усадьбе, вода была ржавая, только скотину поить, – а Просинья, малость отошедшая от ругани, хоть и все еще сердито, выговаривала, без меры дергая кудель на прялице:

– Поезди, поезди! Воспомнили батьку-то, Федора! Таку честь оказали! К митрополиту самому! Ты ето понимай: по отцу почет! Жону-то не слухай боле! Пока жива – пригляжу! Уж чего, каково сорому стыдного тут не допущу!

– Катя и сама... – не совсем уверенно возразил было Мишук.

– Сама-то сама, а привяжетце какой настырный али на страх возьмет... Дак и себя-то вспомни: али чужих жонок не трогал?!

– Был грех...

– То-то, грех! Езжай, не сумуй. Пригляжу!

Да и что сказать? И права и не права Просинья! Баба без дела, дак и сблудит, а коли дети, да дом, да вздохнуть некогда, тут не до чужих мужиков! А у Катюхи все ж таки пятеро по лавкам! А что по батьке честь, то тетка правду сказала. И дело створилось так. Большой боярин, Протасий Федорыч, с Михайлой Терентьичем собирали дружину, и оба, в одно, покойного батьку вспомнили. Михайло Терентьич его, как себя, знал, по Переяславлю, ну а старый тысяцкий, спасибо ему, напомнил, что вот, мол, сын еговый у меня. Так, по батьке покойному, и Мишуку выпала честь. Честь не мала, но и труды тоже не маленькие! В ближайшие дни как пошло: коней ковать, возы, сани, сбруя, припас... Кметей всех проверь, каждого в каждой промашке – не вздохнуть было! Уж тут не до печи, не до дома. И ночевал почасту в молодечной, на дворе у тысяцкого.

И в чем еще только самому себе признавался Мишук – оробел он малость. Порядком-таки оробел! Того, отцова, похотенья, чтобы туда и сюда, не было в нем. Коли жизнь шла ровно, то и нравилось. Кажен год – жатва и покос; по осени – бить поросенка; коптить, солить, везти бочку рыбы с торго... Ежеден служба, хозяйские кони, молодшие, коих он разоставлял в сторожу и по работам, да иногда лихая выпивка с холостежью, да иногда перекинуть в зернь, в тавлеи ли с приятелями. А тут, в одночасье, в Киев! Да на всю зиму, до весны! Часом, стойно Катюхе, готов завыть: такая неохота навалит, все бы кинул и на печь залез! Но и не отопрешся уже. Да и отопрешся – сама Катюха заест! Свой талант, судьбу потеряшь, тогда уж до конца коням хвосты чисти, и никаких боле... А детей поднять много еще станет ему труда. Вона парнишке старшему осьмое лето всего! И в Киев, и куда дале поедешь безо спору!

Обоз собирали на совесть. Осматривали каждого коня вместе с боярином. Ну, в конях понимал Мишук. Коней приготовил – лучше не нать. Кормленные кони, выстоялись. Кованы на все четыре копыта. Вычищены, шерсть – что шелк! Любота! Кметей тоже подобрал справных, которые из своих, ну а боярина Михайлы Терентьича – те уж не его забота! Да и тоже мужики толковые, видать по всему. Оружие, припас, иконы – все честь по чести.

С обозом ехал архимандрит Иван, новый. Великий князь где-то добыл его. Слыхать, смыслен-горазд в книгах святых. Сам Мишук порядком-таки подзабыл грамоту, чёл едва по складам. Сынишка – тот не в отца, в деда, верно, уже борзо складывает, дьячок хвалил давеча. Хвалил, конечно, еще и за полть скотинную, ну да ученье не дешево и стоит! Будь Мишук познатнее в книжном-то деле, дак, может, в отцово место и с грамотами запосыливали. А уж как без грамоты, дак одно знатье: сабля да конь!

Обоз отправляли после Покрова, когда уже плотно лег снег. Последнюю ночь Мишук ночевал дома. Дети залезли в постель, сперва Никита, потом Услюм: «Я тоже с батей!» Не успели оглянуться – и Любава тут как тут. Толстенная Сонюшка, сопя, лезла вслед за нею: «И я! и я!» Все облезли, уместились, поталкивая друг друга.

– Батя, а меня возьми в Киев! – запросил Никитка.

– Зайчишка ты! – усмехнулся Мишук, ласково ероша волосы сыну. – Молод ишо!

– Заяц-скакаец! – не вытерпела передразнить Любаша.

– Сама заяц-скакаец!

– Ну-ну! Кто тут кого щиплет? Кого нашлапять? – прикрикнул он на распалившихся малышей. Дети наконец уснули. Бережно переложив Услюма, залезшего меж матерью с отцом,

на край кровати, Мишук повернулся к жене. Катя молча крепко охватила его за шею. Так потом и уснули в обнимку среди посапывающих ребят.

Выезжали в потемнях. Никита встал-таки, влез торопливо в валенки и выбежал за отцом:

– Батя, возьми!

Катя ухватила его за плечи, но сынишка упрямо вывернулся, и Мишук, из жалости, посадил его на воз, прокричав Катюхе:

– До спуска!

У выезда на Неглинную поднял, прижал к бороде:

– Бежи!

Горько заплакав, Никита побежал вверх по улице.

Далее Мишук уже не оглядывался. Скоро, проминовав мельницы и мост, он подымался к воротам Кремника, где уже ждали, грудились у саней повозные, кметы, слуги, младший клир церковный...

Обоз растянулся от нижних ворот чуть не до Яузы. Мишук за хлопотами почти не заметил ни пышных проводов, ни службы, ни блеска одежд духовных лиц и боярской господы на белом снегу. Его забота была: сани, возы, гужи и завертки, упряжь, кметы, холопы, да кто там выехал излиха пьян, кого отmaterить, кого, сраму ради, уложить на воз – оклемается дорогою. И уже поуспокоился малость, обрасывая пот со лба, когда наконец выехали гусем и парами запряженные боярские сани, когда проминовали возы, за которыми топали, на долгих ужищах, запасные кони, когда наконец последние припоздавшие розвальни с ратными скатились с Боровицкой горы и лихо, едва не вывернув седоков, с гоготом и свистом, под веселый звон поддужного гремка, устремились вслед за прочими. Лишь тогда Мишук вздохнул, отер лоб и, поправив шапку, последний раз глянув на Кремник на горе, на буро-серые городни, припорошенные снегом, на острые верха костров городской стены и чуть видные по-за стрельницами главы новых каменных церквей московских, ожег коня плетью и, взяв с места в опор, пошел наметом догонять головные сани.

До Коломны Мишук, в заботах об обозе, не мог путем и куска съесть. И лишь когда уже, отпировав в Коломенском кремнике, тронули Окою к далекому Дебрянску, и уже стал привычен походный быт, люди втянулись, приспособились ездовые, и стало можно вздохнуть, дать себе ослабу, тут лишь увидел он красные оснеженные боры на крутоярах, вознесенные над курчавою порослью орешника, одевшего, словно заиндевлею шубою, высокие берега, небо, сверканье снегов, и почуял разымчивую молодящую радость дальней дороги. Вольно было не думать, временем, о доме; вольно, отдав наказы возчикам и дружине, привалить на сено, чуя, как, слегка кружа голову, виляют и ныряют сани, как весело и в лад ударяют копыта коней, взметывая снежные вихри; весело видеть, как идет крупной рысью, переходя в скок, привязанный к задку кошевки верховой Мишуков конь.

Уже дневали середи пути у костров, а не по избам и не по теремам боярским; ели кашу из котлов, и важные бояре уже не так чинились, как на выезде из Москвы, сидели с дружиною, и впервые Мишуку довелось хлебать из одного котла с самим Михайлой Терентьичем. Боярин – маститый, в пол-седой окладистой бороде – был еще ясен зраком и усмешлив, Мишука оглядел вприщур. Допрежь было речей токмо о деле, а тут вдруг, облизывая деревянную резную, с рыбьим хвостом ложку, спросил:

– Батьку-то добре помнишь?

Мишук отозвался степенно. Боярин вздохнул, поерзал на кошме – сидели на седлах, застланных кошмами, шатров на дневку не разоставляли, – сказал вкусно и уважительно:

– Нравный был муж Федор Михалкич! Помню, помню, как он большого боярина Окотия окоротил на Переяславли! В те поры, как Окинф Великой с ратью под город подошел! Ты в те поры был ле?

– Я с полком Родиона Несторыча, с Протасьевыми, шел, дак батя нам встречу выехал из лесу, с вестью. Без меня ево и спознать не могли...

Последнее Мишук добавил с некоторым смущением: не подумал бы боярин, что хва-стает! Но Михайло Терентьич глядел добродушно. Отнесся к архимандриту:

– Ты, отче, не слыхал о таком Михалкиче, Федоре? Еще до тебя помер...

– Не было ли братца у покойного в нашем звании? – спросил монастырский эконо-м, косясь на боярина.

– Как же! Дядя Грикша! Он еще в затвор ушел у Богоявления, а допрежь того келарем был в Даниловом монастыри...

– Как посхимился дядя, коим именем ся назвал? – спросил архимандрит, внимательно взглянув на Мишука.

– Именем? Дак... – Мишук слегка смешался. – Гавриил, должно... Должно, так!

– Дак и я знаю, – отмолвил архимандрит степенно, – муж смыслен был и строгого жития. Последнее лето, сказывали, болел, а все подвиг свой не пременил на иное и скончал живот достойно.

– Вот вишь, родня-то у тя, Федорыч, знатная! – подхватил боярин. – Что дядя, что батька! Я-то тово брата не знал, а Федора Михалкича знал близко. Батя мой сильно ево любил! Скор-бел, как помер Михалкич! Скорбел! Да и сам уж недолго жил после тово... Да, вот! Раньше, позже, а все мы на Москву потянули! Ты как, вовсе из Переяславля ушел?

– Вовсе. И землю продал, и дом.

– Да-а-а... – протянул боярин. И замолк. Его-то родовая вотчина была под Переяславлем. Задумался. Покивал. – Ну, да... – сказал, словно бы себе самому. – Докуль Иван Данилыч велико княженье содержит, дотоль и Переслав в московской воле стоит!

– А што, – решился прощать Мишук, – могут и отобрать город, ежели?..

– «Ежели» допустить нельзя! – весело возразил боярин, рассмеявшись. – Пото и едем! Все, Федорыч! Отъели, отпили – подымай людей!

Скоро кошмы были свернуты, вытерты и уложены котлы и прочий походный снаряд, и долгий обоз вновь потянул темной змеею по слепающему извику снегов вверх по Оке, мимо Лопасни, на зимние лесные переволоки к Дебрянску и оттоль вниз по Десне мимо Чернигова и Вышгорода в далекий-далекий Киев.

Задал все же задачу Михайла Терентьич Мишуку. Вот как? Выходит, еще и Переяслав могут отобрать у московского князя, коли великого княженья ся лишит? Подумалось так, и стало жалко отцовою и своей родины. Хоть и вырван корень, и порушено все там, и весь он, со всеми своими, перебрался на Москву, а все ж: из земли можно вырвать, из сердца не выдерешь – родина! Ну, даст Бог, Иван Данилыч великого княженья не отдаст никому. Не отдадим и мы, поможем, чем сможем! Хоша и здесь, в пути! Задальше Мишук уже не думал, далеко было. Это уж забота боярская, не его! Свое дело сполнить исправно – то и добро. Как батька покойный баял: честен будь да верен! Сам-то небось вон: великого боярина окоротил! – подумалось об отце с легкою завистью. Сам Мишук таково-то не дерзнул бы и помыслить.

Засыпанная снегами, в темных оснеженных лесах, в белых лентах замерзших рек и ниточ-ках санных дорог, едва прочерченных катышками застывшего навоза, голубая под солнцем, серо-серебряная в сумерках и пугающе холодная темною морозною ночью, под высоким мерца-нием звезд, лежала страна. Белою пылью снегов заносит поля и утонувшие в сугробах деревни, курящие седыми струями дыма, розового на заре. Теряясь в лесах, пересекая поля, от пого-ста к погосту, от города к городу тонкою муравьиной вереницею, исчезающей порою в струях метелей, ползет по стране санный обоз. И крохотные, в отдалении, кони и сани, и еще более крохотные, чуть видные, седоки везут с собою, с поминками, дарами и грамотами великого князя владимирского, тяжкий груз тайных замыслов московского властителя Ивана Данилыча Калиты.

## Глава 12

У Феогноста, начиная с Жаравы, все росло и ширилось глухое раздражение: на увертливого Гедимина (сущего язычника!); на латинских патеров; на всю эту дику Литву, приобщить которую к истинной православной вере едва ли возможен и он, Феогност; на бессилие и разброд среди христиан православных; на полное произвола и безлепицы самоуправство местных володетелей во всем этом краю, неведь кому подчиненном и неведомо кем управляемом. Ему удалось объединить вновь распавшуюся было митрополию токмо потому, что незадолго до его приезда (и к счастью!) скончался литовский православный митрополит Филофей. Но не успели сего митрополита предать земле, как уже оказалось, что имущество церковное – земли, стада и богатства – разграблено, расхищено неведомо кем, а частью присвоено князем Червонной Руси Любартом – Дмитрием Гедиминовичем. (Таковы здесь крещеные литовские князья!)

Феогност твердо намерился составить опись пропавшего церковного имущества и требовать возврата. Однако успех сего был явно сомнителен: слишком высоко сидел властный похититель. Восходет ли злостный язычник, обманно принимавший крещение от латинян, великий князь Гедимин, заставить своего сына воротить добро греческой православной церкви?

Там в Константинополе, откуда его посылали, снабдив твердыми инструкциями: возродить престол митрополитов русских в Киеве и не допускать впредь послаблений ни великому князю владимирскому, ни великим князьям литовским, – там явно не ведали и не понимали, что же здесь происходит на деле! И чем они могли помочь ему теперь в его нелегком подвижничестве, когда новый император, Андроник Третий, как он узнал только что от тайных гонцов, наголову разбит турками при Филокрене и зашатавшийся престол кесарей византийских начинает искать спасения в сближении с католическим Западом?!

Он ехал в Киев, все еще на что-то надеясь. Некогда, еще во граде Константина, он и сам хотел сесть на митрополию именно в Киеве, воротить сему древнему граду значение церковной столицы Руси и разумно править русской церковью, искусно лавируя меж Сциллою и Харибдой славянских земель – меж литовским и владимирским великими князьями, никому явно не отдавая предпочтения, но каждому указуя в делах духовных.

Подрагивая от холода в своем возке – осень уже переломилась на зиму, – Феогност нетерпеливо поглядывал в оконца. Мягкие увалы Карпат в тусклой позолоте буковых лесов, уже припорошенных снегом, отступали, изглаживаясь, и по мере того, как отходили и отступали леса, открывая взору далекий степной оком, преображались жилища смердов: дрань на кровлях сменялась толстыми соломенными накатами, мазаные стены домов будто все более и более вращались в землю, менялись одежды и даже лица встречаемых селян, и сама славянская речь начинала звучать по-иному.

Встречали митрополита то пышно (порою до чрезмерности), то грубо, и всякий раз неясно было: Гедиминовы ли приказы стояли за каждою из этих встреч или сами князья и воеводы здешних городов измышляли кто во что горазд? Изредка попадались татарские разъезды. Жадно оглядывали поезд митрополита, а иные даже и ощупывали платье и добро митрополитских слуг. К счастью, ханский ярлык действовал и тут – грабить явно их остерегались.

Киев, впервые увиденный им, был жалок. Зимний, безлюдный, утонувший в оврагах и в седой оснеженной путанице садов, на три четверти пустой город над текущею во льдистых берегах рекою казался скорее кладбищем, чем живым поселением русичей. Давно, едва ли не со времен Батыевых, не чиненные соборы – София, Михайловский Златоверхий да обрушенная громада Десятинной церкви – стояли одинокими памятниками былой славы Золотой Руси. Треснувшие своды Золотых ворот, валы с сожженными и не восстановленными городнями да мазанки, мазанки, мазанки среди огородов, оврагов и садов – вот и весь некогда гордый Киев, столица обширной страны Руссии – древней Скифии!



Жидкая толпа встречающих, собранных наспех селян и граждан, да немногочисленный клир иереев и мнихов лавры Печерской тоже не прибавили радости новому митрополиту. Вечером, в плохо истопленных, бедных и низких хоробах, явно приготовленных наспех и зело давно не выдавших значительных гостей, укрытый крестьянскою периною, Феогност с горечью почувствовал, что прежние митрополиты, перебравшиеся из Киева во Владимир на Клязьме, были, возможно, не так уж и не правы.

И все же ехать в Москву, согласиться на настойчивые намеки владимирского князя Ивана он не мог. Что-то отвращало его от этого – с тихим голосом и какою-то кошачьей повадкою – русича. Нет, не потому он тогда согласился наложить отлучение на псковичей, что его склонили уговоры (скорее – мольбы!) московского князя, не собирався он мирволить москвитам, вовсе нет! Он сделал это ради единства церковного и нужного единоначалия в стране. Веление ордынского кесаря должно было исполнить хотя бы ради спокойствия Константинополя и православной церкви. Как-никак ярлык на охрану церковных имуществ по Руси и свободу чина церковного от податей выдается в Сарае ханами Золотой Орды. Прочее – все эти споры и ссоры тверских князей с московскими, московских с литовскими и смоленскими, Новгорода с владимирскими князьями, – все это его, Феогноста, не должно касаться вовсе. Его задача – дела церкви, церкви и только церкви! Царство Божие не от мира сего! Хотя, с горем и печалью, следовало признать, что и власть митрополитов, и само земное бытие церкви ох как зависят от мирских властей и сильных мира! Во всяком случае, ныне, в Киеве, без доходов и богатств церковных, похищенных князем Любартом, ему, Феогносту, приходилось очень нелегко!

За малое число недель пребывания в Киеве Феогносту многое удалось содейать. Нашлись и смысленные мужи среди мнихов лавры Печерской, нашлись и разумные иереи. Он деятельно исправлял чин служебный (дошло до того, что в иных местах крестили обливанием, а не погружением, сокращали литургию, как кто заблагорассудит, и прочая, и прочая), пресекал лживые учения, проникшие сюда из Болгарии, – богумильскую и павликианскую ереси, приводил к порядку князей и больших бояр. И все же с горем видел, что в Киеве ему не усидеть. Слишком разорен и слишком беззащитен был сей край, коему ныне вновь угрожали война и раззор, понеже Гедимин был зело не мирен с Ордою. Сверх того, потребного всякому государству порядка здесь не было и в помине. Воспитанник строгой греческой иерархии, Феогност не иначе мыслил себе правление, чем в формах сложной, ступенчато восходящей ввысь лестницы званий и чинов. Синклит (на Руси это называется «думные бояре») должен управлять делами гражданскими, стратилатские чины (воеводы) – защищать («боронить», по-ихнему) границы, подчиняясь главе государства, народ должен любить своего государя, для чего потребны строгое соблюдение законов и разумные, отнюдь не чрезмерные налоги. Чин церковный, важнейший прочих, обязан мыслить о Боге и вести весь народ по путям спасения, предначертанным горним учителем, Иисусом Христом, наставляя, егда возникнет нужда, и воевод, и бояр, и даже самого князя. Здесь же царили полный произвол и безначалие. Литовский князь раздавал города и земли как подарки, в полное владение, и каждый получивший удел местный князек мнил себя уже богом земным, самоуправно не токмо взимая подати, но и вмешиваясь по часту в дела святительские. А церковные громы Феогноста мало воздействовали на здешних князей земных, да и кого можно было испугать отлучением от церкви в краю, где всякий, отторгнутый православною властью, тотчас попадал в распростертые объятия латинян!

Из Киева следовало переезжать. И все же не во Владимир-Залесский и тем паче не в Москву, не под руку князя Ивана, нелюбовь к коему при слухах о церковном строительстве Калиты на Москве только усилилась в Феогносте. Так жалок и так ясен был сей обман, таким убогим было это возведение явно невзрачных и неискусных построек ради единой, совершенно случайно брошенной им, Феогностом, фразы. Что бы сказал сей москвит, побывав даже и в нынешнем, зело оскудевшем после латинского господства Царьграде?! (Так русичи зовут град Константина.) Что бы сказал он, увидав одну лишь Софию, с ее божественно плывущим в аере

куполом? И ведь скуп, а тратит серебро на строительство, совсем ему ненужное, надеясь возвысить свой малый град над прочими. Смешно и скорбно сие! Заложить ничтожную церковь в день Константина и Елены и тем сравнить себя с великим основателем Второго Рима? Да разве возможен там, среди лесных пустынь и полудикого народа, новый Константинополь, Третий Рим, хотя бы и в грядущих веках! Прейдет, подобная вращению колеса, смена лет и правителей, и новый великий князь владимирский отринет или порушит эти убогие храмы, да и сам град московский сотрет с лика земли и утвердит стол где-нибудь во Владимире, Твери, Суздале... до нового поворота колеса, до нового предела этих земель и княжеств, зане неспособных создать единую империю, подобную римской и даже греческой, как бы низко ни пала она сейчас при слабых и неспособных императорах...

Послы великого князя владимирского добрались до Киева уже в канун Крещения. Рождественские морозы укрепили пути, Днепр выше Киева встал, и санный поезд москвитов благополучно перебрался на правый берег. За два дня пути к митрополиту был послан скорый гонец.

Феогносту сообщили о московском посольстве ввечеру. Он только что разоблачился, порядком утомленный минувшим днем. Проповедь, литургия, долгий обряд рукоположения новых священников; сверх того пришлось венчать сына великого киевского боярина, пожелавшего непременно венчаться у самого митрополита русского... Было от чего и устать! Поэтому от известия о послах князя Ивана он почти было отмахнулся. Приедут и приедут! Какая-то новая затея владимирского князя, столь же наивная, видимо, как и его бурное строительство на Москве. Перед сном, однако, обмыслив известие до конца, Феогност задумался сугубо. Князь Иван посылал за благословеньем на свое очередное строительство, обходясь без всякого благословения до сих пор? А Гедимин той порою подводит ратную силу к границам Великого Новгорода и Пскова, явно намереваясь принудить к покорности и подчинить себе эти богатейшие русские грады? С кем же он, русский митрополит Феогност? Да, да! С кем же он?! Хотя так, прямо, его еще не прошали ни литовский, ни московский князья. Но вот уже близит и время вопроса! Рокового вопроса! И решить его надобно теперь, до приезда послов московских!

Феогност поворочался, уминая постель, натянул повыше перину. Подумав, приподнялся, сам, не вызывая служки, задул свечу в высоком свечнике у постели. Горница утонула в полумраке. Только жарко, подобно рдеющим угольям догоревшего костра, продолжали сверкать в лампадном огне золото, серебро и драгоценные камни походной митрополичьей божницы да чуть видные строгие очи икон греческого письма требовательно и властно глядели на него из тьмы, сейчас, как никогда, напоминая окна, отверстые в тот, иной, потусторонний мир, где несть снисхождения лукавствующим и суд Господень праведен и суров.

Теперь, когда явно приблизился закат Ромейской империи (Феогност никогда, ни с кем не говорил об этом вслух, но про себя знал, что не обманывается и конец близок), латиняне или турки одолеют империю – все равно! И те и другие будут всеми способами уничтожать греческую церковь. Некогда императоры вооруженной рукою усмиряли не в меру дерзких православных соседей: ту же Болгарию, Сербию или Грузию... Теперь должно, наоборот, искать сильного соседа, кто поднял бы затухающую звезду Византии и силою земной власти, вооруженной рукою дружин, утвердил вновь сияние веры православной, пусть и в иных землях, далеких от столицы Ромейской державы!

У Литвы, как бы то ни было, есть силы спорить с Ордою, а у владимирского князя – нет. И ныне, после того как в Орде одолели мусульмане (и те же мусульмане грозно нависли над Константинополем, уже почти отобрав Анатолию!), ныне связать судьбу православной церкви с Залесьем – не значит ли заранее подчинить русскую православную церковь исламу?! Феогност даже приподнялся в постели, впервые столь стройно осознав и сложив эту мысль у себя в голове. Так что же, значит, надо помогать Литве? А католики? Но что лучше: спорить с силою или, явно не споря, подчинять постепенно эту силу духовному обаянию высокой культуры и

тем обрести в конце концов новую почву для освященного православия, грозно стесняемого ныне и с Запада, и с Востока?

Он должен остаться здесь! Пусть не в Киеве, но хоть на Волыни! Он должен положить преграду католикам и ежели не самого Гедимина, то детей его обратить в православие! И тогда, быть может, столичный град Литвы – Руси возникнет опять именно здесь, на здешних плодородных землях и удобных путях: на Волыни ли, в Галичине или даже (он допустил и такое) в этом, неудобном днесь для обитания, Киеве!

Князь Иван мог бы и не присылать своего посольства. Он, митрополит, никогда не поедет на Москву. Феогност откинулся на алые тафтяные подушки, казавшиеся во мраке почти черными. Смежил глаза. Решение его неизменно. Он едет на Волынь и начнет оттоле обращать в православие Литву.

## Глава 13

А утром явились московские послы. Ржали лошади, гомонили ездовые, краснорожие дюжие молодцы носили кули, бочонки и тюки с разнообразною лопотью, скорой и обилием. Пронесли устрашающе долгих вяленых осетров, бочки сельдей и нежной лососяны, копченые окорока и ушаты с топленным маслом. Долгогривые мохнатые кони – дар великого князя митрополиту – выстроились перед крыльцом, храпели, натягивая узорные, украшенные серебряными прорезными пластинами, повода. Счетом вытаскивали из саней кули с рожью, пшеницей и гречей. Бояре кланялись, подносили грамоты с исчислением добра. Обилие (рожь, ячмень, гречу и пшеницу), оказывается, везли столь долгие версты лишь потому, что это были первые поступления, «осенний корм», с новых митрополичьих волостей, устроенных и переданных московским князем Феогносту. Впредь, поясняли бояре, митрополит волен за обилие получать серебром или как ему любо, поскольку путь зело не близок и везти хлеб оттоле сюда митрополиту станет накладно.

Прибыл киевский князь с боярами, затеивался пир. Феогност чувствовал, что его словно засасывает и уже крутит, как щепку, тем паче что ни явно, ни прикровенно на Москву его никто не звал, а посему некому и не на что было сурово оттолкнуть, как он собирался о днесь, не на что было возразить, незачем отрекаться от даров: от сукон, паволок, тонкого полотна, связок бобров, соболей и лисиц, серебряного ковша с бирюзой и серебряной же дарохранительницы, отделанной чернью и жемчугом.

От московитов говорил маститый боярин, осанистый, в пол-седой бороде, по имени Михайло Терентьич, и говорил хорошо, себя не роняя, просто и умно. После него говорил молодой боярин, Феофан. Этот рек с украсами, приводя слова от писаний святых отец, и даже щегольнул греческим языком, хоть и с варварским произношением. Почему-то именно это варварское старательное произнесение слов родного ему языка неожиданно умилило и растрогало Феогноста.

С архимандритом Иоанном он имел ввечеру, после пиршества, долгую беседу. Архимандрит знал греческий много основательнее боярина (впрочем, в духовном сословии знание греческого было не в редкость на Руси), и с ним Феогност чувствовал себя на равных, порою даже забывая, что перед ним как-никак русич, а не ученый грек.

Затея великого князя касалась архимандрита Иоанна кровно, ибо со строительством церкви Спаса в московский Кремник окончательно переводилась архимандрия из Данилова монастыря. Великий князь полагал, что должно духовной власти быть вкупе с властью княжескою, а в делах духовных даже и надстоять над нею, указуя и самому князю, егда ся уклонит в неправый путь.

Феогност слегка потупил глаза. Очень уж не вязалось сказанное здесь с обликом и поведением московского властителя, как он его сам увидел и почувствовал. Архимандрит Иоанн,

однако, говорил легко и прямо, не смущаясь. Наружно был спокоен и прост. Не зазрил явно ни бедности палат Феогностовых, ни скудости дворовой. На иконы митрополичьей божницы глянул опытным глазом ценителя и слово изронил пристойное, обличавшее знатца иконного, чем невольно польстил Феогносту. Иоанн, как оказалось, и сам был из Киева, из лавры Печерской, и мог повестить митрополиту многое, неведомое ему самому, о древней славе места сего. Лицо у Иоанна было простое, доброе, без особых примет: встретиться такой в рубище на дороге – не отличишь от любого калики перехожего; глаза, когда вперял их в собеседника, умные и живые не по летам.

По тому, что рассказывал архимандрит, выходило, что в Московском княжестве порядок отменный, грабежа на дорогах нет и в помине, князь к церкви прилежен, нравом строг, богобоязнен и нищелюбив. Что сожаления достойная пряха с Тверью, коей свидетелем был сам Феогност, ныне утишилась, да и творилась-то она более по слову хана Узбека, чем по хотению самого Ивана Данилыча. Князь прилежен книгам церковным и отнюдь не мыслит о себе высоко, – тут Иоанн прямо и зорко взглянул в очи Феогноста, – но такожде, как от малого семени великое древо произрастает, такожде и от малой Москвы возможет проистечь град великий и земля пространная, ежели великое княжение володимерское останет в роду князей московских, ведущих начало от деда нынешнего властителя, святого великого князя Александра Невского, и от прапрадеда, великого князя Всеволода, и от пращура их, Владимира Мономаха, князя киевского!

Сказав это, московский архимандрит приостановился, как бы давая Феогносту время продумать сказанное, и вновь, просто и серьезно поглядев ему в глаза, продолжил:

– Не величаясь, не ровняя себя с Константином и град свой с древним Византием, нынешним Цареградом, заложил Иван Данилыч церковь Иоанна Лествичника в день памяти Константина и Елены, царей греческих, но токмо ревнуя о потомках своих, дабы им, далеким, указать путь и крест, принять который надлежит последующим нашему князю на рамена своя! Жизнь человеческая кратка, и чтобы свершить великое, одной жизни никогда не достанет. Ведомо тебе, яко кесари земли греческой из-за разномыслия почасту губили начатое предшественниками своими! Ведомы и нам таковые нестроенья в наших прежних князьях. Так пусть же и малый сей знак понудит потомков вершить великое, мыслить не о себе токмо, но о земле всей и о долготе жизни народной, проходящей века и века, а не токмо о своей брэнной и быстротечной жизни!

Феогност сдержал улыбку. Подумал, покачал головой. Все это мог сказать любой из них и в любом ином граде владимирской земли! Почему же вот здесь, на этих древних киевских землях, уже не мыслят так и о таком? И даже те, кто, как этот вот архимандрит, сам родом отсюда, с Волыни и Киева, уходят туда, во владимирские окраинные палестины? Он вздохнул, улыбаться уже расхотелось. Еще раз обозрел временный свой покой... Зело временный, тем паче что и он, Феогност, не мыслит долее оставаться в Киеве! И с невольным уважением подумал ученый грек, что им там, на Москве, действительно понадобилось благословение от него, русского митрополита, благословение своему малому делу, которое они дерзают почесть великим, простирая мысль и волю свою в грядущие века.

Там, во Владимире-Волынском, куда он все-таки поедет отселе, надлежит ему, Феогносту, воспитать в людях таковую же веру в грядущую судьбу земли своей и таковую же заботность о сущем, какую видит он в этих вот залесских русичах, не мудрствуя лукаво проделавших тыщи поприщ пути, дабы пристойно основать монастырь во граде своем!

Русичи уезжали, так и не предложив Феогносту (чего он ждал втайне) перебраться в Москву. Лишь перед самым отъездом Михайло Терентьич с Феофаном и московский архимандрит, все трое, вновь явились к Феогносту – напомнить о землях и селах митрополичьих, заверяя, что села те будут под доглядом самого великого князя, доходы – неукоснительно высылаться ему на Русь, а буде он пожелает посетить град Московский, для него всегда будут при-

готовлены хоромы прежнего митрополита Петра в Крутицах и также пристойная сану хоромина в самом Кремнике, близ княжеских теремов.

Феогност, в долгой, дареной москвитами шубе, вышел благословить обоз. Близко стоял старшой обоза, ражий мужик на возрасте, румянолицый и могутный, из тех, видимо, что до поздней седины не чувят ни хвори, ни слабости, ни даже ослабы лет. Дитина широко улыбнулся Феогносту, снял шапку, и только он, в простоте сердечной, видимо, один и не выдержал – прямо позвал митрополита на Москву:

– Приезжай к нам, владыко! Князь-батюшко церквей настроил каменных, любота! Красовиты, высоки: кровлю едва мочно с коня достать! И дух у нас легкой на Москве, боры! Не зазришь, не покаешь тово!

Феогност улыбнулся и, подняв руку с крестом, начал благословлять обоз, каждые сани, меж тем как возничие и кмети, ответно кланяясь митрополиту, гуськом выезжали из ворот и там, снаружи, надев шапки и внахлест перекрестив коней, с веселым звоном, вскачь, все убыстряя и убыстряя бег, уносились к долгому береговому спуску, чтобы, в мах вылетев на ровное поле Днепра, крохотною далекою ниточкой исчезнуть в ровном снежном сверкании голубого предвесеннего дня.

## Глава 14

Князь Александр Михайлыч возвращался во Псков. Много изменилось за неполных два года его невольного изгнания. В Новгороде сидел новый архиепископ, Василий Калика, избранный вечем из бельцов, неревлянин, бывший поп Козьмы и Дамиана с Холопьею улицы, и деятельно воздвигал каменные стены Детинца, поскольку Гедимин все решительнее влезал в дела Великого Новгорода, как и в дела Смоленска, и на невыясненной границе великого княжества Литовского с Ордою было зело немирно. Будь на месте Узбека иной хан, давно, быть может, и прят великая разразилась. Во всяком случае, следить, где сидит ныне изгнанный тверской князь, ордынцам стало некогда.

Ехали полем. Крестьяне возили снопы сжатого хлеба. Высокие скирды ржи высились там и сям. Князь вольно сидел в седле, приспустив поводья и улыбаясь, и мужики приветно улыбались ему с возов, а бабы, разогнувшись и сложив руку лопаточкой, долго глядели вслед княжескому поезду. Колеистая и неширокая, прихотливо извивалась меж пригорков дорога в позолоченной солнцем пыли, в ярких пучках осенних сорняков по обочинам. Верхами ехала дружина, скрипели возы. Высокие редкие облака медленно плыли по осеннему, уже холодеющему небу, и редкие птички стада уже начинали тянуть на юг.

Немчин Дуск, поступивший на службу к тверскому князю в Литве, ехал обочь, говорил что-то, ломая русскую речь... Не думалось. Александр кивал, не слушая. Во Пскове ждали его жена и маленький сын, ждали псковичи, считавшие его и о сю пору великим князем. Большой, добродушный, подъехал Андрей Кобыла. Чуть покосился на немчина, спросил:

– Ночуем, княже, али успевать до вечера? Тогда и подторопить мочно!

Александр подумал, набрал воздуха в грудь, терпкого осеннего воздуха, с ароматом вянувших трав и сжатого хлеба, с чуть слышным запахом сырости и чего-то еще, возвещающего близкие холода и зимние, обжигающие ветра. Легко вымолвил:

– А, подторопи!

И тут понял вдруг, что счастье – вот оно! Не думая ни о чем и не спеша никуда даже, ехать полем, в родной стороне, следя золотое низящееся солнце, и думать о доме, о семье, о любимой, что ждет впереди... Думать и не спешить, и не медлить, а просто ехать вот так, опустив поводья... И еще понял, что не остановить ему ни дороги, ни солнца, ни счастья, – все проходит, и надо все равно торопить вперед!

Он повернул красивую голову, прищурясь, озрел свой выющийся среди полей обоз, и конную дружину, и бояр, далеко видных по платью среди простых кметей, и повторил, кивая: – Подторопи! Вozy пушай идут ходом, а мы – на рысях!

Псков показался совсем ввечеру, при последних лучах заходящего солнца, косо обрезавшего и облившего прощальным золотом верхи городских башен, главы Троицкого собора и, кое-где, крутые кровли посадских теремов. А затем последний раскаленный краешек дневного светила исчез, и лишь алая тучка на ясном и светлом небе долго-долго горела над медленно погружающимся во тьму городом, словно опрокинутым в воду Великой, где повторялись и прысала стен, и костры, и соборы, и даже алая тучка на светлом окоеме вечерней зари.

Александр шагом спустился с берега меж хором и клетей Завеличья, остановился у перевоза. Оттуда, с той стороны, спешили лоды. Смолисто вспыхивали факелы, и черные на светлой воде лодки казались движущимися огоньками. Ударил колокол в Кроме, раз, другой, словно еще раздумывая, и тотчас залились веселым перезвоном малые подголоски, а следом отозвались тяжелые била на городской стене. Сквозь прорезные сквозистые верха псковских звонниц было видно отсюда на все еще ясном небе, как колышут взад-вперед, не в лад отстающим ударам, черные тела колоколов.

Подъезжали бояре. Рядом с ним остановились Акинфичи, Иван с Федором и их двоюродник, Александр; подъехал Игнатий Бороздин, сын покойного тверского воеводы, принятые немчины, Дуск с Долом, княжеский дьяк, казначей и прочие. Его уже встречали, уже обступили с поклонами и радостным гомоном, уже спешили бояре, и черные смоленные лоды уже подходили к пристани. Оттуда махали руками, подымали факелы. Князя встречали псковский посадник с вятшими, купцы, посадская старшина – все знакомые, все радостные. И – словно не было похода низовских ратей, проклятия, бегства в Литву – «Князь, князь-батюшка!».

И Александр смеялся, отвечал, здоровался со всеми, двух-трех обнял и расцеловал, и уже расступались, и уже стелили алое сукно по берегу до второй лоды, с которой – в светлых потемнях не сразу узнанная – соступила на берег жонка, замотанная в широкий убрus, в высоком очелье, и едва не споткнулась, заспешив. Князь узнал, подбежал, поднял на руки. В пляшущем свете факелов бережно понес свою княгиню назад, в лодью. А колокола с той стороны продолжали и продолжали бить радостным красным звоном, и весь берег, уже совсем потемневший, был теперь усеян огоньками факелов столпившихся у причалов и под стенами Крома горожан, что вышли встречать опального тверского, а теперь своего, плесковского, кормленного князя.

## Глава 15

Сидели в большой палате Довмонтова города, под янтарными, в обхват, балками тесаного потолка, за широким резным столом, покрытым камчатую тканью скатертью, за чашами с медом, квасом и иноземным красным вином. По стенам покоя тянулись опущенные лавки, стояли дубовые лари, ярко расписанные травами и обитые узорным железом, в коих хранились грамоты Пскова: договоры с князьями и гостями иноземными, купчие и дарственные на землю, дома и добро простых и нарочитых плесковичей, противни посланий архиепископских о делах градских и прочая, и прочая. Самые важные из грамот – вечевые решения и митрополичьи послания – находились в ларе собора Святой Троицы, в самом Кроме.

Псковские посадники толковали с князем Александром и его боярами. Дело было для Плескова из важных важное: город хотел иметь своего владыку, дабы освободиться совсем от опеки «старшего брата» – Господина Новгорода. Обид накопилось много. Старший брат не урядил с немцы, не помог противу датского короля, не боронит от Литвы; меж тем: «владычное – подай, суд архиепископлъ – подай! Как што, наших в железа емлют и за приставы в Новгород, тамо сиди, не знай – жив, не знай – нет! И подъездное давай, и кормы, а коли не едет Плескову,

все одно кормы давай да бор владычень по волости! Хотим свово владыку! Уж отвечать перед митрополитом – куды ни шло, а владыку новгородцова не хотим! Да и то смекнуть: Василий-от Калика не ставлен ищо, рукоположат ево ай нет, поди знай! Самая пора бы, княже! Самая пора свово владыку нам!»

Александр видел требовательно и заботно обращенные к нему взгляды, откачнулся на перекидной скамье, уложил ладони на стол. Следовало помыслить путем! Гаврило Олсуфьев, доньне молчавший, теперь взял слово:

– Уж у нас, княже, и иерей есть, прилепо сану сему, муж благ, сановит и смыслен – игумен Арсений!

Арсения Александр знал и не мог не признать, что выбор плесковичей сделан был основательно.

– Помысли, княже, о сем, посиди с боярами! – заключили посадники, подымаясь, и оба поклонились враз. Так-то, мол: тебе, княже, кланяем, а и ты нас не обессудь, градские заботы наши, ради чего тебя на стол пригласили, исполни!

Александр нравился плесковичи. И честны, и храбры, и осторожны, когда надобно, и добродушны зело, а и себе на уме – простецами не назовешь! Не думал даже, что свои бояре будут противу плесковской затеи, однако на думе княжой возникла пря, и немалая.

– Батюшка твой, княже, им воли не давал! – твердо говорили старики. – Сядешь, Бог даст, снова на стол великий, будет у тебя с ними муки! Как бы сии плесковичи повострее новгородцев не стали! Им только свово пискупа и не хватат! Уж иная власть, почитай, вся в руках ихних! Тебе, княже, татебное да княжую дань дадут, а боле ничего не проси!

Немчин Дуск важно кивал головою:

– Премудрый Аристотелиус тако глаголет: малым государствам, в коих один токмо град, подобно древним Афинам или граду Плесковскому, пристойно есть имати правление демократикус, сиречь народное, а великим – единодержавие достоин, королевская либо цесарская власть. Ибо малые грады не возмогут землю вкупе устроить, подобно тому как и Новый Город со Плесковом немирны суть. И к сему потребно понуждение свыше, от цесаря, дабы по всей земле – един глава, един закон судный!

– Пристойно то али не пристойно, рассудити нать! – раздумчиво начал Иван Акинфич (он больше всех не любил немчинов – новых возлюбленников князя Александра). – А токмо вот чего прошать хочу: како о сем Гедимин мыслит? Не то мы тута наобещаем, а окажет после... хозяина, вишь, не спросили!

О «хозяине» Иван рек не без умысла и тотчас попал в больное место. Александр нахмурился. Брови сошлись у переносья, потемнели глаза. Стал чудно хорош княжеский лик (сам знал, что хорошеет в гневе, почему, гневаясь, иногда любовался собой).

– Рано, Иван, меня в литовски холопы записал!

– Не гневай, княже! Молвил непутем, да и безлепицу, – тотчас повинился Иван, низя глаза, – а только митрополит-от ныне в литовских палестинах, сам знашь, княже! Могут и не пропустить!

– С братом моим, Гедимином, у нас ряд! – строго возразил Александр. – А еще и эта вот грамота!

Он выложил на стол развернутый свиток, показал Акинфичам. Оба, Иван с Федором, склонили головы, шевеля губами, стали честь про себя. Иван первый оторвал глаза от грамоты, поднял чело, как-то разом вспотевшее, вынул цветной плат, отер лоб. «Это что ж, – подумал, – эдак-то и с Ордою учнем ратиться?»

Грамота была тайной, далеко не все и ведали о ней. Александр мгновением пожалел даже, что показал ее Акинфичам. Не то что предатися могут, а – возревнуют, что без их ведома заключил тайный ряд с Гедимином. Жалеть, однако, было поздно. Федор Акинфич, в свой черед, дочел грамоту. Пробормотал:

– Это ино дело... Только как бы и нас Гедимин не подвел, яко немцев орденских в свой час!

Он тоже покосился на Дуска с Долом, и хоть сии немчины были не из кесарския земли, а все же и ему, как прочим, казалось, что все одинако: что из Помория, что из датской либо саксонской али иной какой стороны – немчин, он немчин и есть! Хоть бы и православную веру принял, а все не свой! Вишь, Аристотелевы хитрости вспомнил, а что рек? И так и эдак поворотить мочно! Однако договор с Гедимином – не их ли работа? Пото и приблизил к себе князь! Ох, не подвели бы нас католики, да и сам Гедимин Литовский!

Александр Морхинин, тот так прямо, колюче, и брякнул:

– Отколе, княже, начнем мы собирать русскую землю? Отселе – дак мочно и епископа ставити Плескову! Токмо одно спрошу: мы али Гедимин?

Игнатий Бороздин о договоре тайном знал. Но все же и его смущала затея с епископом. Ежели, как молвят плесковичи, сам Гедимин тоже поддерживает Арсения, то не его ли думою все сие створилось? И еще поглядеть, кто стоит за спиною Гедиминовой? Нет ли здесь новых латинских козней?

А князь Александр, скатав и спрятав грамоту, не то чтобы подумал, а представил себе и лица вятшей псковской господы, и давешнюю толпу с факелами на Великой, и радушие, царившее на вчерашнем пиру, данном плесковичами своему князю... Было легко, хорошо было здесь после скитаний по Литве, и хотелось этим людям, что так его любят и так ждут помочи от него, оказать эту помочь широко, по-княжески, не думая о том, что произойдет из того в грядущем. (Когда-то так же вот бросил Александр разрешающее слово там, в Твери, где чернь громила Шевкала с дружиною. Бросил, повелел... и вот сидит во Пскове, а Тверь сожжена и в развалинах!) Ах, сладко, все равно сладко подчас и не думать ничего наперед! Вот они сидят, толкуют, решают, опасаются предбудущего лукавства плесковичей. А умри Гедимин, и что грамота сия? Или Узбек? Или Иван Московский? Или татар поразит какая беда: мор, джут, рать неведомая? Сколь много решал батюшка-покойник, а чем кончилось? Оба, и он, и старший брат Дмитрий, в могиле, а ему, Александру, судьба пала бегать из веси в весь! О нынешнем дне помыслите, воеводы! Вот нас встречают, кормят, дали угол и кров над головой, встали за нас едва не против всей земли русской! Хранили нашу казну и семьи наши честно и ныне призвали опять к себе! Что ж мы будем бояться близких своих, заботно гадать о грядущем, коее то ли будет, то ли еще и нет, а упустим нынешнее – светлую радость дня сего на ничто обратим! Не прав ты, Иван, и ты, Захария, и ты, Онтипыч, не прав! Не все свершишь злою думою да насилием! Да и безлепо нам отказать ныне плесковичам – ужель вы, бояре мои, не набегалися по Литве?

Александр расправил брови. Улыбнулся соратникам своим. Поднял десницу, утишая. Рек:

– Ныне, бояре, достоин нам склонити слух к просьбе плесковичей! Церковь русская от того ся не умалит, а в споре с московитами лучше днесь поддержать братью свою! И даже, быть может, князя Гедимины Литовского!

## Глава 16

Нету в мире более красивой земли. Мягко всхолмленная, вся в светлых реках и цельбоносных источниках, укрытая зеленью густолиственных, золото-багряных по осени буков, в зарослях орешника, дикой груши, берез и мелких лесных яблонь, а выше, по холмам, в густой щетине хвойных лесов, изобильная зверем, птицею, рыбой, плодородная и хлебородная, вся обжитая и ласковая, с красивым, видным, громкоголосым народом – истинно обетованная земля!

Во Владимире-Волынском Феогност устроился прилепо. Край был богат. Епископы Луцка, Перемышля, Галича, Полоцка на второй год его пребывания в здешнем краю поверили



наконец, что новый митрополит уселся у них нешуточно. Горцы в своих черно-белых одеяниях дарили ему меха рысей и лисиц, оленина не сходила со стола слуг митрополичьих, хлеба был избыток, хватало и на узорочье, и на благолепие, пристойное двору митрополита русского. Уже не приходилось неволею радоваться дарам далекого московского князя. Отстраивались новые палаты митрополичьего двора. На выездах Феогноста ждали чудо-кони, запряженные в возок, обитый алой кожей и отделанный серебром. Он справил себе новый саккос из бесценного греческого аксамита, жемчужную митру с большим алмазом в наверху, зимнего ради холода просторный запашной вотол на куньем меху и шапку из черных соболей, у торгаша-жидовина купил золотой потир древней киевской работы. Из Константинополя везли ему, в обмен на дары здешней земли, вино и елей, иконы и книги, многоценные ткани и узорную серебряную утварь для служб и трапез. Уже и далекая владимирская земля, похоже, склонялась к признанию совершившегося. Во всяком случае, нынешним летом Феогност смог с большою пышностью рукоположить нового епископа в Тверь, Феодора, и затеять пересылки с Новгородом, понеже избранный вечею из белого духовенства новый новгородский архиепископ, Василий Калика, медлил приехать к нему на поставление, ссылаясь на размирье с Литвой. (Хотя, как передавали, уже вселился в палаты владычные и деятельно правил епархией, строил каменные стены в Детинце, собирал дани церковные и даже, не будучи сам поставлен, рукополагал новых попов.) Феогност сам послал к Гедимину за охранною грамотой, и наконец, уже зимой, митрополичьи слуги, Федорко и Степанко, отправились в Новгород, призывая Василия Калику ехать ставиться на Волынь. И новгородцы известили вскоре, что новый владыка не умедлит, выедет тотчас, как только сойдут снега и обсохнут пути. Великий князь владимирский Иван вестей не подавал, хотя и дани святительские и поминки шли неукоснительно, да ему, верно, было и не до того. Летом 1330 года на Владимирщине стояла сухмень, хлеб родил плохо, а на другой год, весной, третьего мая, погорел весь Кремник: огорели новые церкви, погибли княжеские хоромы, житничий двор, дворы великих бояр, даже прясла и костры городской стены обгорели и частью осыпались. Все пришлось рубить и отстраивать наново.

Даже и из Орды доходили до Феогноста приятные вести. Царь Узбек пожаловал сарайского владыку, дав ему охранную грамоту. Зримым образом дела церкви православной устраивались и там.

Феогност управлял, собирал, строил, был деятелен и, казалось бы, успешен в делах своих, но втайне, в душе, все более и более сознавал, что возводит здание на песке. Галичу и Волыни угрожали ляхи. Гедимин был пугающе непонятен. Католики нагнали. Православные епископы Галича, Луцка и Перемышля не могли противустати латинянам, как должно. Торговлю захватили иноверцы: ломбардцы, немцы, ляхи, галицкие иудеи... Из Константинополя доходили злые вести: император Андроник Третий нынче терпел поражения в Болгарии, Ромейская держава разваливалась на глазах. Нечто неуправляемое, нечто неподвластное уму было во всем, что окружало митрополита. Даже в смиренной покорности селян на службах в соборе Богородицы было некое пугающее безразличие. Все склоняло к тому, чтобы сидеть и ждать рокового, как виделось уже, исхода. Но ни сидеть, ни ждать он не хотел. Слишком навидался этого безлепного ожидания гибели у себя, в Византии. Не для того он приехал на Русь, чтобы и здесь ведать одно лишь медленное умирание!

Нынче вдруг у Феогноста появилось странное чувство, что владыка новгородский обманет и вовсе не поедет ставиться к нему. Смешное, разумеется, опасение и все же тревожное. Он посылал узнавать. Ему повестили: едут, выехали из Нова Города на Рождество Предтечево, двадцать четвертого июня. Выехали – и словно пропали. Шел июль, воздух был свеж и зноен, попевали хлеба. Феогност только что воротился из города, отслужив литургию, в свои загородные хоромы. Разоблачаясь, с удовольствием думал о том, как выйдет в сад, пройдет по усыпанной цветным мелким галечником дорожке к заведенному им винограднику. Служки бережно помогали митрополиту, и эта бережность, почтение тоже были приятны. Он омыл

руки и лицо, надел простой белый полотняный подрясник с широкими рукавами и уже принял из рук служки наперсный крест, когда в горницу поспешно и без соблюдения чина вошел, нет, вбежал дьякон Гервасий с развернутой грамоткою в руках и, смятенно поглядев на переоблачающегося Феогноста, протянул ему берестяной свиток. Почему-то сразу почуяв, не по свитку даже – обиходные послания писали на бересте всюду, – а по лицу, по растерянной поспешности дьякона, что речь идет о новгородском посольстве, Феогност, не отпуская креста, принял одною рукой грамотку с процарапанными по ней крупными и неровными строками послания: «Ко твоему святейшеству... неволею задержаны есьмы, по слову великого князя Гедимины... како попечалуешь по нас в таковыя нашае нужи... Олфоромей Остафьев, сын тысяцкого, псал...»

Феогност стиснул грамоту так, что хрупкая береста треснула. Мгновением захотелось швырнуть в кого-то крестом, зажатым в руке, что-то бить, ломать и яростно топтать ногами... Да! Церковь не вмешивает себя в дела земные, но почто князь-язычник вступает в дела церкви и позорит его, митрополита, пред всею епархией?! Что он, сей грубый литвин, не возможен понять, яко сам разрывает тело церкви православной и неволею толкает к отделению от митрополии и Новгород Великий, и Русь Владимирскую? Что так править немочно и нельзя! Непристойно! Или понимает? Или и тут латиняне руку приложили? И кто, и что же тогда здесь он, митрополит русский: полновластный глава церкви божией или игралище князя, детский погром в руке Гедиминовой, а также католиков, его окруживших?! Сегодня Гедимин схватил владыку новгородского, едущего на поставление к нему, и требует от задержанных бояр, дабы Новгород принял служилым князем его, Гедиминова, сына Наримонта (об этом было сказано в грамоте), угрожая посадить в железа всех послов с владыкою во главе, а завтра он восхощет удержать любого из залесских епископов и потребовать взамен вокняжения в Суздале или Смоленске?! Язычник всегда останет язычником, пути духовные ему неведомы, и ничто, кроме прямого грубого насилия, не может измыслить таковой в делах земных! Вот на какой основе, вот на каком «камне», скорее схожем с хлябью морскою, воздвиг он, Феогност, престол русской православной митрополии! Како возможно полагать тут прочным что бы то ни было?! Сегодня Гедимину угодно одно, и он, зарясь на Новгород, не придумал ничего более разумного, чем захватить поезд владыки, а завтра ему станет выгодно иное – и он примет католическое крещение, дабы завладеть Польшей и землями Ливонского ордена! А послезавтра умрет сам – и те же латиняне поворотят все иначе, погубив и саму Литву, а не токмо православных христиан в Великом княжестве Литовском! (Феогност сам не знал в этот миг, сколь недалек он от истины.) Нет, лучше московский князь со своим смешным храмоздательством – от того, по крайней мере, останет нечто, твердо созиженное, и, по крайней мере, вера православная в его земле нерушима суть!

Он уже овладел собой. Надел крест, разгладил порванную грамотку, отпустил служек, дьякону велел достать писало и воцаницы. Следовало немедля сочинить послание Гедимину и – ободрительное – новгородским послам.

Впрочем, бушевал Феогност, по-видимому, напрасно. Что-то было промеж Нова Города и Литвы, отчего задержанные новгородцы легко согласились на переговоры с Гедимином и, как выяснилось уже много спустя, не нарушили неволею заключенного договора.

Дело в конце концов устроилось. Великий Новгород обещал принять Наримонта на пригороды: Ладогу, Ореховец, Корельский городок и корельскую землю, а также на половину Копорья в отчину и в днину, ему и детям, боронил бы Новгород от свейской грозы; и затем, уже к середине августа, отпущенное Гедимином посольство прибыло наконец во Владимир.

Другое приходилось решать теперь Феогносту, и решать не отлагая. Из Пскова, отправленный князем Александром Михалычем со плесковичи, а также поддержанный Гедимином и прочими литовскими князьями, ехал ставиться в епископы игумен Арсений. Сим поставлением учреждалась особая псковская епископия, неподвластная новгородской.

На церковное отделение Пскова от Великого Новгорода Феогност сразу по приезде из Константинополя никогда бы не согласился. Позже, замыслив сесть во Владимире, он, возможно, и рукоположил бы нового епископа для Пскова, по согласию с патриархией, разумеется. Теперь же, начав понимать, что происходит тут, на Волыни, и в самом Литовском княжестве, Феогност задумался сугубо. Было ясно, что новая епископия во Пскове нужна не только плесковичам, коих он не так давно из Нова Города отлучал от церкви, и, конечно, менее всего изгнанному тверскому князю. Сиди Александр Михалыч в Твери, сам бы, пожалуй, тому воспротивился! Надобно сие прежде всего Гедимину. И ежели он, Феогност, воспротивится поставлению Арсения – на Волыни ему не усидеть. А ежели не воспротивится?

Вечерело. Окончив дневные труды, свершив трапезу и отпустив служек, Феогност вышел в сад. Пахло свежестью, пахло ночными цветами, пахло чуть влажною землей. Будут хорошие яблоки в этом году, быть может, будет и виноград! Уезжать отселе так не хотелось! Но все его труды рухнут и на ничто ся обратят, ежели он склонит слух к земному и отринет должное своему сану! Он много, очень много уже знал о плесковичах. Знал о нестроениях в службе сугубых, как то: крестили они обливанием, а не погружением, не делая разницы между тем и иным видом таинства, не было в Плескове правильного номоканона, ни уставов литургии Иоанна Златоустого и Василия Великого, ни синодика, ни требника утвержденных. Святых тайн приобщали по окончании обедни, после отпуска. Даже и при освящении церковью допускали неподобающее: антиминсы резали начетверо и давали в церковь одну четвертую долю... И все сие проистекало от своеволия прихожан, которые выбирали священнослужителей на вечевых сходбищах своих. Отселе и злоупотребления сапом, и в службе упущения, и ереси. Возможно ли свой епископ (опять-таки избранный вечевым сходом!) исправить зло или, напротив, усугубит различия сии и тем приведет церковь псковскую к отпадению от православия и, паче того, к поглощению ее латинами? Почему сам Гедимин не примет православного крещения и не крестит землю свою в греческую веру?!

Феогност уселся на скамью, пригорбился, не замечая легкой прохлады, рассеянно растер пальцами лист смородины и, ощутив терпкий запах листа, уронил зеленый комочек себе под ноги, сцепил пальцы и замер. Нет, веры в Гедимины у него не было! Лукав и зол сый, и не прилепо имати веры ему! А тогда?

Ночь опускалась на землю. Теплая влажная ночь, украшенная россыпями серебряных и золотых звезд. А он все сидел, подрагивая в своем легком облачении, не чуя сырости обильно политого в навечерии сада, безотчетно вдыхая густой аромат зреющих плодов земных, и думал, постепенно с горечью отрешаясь от благоденственного уюта своего, и все же не мог отринуть его до конца, не мог решить, как должен поступить днесь, в таковыя святительския нужи.

## Глава 17

Назавтра встречали новгородских послов. Феогност слышал в отодвинутые окна конский топ, гомон и ржание, громкие веселые голоса челяди, твердый рассыпчатый говор «новгородчов» и не мог выйти, не мог собраться с духом, дабы встретить гостей, как подобало.

К нему уже заглядывали. Долее тянуть стало немочно. Он встал, перекрестил себя; вдруг и неожиданно, глубоко, от души, произнес по-гречески старинные, врачующие душу слова: «В руце твои предаю дух свой!» Вышел в приемный покой. Те уже ждали. Осанистый благообразный старец, Кузьма Твердиславль, знакомец еще по Новгороду, – его первого приметил Феогност в толпе гостей и слуг митрополичьих, – и второй, молодой, высокий и статный. Видимо, он и есть Варфоломей Остафьев, сын тысяцкого! – догадался Феогност. Василия Калику он сперва не узрел. Уже когда те двое с поклонами расступились, вышел из-за них третий, невысокий ростом, сухоощавый, улыбчивый, с удивительно живыми, какими-то разом и детскими и мудрыми глазами, в легкой бороде и сам весь легкий, подбористый, точно странник, осенен-

ный благодатию. Вышел – и незримо отодвинул всех прочих посторонь. И голос был у него такой же, под стать облику, не старый и не юный, а – как вода – веселый голос, и речь стремительная, складно-простая. И что-то сказал: про дорогу, труды, красоту земную, осельную, и стало хорошо, просто стало. И страхи ночные кончились. Не знал еще, что решит, но уже понял: что бы ни решилось теперь, все будет на добро!

Был молебен. Была долгая многолюдная трапеза. И вот настало то, чего Феогност начал уже вновь страшиться, – они наконец остались одни. Он и Василий Калика. Весь напрягшись, Феогност ожидал, что тот с первых же слов заговорит о Литве и плесковичах. Но Василий мягко и как-то незаметно, не нарочито совсем, стал рассказывать о Новом Городе, о волости Новгородской, о землях полуночных, о мореходцах (он произносил по-новгородски: «мореходчи»), о чудесах далеких морей и говорил так легко и складно, что Феогност невольно заслушался, забыв на малый час все то сложно-грозное и неразрешимое, что вступило в митрополичьи палаты вместе с этим легким ясноглазым пришельцем.

Пока Феогност безотчетно отмечал в речи гостя незнакомые ему или непонятные речения: «шивера», «поветерь», «шуга», «наволоки», «луды», «корги», – Василий Калика незаметно и легко перешел к тому, иному, чего так боялся Феогност.

– ...Намучатца так-то, наголодают, нахолодают, уж токо тем и живы – паки с прибытком на родиму сторону придтить! Хоша наши неревляна: тута ему свой конеч, улица, братство, дом родной – таково хорошо! Без дома-родины всяк людин яко лист сухой вихорем гоним по лику земли! Пото и которы и ссоры промеж нас – кажен свое! И у плесковиць и у нас, дак како рещи? Приожижены от суда, от продаж... А все надо и обчу пользу блюсти! Мы вот великого князя московского посадили на стол – тоже и кормы, и дани по обычаю. Нельзя инако: един язык, едина Русь! Како ся согласить? И где пределы, где рубежи, кои прилепо указати власти судной? А мыслю: как Господь уж разделил языци по разрушении столпа Вавилонска, так тому и быть! Цего Господь постановил, не людям пересуживать! Языци-то разны по лику земли! У немець ино, чем у нас, и не можно с има вместях устроить, другие они, по-иному живут! Нашему подай тута работу, а тута пир – широко, а тому – чтобы все до последней векши счесть и во всем свой строй и наряд поставити. Русич от того наряда загинет, захиреет, а и немець – как пойдет с нашими в гульбу, тут ему и конечь! Уж и не прочнутыце ему, и то потеряют, цто преже нажил. Другояко живут, другояко гуляют – все другояко! И погоды в ихней земли иное, нету мразов таких, зим прежестокых. А фряги там, латины: у их и вовсе солнце, тепло, винограды обительны, яко же и в грецкой земли! Ты вот тута поселилсе, где тепло таково! Несладко тебе показалось в низовской-то стороны? Иная она, другояка! Ну, тебе, отче, надобно все одно выбирать по уму, не по сердцу – один дак! И поставлен главою над народом русским, дак уж как все, так и ты... А что промеж нас и плесковицей, дак тако мыслю: свои дерутця, токо ся тешат! А уж с Литвою нам навряд сговорить! Может, и тако повернет, что примет она веру вашу и на ся поворотит, дак и то сказать: ин язык, ина мольвь... Али уж русины тута возобладають! Не ведаю того! Не пригляделси ешчо... А и у вас, в грецкой земли, како ся туркам поддати альбо латинам? Сохранит ся черква православная? Како решишь, отче, а, по моему розуменью, не нать нама со плесковици врозь быти! Беда кака от немець накатит, иное цто, да и латинам повада немалая! Цегой-то Гедимин мыслит о себе? Вишь, по миру нас изымал, требоват сына всадить! Дак ладно, согласили. А токо будет ле боронити от немець? Почто согласили? А он, Гедимин, с немци зело немирнен, дак нам с того прибыток! Но и то рещи: како повернет? Боюся, да ить мочно принять, мочно и проводить, у нас так! Великой кпязь-от у нас володимерской, не литовской! Конечньо, свою выгоду блюдем, не без того! И кончи-то в Нове Городе промеж себя не мирны! Ну а Гедимину веры давать во всем не след. Может, ишчо захоцет и всю русскую землю под латинов склонити! А там и ляхи, и свеи, и орденьски немци... А не можно, не можно нам с има! Ни по цему не можно – ни по душе, ни по жизни, ни по земле своей. Все инако есть и пребудет! Помысли, владыко, о сем да на меня,

грешного, не посетуй, не зазри. Я ить в простоте рець молвил, ино слово коли и не так, и в обиду пришло, то мимо слуха, мимо сердца пушшай!

Еще не додумав до конца будущего решения своего, Феогност постарался обставить поставленье Калики яко возможно торжественнее. Прибыли пять епископов, пять владык здешней Руси: Григорий Полоцкий, Афанасий Володимерский, Федор Галичский, Марко Перемышлевский, Иоанн Холмский. Феогност уже назначил торжественное рукоположение в городском храме, когда прибыло посольство плесковичей с Арсением, требуя рукоположить последнего особым епископом Плескову.

Феогност все еще колебался, но поставленье Арсения слишком уж добивался Гедимин, а среди бояр Александра Михалыча, прибывших вкупе с плесковичами, оказался немчин, Дуск, тотчас заговоривший о воссоединении церквей, в чем Феогност неволею углядел угрозу латинской ереси. И все приняло вид древнего византийского спора – спора императоров с патриархами, в коем решение дел церковных все же принадлежало патриарху, а не цесарю и не синклитикам.

Он принял бояр Александровых, Игнатия Бороздина с Александром Морхининым, и немчина Дуска, принял плесковичей, долго жаловавшихся на притеснения со стороны новгородского архиепископа. Им отмолвил, что, как бы ни решилось дело о поставлении Арсения, с новым владыкою, Василием, он сведет их в любовь, да отложат они все взаимные нелюбия.

С Дуском Феогност говорил холодно, чувствуя едва ли не кожей правоту слов Василия Калики: все было иное и неслиянное – взгляд, навывчай; сам способ мыслить – и тот был чужой, противный греческому уму. Русичи – те изначала казались ему гораздо ближе и понятнее.

С Игнатием Бороздиным и Александром Морхининым Феогност, уже освобождаясь от Дуска, имел долгую беседу с глазу на глаз, и эти двое чуть было не переубедили митрополита. Во всяком случае, заставили помыслить о поставлении Арсения с иной стороны.

Бояре сидели на лавке за прибором. Митрополит угощал гостей медом и пурпурным греческим вином. В мисах лежали закуски: медовые коржи, вишенье, грецкие и волошские орехи, желтые палочки дорогого сахара, вяленые винные ягоды и сушеный виноград. Игнатий Бороздин почти не притрагивался к закускам. Александр, тот время от времени протягивал руку в палевом шелковом рукаве, схваченном серебряным наручем сканого дела, брал винную ягоду, клал в рот, задумчиво разжевывая, и слушал, уставя взор в столешницу, что и как говорит Игнатий, согласно кивал головой, иногда взглядывал сумрачно на Феогноста, временем добавляя что-нибудь и свое к словам сотоварища.

– Тверские князи по древлему праву русския земли суть великие князи! – строго рек Бороздин. – По лествичному праву и по приговору всей земли Михайло Ярославич, батюшка нашего князя, святой, убиенный в Орде от проклятого Кавгадыя и от Юрия Московского, получил владимирский стол, и паки сын его старейший, Дмитрий, и паки Александр Михалыч, коего согнали со стола силою, но отнюдь не по праву, и не лишен посему великокняжеского достоинства своего!

– Так, так! – подал голос Александр Морхинин. – Чего хан думает и делает – одно, а по правде ежели, дак Александр Михалыч и о сию пору князь великой!

– Плесковичи нашего князя приняли яко великого, и Тверь ждет, – продолжал Игнатий Бороздин, – како ся повернет ише в Орде? А только и Данилыч может не усидеть на столе владимирском! А тогда Литва да мы в одночасье и татар, бесермен клятых, погоним вон из Руси! Ныне же надобно нам ся утвердить на плесковском рубеже, пото и Арсения привели, отче! Не посетуй, что токмо о делах княжеских глаголю, без их ить и церковь Божия не устоит!

«Тверь или Москва? Тверь или Москва? – думал меж тем Феогност. – Ежели Тверь вкупе с Литвою... Но ведь Узбек дал-таки охранную грамоту владыке сарайскому! И почто этот немчин Дуск с ними? Прост тверской князь, ох и прост! Но, может, в простоте-то и правда? А латиняне? А Гедимин, не принимающий православия? И что ся створит, ежели католики одо-

леют на Руси, с церковью православной? Да и на столе володимерском сидит-таки пока князь Иван (или... пока сидит?). Где, на чьей стороне сила, которую надлежит поддержать ему, митрополиту русскому? А он должен поддержать именно сильного», – это Феогност, византийский грек, весь строй мыслей и чувств коего создан был эпохой умирания великой империи, знал слишком хорошо.

Отпустив бояр, Феогност задумался сугубо. Кто из них прав? И что должен содейть он днесь, дабы не возмутить ни тех, ни этих? Мысли его всё шли и шли по кругу: Москва, Тверь, Новгород, Псков, Гедимин и снова Москва... И в последнем, литовском, звене этой цепочки чувал он все более и более тревожно незримую угрозу православию. Ежели бы Гедимин принял святую греческую веру! Сего, однако, не произошло и уже не произойдет. А посему, посему... Разумнее было... да, разумнее было проявить твердость, сослаться на старину, на обычай. (Ведь ежели одолеет Тверь, им же самим не станет люб особый псковский епископ!) А Гедимину... Гедимину повестить, что и ему не стоит выделять плесковичей в особую епархию, дабы не попала она впоследствии под власть орденов немцев. А буде примет Новгород сына Гедиминова на стол, тогда ведь и Плесков пойдет под руку ему, поелику оба града суть одна архиепископия. И далекий князь Иван будет премного доволен (дани с московских волостей поступали исправно здесь же, в Литве, отнюдь не торопились наделять митрополита землями со крестьяны). Нет! Паки и паки рассудив, Арсения рукополагать не след! Не след потакать язычнику Гедимину! И он должен побывать в Орде. Получить новый ярлык и своими глазами узреть всеильного Узбека, повелителя Руси Владимирской и врага Гедиминова...

Еще через день, двадцать пятого августа, облаченный в царградский саккос, в митре с алмазом в навершии, с синклитом из пяти епископов и с целым хором иереев, дьяконов, иподьяконов и певчих, среди толпы лучших граждан Владимира – бояр, гостей торговых, кметей, княжеских слуг, в присутствии обоих посольств, Господина Нова Города и Плескова, под оглушающий глас хора, в жарком мерцании сотен свечей в паникадилах и хоросах на расстеленном парчовом подножии, возложением рук на главу коленопреклоненного пред ним Василия Калики Феогност возвел того в сан архиепископа Господина Великого Нова Города. И тут же, в соборе, переждав гласы певчих и движение прихожан, торжественно отказал в поставлении Арсению, игумену плесковскому: «Зане не достоит разрушити прежебывшая но яко от отец и праотец заповедано, такоже пусть и впредь пребудет Плесков в руце архиепископов Господина Великого Новгорода!»

Новгородская летопись сообщила впоследствии, что в тот день, когда Феогност рукополагал Василия Калику, во Владимире-Волынском «явися звезда светла над церковью и стоя весь день, светяся».

## Глава 18

Из Владимира выехали первого сентября, на память Симеона Столпника. Добираться решили (да и Феогност посоветовал так) кружным путем: сперва на Киев, оттоле к Чернигову и Дебрянску, а уже от Брянска на Лопасню и через Москву, Тверь и Торжок – к Нову Городу. Боялись грозы Гедиминовой. Как оказалось вскоре, боялись даром. Литовский князь не мог простить неудачи с Арсением.

Ночи полыхали зарницами. Новгородцы с невольной завистью смотрели на плотные золотые ряды бабок сжатого хлеба на полях, на высокие суслоны ржи и пшеницы, приговаривали:

– Богатая земля!

Василий Калика любопытно выглядывал из возка, ясными быстрыми глазами озирали окрестные палестины. Велика Русь! И всего-то в ней хватает! И поля хлебобордные, и сады

благодатные, и виноградны обительны, и оwoшь многоразличная, и звери, и птицы! Елени по нынешним местам, коих нету в волости Новгородской, зайцы так и скачут из-под ног, есть и волки, и лисы, и рыси, и медведи, и лоси, и дрофы, и гуси, и утицы – всего еси исполнена земля! Теперь, пережив и плен Гедиминов, и торжество поставления, в чаянье грядущих дел и забот, Василий попросту отдыхал душою, любовался окрест сущою землею, легко заговаривал со встречными селянами. Весело тархтел возок, весело шли кони, веселы были и слуги и ездовые, чая, что уже ушли от опасной беды.

Ночевали в поле. Василию Калике постелили в открытом возке. Притащили гору снопов необмолоченного хлеба из ближнего суслона, укрыли попонами. Мешанный дух созревших колосьев, конского пота от попон, остывающей пыли, прохлады и вянущих трав обнял, закружил, уводя в сон. Ярко горел костер, с треском выметывая беспокойные языки пламени в черно-голубую тьму. Искры золотою метелью, кружась и затухая, летели ввысь, к мерцающим голубыми огнями звездам, и не могли долететь, сникали, исчезая во тьме.

Василий Калика был ныне без меры счастлив душою. В такие вот миги, когда бесконечно струилась дорога и неведомое, чудесно-далекое манило и марило где-то там, впереди, и возможно становилось отрешиться от суетневных дел и страстей, в такие миги и снисходило к нему счастье, счастье странника на путях Господних. Он и был странником, «каликою», новый владыка новгородский! Его и любили все как прохожего, путника, за незаботную простоту, за любовь к ближнему, не отягощенную никоим своекорыстием, любили как птицу небесную, ю же поставил нам в пример Иисус Христос, сын Божий!

А ведь был Калика и быстр, и без тягости мудр, и деловит, и настойчив, и легок, и саном высоким не зря и не впусте облачен! Но ему и при этом ничто не стоило, взяв посох, пойти по Руси из веси в весь, кормясь подаением, утешая страждущих духом и радуясь благодати Божией, разлитой окрест. Чуден мир! И велик! Коликою благодатью одарил человека Господь!

Ездовые варили остатнее хлебово. В котле булькало, донося сытный дух до возка. Кто-то шел с хворостом, большие тени двигались в трепещущем пламени. Прямо на земле, под возами, завернувшись в попоны, дремали отужинавшие кмети... Где-то есть Индей-земля и в ней чудеса неведомые, зверь инорог, птица феникс, что живет тыщу лет и воскресает из пламени огня, и нагие мудрецы-рахманы, и храмы чудесные... Как бы сладко было дойти и туда – через горы и царствы, пустыни и реки – и озреть все тамо сущее, и беседовать с теми мудрецами-рахманами, яко же и Александр Македонский! Струи гаснущих искр сливались со звездами; небо плыло, кружась и мерцая. Вот сорвалась и пролетела куда-то спелая звезда – не подумал, не замыслил ничего, а чего и желать? Скоро воротит домой, учнет вновь строить стены, мирить бояр, уговаривать вятших и меньших, утишать плесковичей и князя великого, а пока, едучи, и отдохнуть мочно, и порадовати всему сущему! Полна благодати земля и жизнь земная!

Он задремывал. Звезды плыли уже не в отверстом окне возка, а где-то над самою головою, ласковые, теплые, и говорили, шептали что-то. А он плыл, задевая за звезды, за их мохнатые, словно примороженные еловые ветви, лучи, и даже больно ударился раз, другой о звезду... Его уже толкали нешуточно. Василий прочнулся, весь еще в кружении серебряных светил. Над ним склонился Олфоромей и сильно тряс за плечо:

– Вставай, владыко, садись на коня! Беда! Гонют по нас!

Сильно потеряв виски и щеки ладонями, чтобы проснуться, Василий Калика выбрался из возка. Гомонили сбившиеся в кучу кмети, в дымном свете догорающего костра маячил взмыленный конь и над ним – горбоносое горячее лицо, разбойные глаза, светлые космы из-под бараньей шапки. Завидя Калику, гонец из-под расстегнутой, шитой узором и отделанной резною кожею свиты достал грамотку, протянул с коня:

– Батка митрополит тебе, владыко, шлет!

Весело крутя головой, он зачастил в толпу:

– А я ить издалека вас узрел! Костер во-она отколе видать! Ну, мыслю, они! Некому боле! Даве-то баяли мне, что вы проходили, так уж по следу скачу! Двух коней запалил! – хвастливо прибавил посланец. Ему, боярскому сыну на службе у митрополита, нынешнее поручение было особенно по сердцу: и скачка, и удаль, и опасность, коею можно станет похвастать после всего.

Василий еще только разворачивал грамотку, когда подошел Кузьма Твердиславль, повторил строго:

– Беда! Гедимин кметей послал на переймы. Женуть по нас! Ратных, литвы, с триста душ, бают!

Феогност в грамотке писал о том же. Великий князь литовский послал за ними погоню, хочет перенять владычный поезд и увести в полон. Василий поднял очи, еще не понимая. Спросил:

– Почто ныне-то?

Олфоромей Остафьев, вступив в круг огня, изъяснил почти грубо:

– Почто? Эх, владыко! С Арсеньем, вишь, не вышло у него, дак теперича засадит тя где ни то в Литве и станет твоим именем Новый Город под себя склонять! А ты и жив будешь, а не сможешь противу, что тогда? При живом-то владыке ить и нового нам не поставят!

– Свое хочет взять, не мытьем, дак катаньем! – подхватил кто-то из ездовых.

Василий окончательно проснулся. Озрелся с тревогою. Везде уже шевелились, свертывали стан, снимали шатры, торочили коней.

Горбоносый волынец, испив прямо с коня горячего взвару, покивал, попрощался, рассыпая улыбки и подмигивая, прокричал:

– Не горюй, браты!

Поднял коня на дыбы, поворотил лихо и ударил в ночь, в темень, только сухой топот копыт, замирая, прошумел вдалеке.

Бояре, посоветовавши, приступили к Василию. Начал Кузьма:

– Олфоромей вот советует митрополичьи возы, с еговыми ездовыми, послать дорогою, пущай их и ловят! А самим – верхами – уклонити к Чернигову зараз! Выдержишь ле, владыко?

Василий покивал согласно.

– А не то люльку о дву конь сделаю? – подхватил Олфоромей Остафьев.

– Не нать, Олфоромеюшко! – возразил Василий и поглядел весело: – Уходить нать, дак и подержусь!

Он взобрался в седло подведенной ему кобылы, поерзал, усаживаясь плотней. Ночь уже засинела, поля приодел туман. Делились, перекладывая что подороже – казну и серебро – в торока поводных коней, прощались.

Ратьслав, митрополичий протодьякон, что провожал новгородский обоз, уже сидел на коне. Ему Феогност отписал особо, и протодьякон с двумя слугами готовился ныне довести новгородского владыку укротным путем до Чернигова.

Кмети опружили котел воды в костер, с шипением взмыло облако серого пара, остро пахнуло сырым горячим угольем, словно на пожаре, и тотчас холодная передрассветная тьма обняла, охватила все: и возы, и коней, и всадников. В темноте кто-то принял повод Васильева коня, кто-то окликал, пересчитывая, людей; уже заскрипели оси возов, а верховые, один по одному, потянулись в сторону по темному полю, мимо темных сулонов хлеба, темными острыми очерками промаячив на синеющем небосклоне, уже порозовевшем с краю и отступающем от земли. Спустились в лог, в струю холодного тумана и теплого понизу, нагретого за день воздуха из-под кустов, один за другим пропадая в плотно сгустившейся белой и уже начинающей незримо клубиться мгле.

Ехали до рассвета, петляя по кустам. Солнце уже встало светлым столбом и вот показалось, брызнуло, разогнав туман, зажегши алмазами росу, осветив и согрев всадников, выезжавших вереницею на угор. Здесь, остоявши, посоветовались и вновь уклонили, теперь к пойме



небольшой речушки. Поймою, хоронясь по-за берегами, ехали не останавливая, до полудни. Тут только остановили передохнуть и покормить коней. Кмети жевали хлеб. Оседланные кони, мотая головами, засовывали морды по уши в торбы с овсом, хрупали, переминаясь, позвякивая отпущенными удилами. Василий с облегчением – не навыв ездить верхом, так и размяло всего! – уселся в приготовленное ему из войлочной толстины место, выпил квасу, от хлеба отказался – есть не хотелось совсем. С удовольствием чуял, как издрогнувшее за ночь, а потом взопревшее на жаре тело ласково сушит теплый ветерок. В изножии пологого холма стояли юные березки, листву коих кое-где уже ярко окропила близкая осень. Божий мир был чуден по-прежнему!

Задержались они только у Днепра. Не было перевозу; пока искали лоды, пока плавились – упустили время и, верно, дали знать о себе. Уже в виду Чернигова их нагнал киевский князек Федор, Гедиминов подручник, с баскаком и пятьюдесятью человек дружины из татар.

К владычному поезду за Днепром пристали купцы-новгородцы, стан был многолюден, и Кузьма с Олфоромеем порешили не даваться татарам. Стали в западинке на холме. Нашлись лопаты, кто и саблей, кто и ножом – обрыли стан, загородились кольями, дерном. Князек, возможно, и от себя деял разбой, литвы не было с ним. Татары подъезжали с ругательствами, коверкая русскую речь, требовали датися в полон. Олфоромей в кольчатой рубахе и шишаке подымал лук, грозил, сам загораживаясь щитом от стрел татарских. Купцы перепали; слуги, у кого не было оружия, лежали ничью, укрыв головы толстинами. Двух-трех ранило. Василий Калика сидел, сцепив пальцы рук, и молча молил Господа. За себя он не боялся. Худо будет не ему – Нову Городу. За Новый Город и молил он Всевышнего, молча шевеля губами.

Сидели так, орали, грозились с той и другой стороны до вечера. Новгородские кмети кричали неподобное. Татары и сам князь не оставались в долгу. Будь поболее оружия да народ побойчее, Олфоромей с Кузьмою, может, и ударили на татар, но с купцами, что лежали за товарами, уложив на землю лошадей, да с челядью владычною много не навоюешь! Из утра к Федору подошла помочь. Дело принимало дурной оборот. За ночь новгородцы углубили ров, попрятали погоднее людей, да что толку! Тута не перезимуешь! Да и пожди того боле – литва подойдет! Ратьслав взялся вести переговоры. Вышел, высоко подняв крест. Две-три стрелы пропели у него над головою. Воротился протодьякон через час, довольный. Князь Федор за окуп обещал отпустить поезд владыки домовь. Подумавши, – было боязно: а ну как и серебро возьмет, и не выпустит! – все же, кряхтя, собрали кошель гривен-новгородок. Татары, покричав, отошли. Ратьслав с Олфоромеем и двумя кметями понесли серебро.

Киевский князек встретил их, сидя на раскладном столце, уставя руки в боки. Долго сверлил глазами того и другого, долго толковал, ломаясь и величаясь перед ними. Баскак глядел остро и тоже словно их обоих на рынке куплял. Когда Федор, нагло гляючи в глаза Олфоромею, сказал, что заберет того и другого с собой, татарин покрутил башкою:

– Не надо! Серебро бери! Их выпускай! Пайцза у них!

Федор зачванился, еще поспорив с баскаком. Олфоромею отпустил, Ратьслава же оставил у себя пленником. Ратьслав тихо шепнул вздумавшему было возмутиться Олфоромею:

– Оставь! Себе на беду деет!

Возвращаясь, Олфоромей все ждал в спину татарской стрелы... Обошлось, слава Богу! Уже был готов и сам лечь, и в полон датися, лишь бы доправить в Новый Город владыку живого и невереженного!

После встречи с князем Федором шли, наверстывая упущенное, день и ночь. Кони шатались, люди спали с лица. Начинались дожди, размякали дороги; все были в грязи, в сыром платье. Почасту не разжигали и огня.

Василий Калика терпел, читал молитвы, стараясь отрешатися от бренной и слабой плоти, хотя порою уставал до бесчувствия, и на привалах его одеревенелое тело бояре бережно сни-

мали с седла. Василий улыбался, заставляя себя вставать, ходить, сам успокаивал и утешал слабых.

Начались наконец дебрянские леса, в коих могла и рать целая исчезнуть невестимо для литовской погони, и поезд архиепископа новгородского словно пропал, растаял, растворился в шорохе листьев, в рябом осеннем лесу, в обложном упорном дожде, лучше всяких засек перекрывшем пути и дороги.

## Глава 19

Феогност узнал о разбойном нападении киевского князя на владыку Василия вскоре. Князю Федору не повезло на обратном пути. У него стали подыхать кони, что молва приписала святотатству князька. Пеши и измучены, незадачливые грабители едва добрались до домов. Ни поведать путем о деле, ни повестить Гедимину князь Федор не мог. Великий князь литовский тотчас спросил бы, почто были отпущены пленники, и еще того пуще – заставил бы отдать новгородское серебро в великокняжескую казну! А потому и с протодьяконом Ратьславом Федор не знал, что делать теперь. Потребовать выкупа? С кого, с митрополита? Федор чесал в затылке, уже крепко досадуя на себя, а тем часом о плене Ратьслава донесли Феогносту, и митрополит вскипел. Обещал отлучить князя Федора от церкви, наложить проклятие на весь Киев (он мог бушевать, понеже Федор действовал яко тать и не исполнил Гедиминовой воли). Пришлось Федору срочно отсылать Ратьслава во Владимир без всякого выкупа да еще виниться перед Феогностом, выслушивать от того укоризны и хулы: «Срам еси князю неправду чинити, и обидети, и насильствовати, и разбивати». Так, зело смягчая и изрядно сократив гневные поношения Феогностовы, передавал впоследствии летописец отповедь, полученную незадачливым князьком от митрополита русского.

Однако, выручив своего протодьякона и сорвав гнев на князе Федоре, Феогност всерьез задумался о дальнейшем. Подходила зима. В пограничье меж Литвой и Ордою начинались сшибки уже нешуточные. Осенью Гедимин послал сына Наримонта на татар, но тот был захвачен в полон в неудачливом сражении с ордынцами. Ежели возникнет большая война, по всей здешней украине пройдет, обращая города в руины, а села в пепелища, татарская конница. И что тогда? Уезжать в Вильну, под руку Гедиминову, с коим отношения были испорчены после отказа Арсению всеконечно?

Сам не признаваясь себе в том, Феогност чуял, что глупый разбой киевского князя (у коего он недавно гостил во граде!) его доконал. Ежели и такие вот, вроде бы близкие, игемоны, крещенные в православную веру, не требуют грабежом митрополичьих людей и имущества в здешней земле, то что говорить о прочих? О язычниках или католиках? Нет, холодно стало на Волыни и неуютно весьма!

В нем закипало раздражение противу палатина и синклита; противу неудачника императора, который терпит на войне одни поражения и, в призрачной надежде спастись, хочет отдать греческую церковь под начало римскому папе; даже на патриарха с его причтом: не ведают, что содеялось тут! «Скифия»! Тот-то, Федор Киевский – прямой скиф! «Царский скиф!» – исходил желчью Феогност, меряя шагами моленный покой. И сиди на митрополии в Киеве! У такого-то! Высидишь! А сами-то хороши! «Не мирволить владимирскому князю!»! Тогда – кому мирволить? Язычникам? Католикам? Может, Ордену? Этим «божьим дворянам», как их зовут в Новгороде, убийцам и разбойникам! Что они все думают там, в Константинополе? Что он волен изменить течение времен? Поднять из могилы Ярослава Мудрого? Или, может, крестить Гедимина? Самому любо! Да токмо – крести его, попробуй! Это Пселлу вольно было учить императоров риторике да услаждать их слух красноречием, а здесь – кому оно надобно? Скажут – как отрубят! А надо – и сами красно баять горазды. Ничем тут никого не прельстишь. Писать патриарху? Без толку. Ничего не изъяснишь издалека, ничего и не поймут! Надо ехать

самому. Отселе в Царьград. Он впервые назвал родной город славянским именем. Оттоле в Орду, к Узбеку, с коим надлежит поладить. А из Орды... Из Орды во Владимир-Залесский, иного пути нет! К Ивану Данилычу. В конце концов, не так уж он и плох, по крайней мере, прямых разбоев над церковью не творит!

## Глава 20

Добравшись до Брянска (или Дебрянска, так чаще называли град в старину), отдыхали, приводили в порядок себя и коней. Брянский князь, недавно выдавший дочь за юного Василия Кашинского (последнего из сыновей убиенного в Орде Михайлы Тверского), радушно встречал и чествовал новопоставленного новгородского владыку. Остановили в Свенском монастыре, на горе. Вокруг церквей и келий широко раскинулись вишневые, грушевые и яблоневые сады, а с холма, со стрельниц, далеко и широко виделись леса, цветные по осени, и светлая излучина Десны внизу под горою синела или серебрилась от набегавших влажных туч. В пределах брянских Василию уже не пришлось трястись в седле. Его везли в лодье, бечевою. Кони шли по берегу. Поворачивала река, быстрая от осенних дождей, проходили берега, на них – слободы, городки, погосты, подчас свежесрубленные. Здешняя лесная сторона полнилась народом, ухажившим от обезлюженного Чернигова, от постоянной угрозы ратной. Покинув Десну, вновь ехали переволоками и опять плыли, уже Окою. От Коломны вновь тянули лоды бечевою. В конце октября достигли наконец Москвы и, не задерживаясь (князя не было в городе), пересев на коней – Калике опять достали дорожный возок, – устремились дальше.

Дожди прошли, близилась зима. Уже летела первая снежная крупа на подмерзающую землю, на жухлый лист, на сизые, потерявшие цвет, седые, с последними клоками яркой осенней украсы леса, на темные – в чаянии близкой зимы – пустые и гулкие боры, на сжатые нивы и потемневшие от влаги стога. И воздух был пронзительно горек и свеж, радостный осенний воздух близкой родины!

Прошли Тверь. Через Волгу, хмурую, тяжело-стремительную, возились ночью. И вот уже побежала с холма на холм знакомая волнистая дорога. Кмети тянули шеи, привставали в стремени: скоро ли? Сами кони и те чуяли, ржали, переходили на рысь. В Твери путники узнали, что в Новом Городе, не имея ни вести, ни навести, их уже оплакали, тем паче кто-то принес злую молвь, якобы литва яла владыку, «а детей его избиша», – так что и Кузьма Твердиславль, и Олфоромей ворочались словно с того света.

В Торжок прибыли третьего ноября. Еще подъезжая к городу, завидели оживление и толкотню, а ближе узнали от встречных, что в Торжке великий князь Иван Данилыч с дружиною. Их уже у городских ворот окружила радостная толпа: хватали, гладили, не веря тому, что живые, крестясь, теснились к возку архиепископа. Василий, высываясь, благословлял направо и налево, его ловили за руку – поцеловать, притронуться, у иных жонок слезы стояли на глазах:

– Приходчи, осподи! Васильюшко ты наш! Заждались! Уж и не чаяли живых-то узрети! А истощали вси! Да как отерхались, обносились! Андели!

Бабы уже и калачи совали комонным. В воротах, где поезд, стеснясь, не мог пробраться сквозь толпу, какая-то жонка с мокрыми от радостных слез глазами поила ездовых молоком из деревянного ведерка. Черпала глиняной плошкой и подносила каждому, и мужики серьезно принимали и испивали, утираясь, и сами крестились радостно. Не близок еще Новый Город, а уже, почитай, и дома, уже родная, новогороцкая земля!

Ударили в било на воротах. Отозвались колокола в Детинце. И пошло радостным звоном по всему городу. Московские ратные любопытно оглядывали новгородский обоз. Подъезжали какие-то бояра, прошали, кто и откуда. Уже поскакали повестить великому князю о приезде владычного поезда.

Василий Калика, мало передохнув, сам отправился к московскому повелителю на поклон. Иван Данилыч принял владыку учтиво, подошел под благословение, сам усадил за стол. Трапезовали с немногими боярами, слуги носили блюда. Василий, мало вкушая, приглядывался к великому князю. Иван постарел и, виделось, был скорбен, хоть и не являл того на люди. Порою, внимая рассказу Василия, взглядывал сумрачно и вновь опускал глаза. В густых волосах московского князя кое-где проблескивала седина, которой раньше не замечалось.

«Годы под уклон пошли! – думал Василий. – А еще крепок! Не было бы худа от него Нову Городу!»

О том, что Гедимин потребовал всадить сына своего Наримонта на новгородские пригороды, Иван уже знал. Дошла весть из Литвы. Наружно, однако, не оскорбился ничем, не зазрил, не нахмурил даже, выслушав о том еще раз от Василия. Видно, решил что-то про себя заранее. Говоря про Гедимины, раз или два называл его «братом». Узнав о нападении на владычный обоз Федора Киевского, глянул прозрачно и строго. Вымолвил:

– Надеюсь, брат мой Гедимин накажет примерно разбоев сих!

И только в конце беседы уже вновь спросил Калику о Наримонте: правда ли, что захвачен Ордою на бою? Покивал. Подумал. Подымаясь из-за стола, вновь подошел под благословение.

Мрачен был Иван не даром. Весной, после того как в мае погорел весь Кремник, сильно занедужил и к исходу осени умер великий московский боярин Федор Бяконт, правая рука князя во всех делах посольских и господарских. Иван сам сидел у постели больного, сам закрыл глаза усопшему, сам стоял у гроба на похоронах. И теперь, направляясь из Новгорода Великого в Орду, к хану Узбеку, Иван с особою болью вспоминал Бяконта: как не хватало сейчас его совета, его мудрости, даже его старческого, с придыхом, тяжелого сопенья. Задумавшись, Иван иногда ловил себя на том, что словно бы опять и вновь слышит старика. Из бояр отцовых, ближних, оставался, почитай, один Протасий, седой, костистый, воистину бессмертный старец. Но и он нынче больше мыслил о Господе, чем о делах, почти передав тысяцкое сыну Василию.

Приходит час, когда, оглянувши кругом, видишь, что те, к кому, как и в юные годы, прибегал за советом, уже ушли, отойдя мира сего, и некого спросить по нужде, и не к кому прибегнуть, един Господь прибежище, и един он утешитель в скорби! А тех уже нет – и хочешь того или не хочешь, готов или нет к тому, – а уже сам-один прибежище и утешитель молодых себя, сам ты тот старец, к коему идут за советом юные. Возможешь ли ты не угасить света отчего? Возможешь ли сохранить и передать другим переданное тебе пращурами твоими? Возможешь – будет жив род твой и племя твоё, и свеча твоей памяти не угаснет!

## Глава 21

Восьмого декабря, на память святого Потапия, в день недельный, Новгород праздничным звоном и толпами граждан, вышедших далеко за ворота, встречал своего архиепископа. Старый неревский боярин Варфоломей Юрьевич расплакался, увидав наконец Василия Калику, «своего» попа, коего сам снаряжал весною в далекий поход. И владыка, обняв боярина, долго утешал, теперь уже на правах старейшего властью и званием, старопрежнего друга своего.

А пока в Новгороде служили молебствия, творились встречи и пиры, великий князь Иван отправлялся в Орду.

Собственно, он выехал из Москвы даже раньше, чем Василий Калика достиг Новгорода. Медлить было и некогда. Узбек звал к себе. Хану опять требовалось русское серебро.

Не без злорадства Калита подумывал о том, сколь бездарно расходует Узбек доходы со своего русского улуса. Все уходило в жадные руки невероятно разросшейся и громоздкой иерархии разных чинов и начальников, крупных и мелких, заполонивших Сарай и прочие ордынские грады. Потому и в войнах неуспешен, потому и с Кавказа ушел и от Литвы терпит

уруны! Гедимин, однако, становится все опасней. Пора хану вмешаться, не то заберет под себя и Смоленск и Подолию! И об этом следовало поговорить с Узбеком. Токмо осторожно. Намеками. И о Твери. Пущай утвердит Костянтина на тверском столе! Александр, воротившийся во Плесков, висит над ним постоянной угрозой. А все великая княгиня Анна! Матери боится Костянтин, и жена не возможет противу нее! (На племянницу, Юрьеву дочь, супругу Константина Михалыча Тверского, Калита возлагал надежды немалые.) Нынче князя Костянтина он повезет в Орду вместе с собою. Авось и склонит хана к чему путному...

А главное, почему приходило ехать к хану не стряпая, – это была судьба града Владимира. Суздальский князь Александр Васильевич умер на днях. Сейчас поспешить – и все великое княжение будет в его руках!

Больная Елена просила:

– Не езди! Погоди, скоро уже... Чует сердце: не дожить мне!

Сын Симеон, заботно заглядывая в очи, предлагал послать его наперед к хану. Иван, молча отрицая, потряс головой. Ехать должен был он сам, только сам. Везти серебро, жестоко добытое им грабежом Ростова. (Еще в конце марта умер Федор Васильич Ростовский, и Иван тотчас наложил руку на Сретенскую половину города, принадлежавшую покойному. Молодой зять Ивана не смел возразить всесильному тестю.) Кочева с Миною потрудились немало. Передавали позорища самые безобразные. Градского епарха, Аверкия, москвичи, выколачивая дани, повесили за ноги, отпустили едва живого. Город роптал и разбежался... Но серебро – вот оно! Станет чем задобрить хана, чем заплатить за великий стол, за власть, столь необходимую для его замыслов, дел и свершений.

Последнюю ночь он сидел у постели больной жены. Сидел, с ужасом думая, что и она вскоре уйдет следом за Бяконтом. И что останется ему? С кем останется он?

Елена лежала тихая, изможденная. Рука была у нее влажная и дряблая, совсем неживая, все косточки прощупывались насквозь под желтой кожей. Иван, приняв ее ладонь в свою, едва сдержал подступивший к горлу жгучий комок. Она долго глядела на него, вымолвила тихо:

– А ты остарел... тоже... – Подумала, отведя глаза, спросила: – Кого губить нынче замыслил? На Ярославль, поди, кинешься? Ростов-то излиха пограбил? Не жаль тебе дочь свою!

– Ограбил, Елена! Ограбил я Ростов! – с жестокою горечью отозвался Иван. – Теперь везу серебро хану! Пойми и ты меня!

– Не понимала б, не жила с тобою... в монастырь ушла... – тихо отозвалась жена. – Дак не пождешь? Поедешь?

– Поеду. Ждать недосуг. Прости, коли мочно, Оленушка! Да и, даст Бог, увидимся ищю. Ворочусь вборзе!

Елена подумала, покачала головой:

– Деток не обидь, молодых... Всего Семену не давай!

Иван пал лицом на подушки, прижался, глотая слезы, к потному виску, к дряблой щеке Олениной. Она тихо гладила его по затылку, вспоминая, как ласкала когда-то. Теперь казалось, уже и очень давно, чуть ли не многие годы назад! Не хотелось отпускать. Чужало сердце, что более не увидит. Пересилила себя, сказала:

– Поди, повались на мал час! День-от трудный грядет у тебя.

Утром Иван вызвал Протасия и, стараясь не глядеть в глаза старому тысяцкому, попросил об услуге:

– Из Ростова бегут. Бают, сирые там, разоренные, всяки... Дак ты поезжай, повидь тово! Может, и к нам привести, под Радонеж. Я те места по духовной младшему своему, Андрею, оставляю. Дак и населить мочно!

Старый тысяцкий не выказал ни удивленья, ни радости. Отмолвил:

– Погляжу, князь-батюшка! Сам поеду. Людей отберу добрых. Хлеба, снедного припасу надоть попервости.

– Леготу им устрой, я грамоту дам!

– Само собой, батюшка-князь! Народ истомленный, да и так – новы земли, поди распаши их да устрой дома, и хлевы, и все прочее. – Подумал, пожевал губами, поглядел прямо в глаза князю. Прибавил: – Да и для души легче! Сирого приветить – иной грех Господь в доброту зачтет!

Не одобрял даже и Протасий грабительства ростовского.

Утром из Москвы на Коломну потянулись возы и возки, верхоконные кмети и снова возы и сани с различным добром. Двигались, уходили, покидали город, на ходу прощаясь с оступившими дорогу посадскими жонками. Иван верхом, в бобровой круглой шапке, выставив бороду неощутимо отцовым движением, Даниловым, озирает спускающийся с горы бесконечный обоз. Князь Константин осаживал нетерпеливо рвущегося скакуна, готового ринуть вскок вослед проходящей коннице.

– С Богом! – последний раз перекрестясь, произнес Иван, махнул рукавицей провожавшему его сыну и под колокольный звон новостроенных церквей московских тронул коня.

## Глава 22

После московского разоренья жить стало невозможно совсем. В порушенном доме ростовского боярина Кирилла только и речей ныне: куда подаваться? В Белозерско – дак и дотоле уже досягнули долгие руки москвиты... На Шексну али Сухону? Страшно, не своя сторона! Посылавали слухачей и в Устюг, и в Тотьму, судили и рядили так и эдак, съезжались родней, с Тормосовыми, и вновь судили-пересуживали, и все об одном: куда бежать? Где найти укрытый угол, землю незнаему, за какими горами, морями ли, за какими лесами синими затаить, сокрыти себя от злобы людской, от власти ненасытной и предерзостной, не ведающей святынь отних, ни добрых навычаев старины? Куда спастись от московской грозы?

Ныне вновь ожила давняя легенда о Китеж-граде, и уже не татары Батыевы разумелись в предании том, не от них – от московского деспота уходил в глуби озерные зачарованный город.

Да ведь и велика же Русь! Протянулась непроходными дебрями семо и овамо, где весь, чудь, самоядь, дикая лопь и иные языки неизвестные! Можно и не на серебре, можно и без сорочинского пшена да ягод винных. Можно и в лаптях, и в посконине порою... Лишь бы свое, человеческое оберечь от гнуса и смрада, от унижения всеконечного, когда в лицо тебе наглый победный смех, и речи поносные, и заушение, а ты только низишь глаза или уж – коли душно станет и сердце сожмет во грудях – закричишь слезно и жалко, не ведая, камо рещи... Чем и как помочь себе в сраме и скверне, как спасти нажитое годами и трудами, тут враз потерянное прежнее достоинство свое?!

...Единая свеча, оплывая, разгоняет сумерки в высокой боярской горнице. Две, чудом спасенные, погнутые и невзрачные видом серебряные чарки стоят на столе среди глиняных и деревянных кувшинов, мис и тарелей. Боярин Кирилл с Тормосовым сидят, горюнясь над недопитыми чарами кислого меду. Мария штопает старые дитячьи порты, благо уже ночь и не перед кем чиниться сейчас. Сторонний человек не зайдет, не осудит. Проходящая старица, давняя знакомая Марии, рассказывает неспешно и устало, и голос ее звучит из темноты, словно доносясь откуда из дали дальней:

– В Заволжье было то, в лесах непроходных. Ноне и зраку нету, ни пашен, ни полей, все бором дремучим заросло. Озеро одно, ясное-ясное, и звоны, верным людям одним только и слышимые... Татары, вишь, искали полонить, ан Китеж туманом одело, и неслышимо так, незримо, тихо таково! Татарчонок один подбежал к воде, а тамо и зрит: град под водою, и дома, и костры, и церкви Божьи, и звоны колокольные – все по-старопрежнему, вишь, как при дедах-

прадедах было, и не порушено, и не разорено, а и недостижимо уже содеялось ни для каких находников, ни для татарinov тех...

– Ни для московитов! – глухо подсказывает Тормосов.

Оба согласно кивают головами. Дратся, отстаивать святыни ныне нельзя. Остается одно – бежать, сокрыти себя, яко Китеж-град, в лесах потаенных, в зачарованной глубине вод... И тяжко клонит боярин обнесенную сединою голову, ибо и бежать ныне, кажется ему, стало уже некуда.

Кирилл с горем чуял и видел, как доконал его московский раззор. Слуги стали совсем поперечны и грубы, чего накажешь – не содеют вовек. Опомнясь сам взялся за секиру: взамен ленивого раба начал рубить дрова на заднем дворе. Начал сильно, да, задышавши, взопрев, скоро и бросил. Прошло, прокатило! Куда исчезли силы и на что истратились годы невозвратные? Бывало, тою же секирой играючи валил деревья; бывало, одною рукой, взявши под уздцы, останавливал он шалого коня! Не в той ли ордынской пыли, в долгих и пустых посольствах княжеских, не в той ли думе ростовской, где всё только и решали, как бы и за чью спиной удобней прожить, исшаяли силы богатырские? И на что ушла вся жизнь, и было ли что истинно великое в ней, в жизни великого боярина ростовского, или так, даром, впусте и попусту... Вот мочи уж нет, и как наново начинать жизнь? Не сыны бы, не отроки – впору и в монастырь подаваться!

Дети ходили смурые. Старший, Стефан, надежда отцова, тот уж и из себя выходил, почернел, почти забросил ученье (а был, как баяли, ума высокого и науку постигал легко). Так-то, примолвить, отроки из боярской семьи долго могут не замечать надвигающейся гибели дома! Ну каша взамен белой, сорочинского пшена, является пшенная на столе, ну коней поменело на дворе, ну шелковые порты стали надевать по одним лишь праздникам... Для второго сына, Олфоромея, что наповадились отдавать рубахи прохожим беднякам и потому, ради береженья, вечно ходил в посконине, то было и незаметно совсем. Да и не тем была занята голова юного отрока, что сызмлада, упрямо, не слушая увещаний матери, соблюдал все посты и часами выстаивал на молитвах...

Но все то было допрежь, до часу, теперь же не токмо Стефану, но и Варфоломею, почти младеню сушу, приходило задумывать о грядущей их невеселой судьбе. Он с надеждою взирал на обожаемого старшего брата: быть может, Стефан придумает что-нибудь, что разом спасет и отца в его унижительной бедности, и мать в ее бессонных заботах, и весь их ветшающий дом? Но ничего не мог надумать Стефан, лишь мрачно сжимая кулаки, меревший горничный покой большими шагами. Рушилось. Военные послужильцы один по одному разбредались кто куда. На семью великого боярина Кирилла зримо и страшно опускался мрак всеконечного оскудения.

Тут и спас их стрый отцов, Онисим, как-то о Пасхе ворвавшийся в дом радостный, громогласный, с диковинною вестью в устах. По его сбивчивому рассказу выходило, что сам маститый тысяцкий Москвы, Протасий, созывает убеглых и оскудевших ростовчан переселяться на земли Москвы. Дают леготу на пять лет и справу на первое обзаведение.

К Ивану Данилычу? Ко вчерашнему лютному ворогу своему?! К тому ж, век проведя в думе княжой, так привык Кирилл держаться Твери и тверского княжеского дома, что сказанное стрьем в голове не умещалось никак. Кричали, даже поругались, едва не впервой. Криком выходила обида, погубленная жизнь, бессилие перед днешней бедой. Но, поспорив досыти с Онисимом, погадав, помыслив, потолковав ночью с Марией, вдруг как-то, сам для себя, начал Кирилл понимать и принимать неподобную попервости весть. И место было названо – Радонеж, в полутораста поприщах от Ростова всего, не надо забираться в дальние дали, где ай проживешь, ай погинеешь с семьей непутем... И уже стало ясно, что ехать надо. Не минуешь, не усидишь за князем своим, что и сам целиком повязан Москвой. Начались хлопотливые сборы.

Стефан бегал горячий, пламенный. Варфоломею походя бросил как о решенном:

– Едем в Москву!

– В Радонеж! – поправил брата Варфоломей, которому по нраву пришло незнакомое красивое имя. Стефан подумал, кивнул как-то лихорадочно-сумрачно, повторил нетерпеливо: «На Москву!» Умчался, как убегал всегда, отмахиваясь от маленького Олфоромейки. Кая труднота ожидает их – не важно. Но в судьбе, в коей поднесь все только испавало и рушило, явились смысл и цель, словно слепительный просвет в тяжких тучах, словно предвестие ясных весенних дней – на Москву!

Варфоломей, брошенный братом, вышел на крыльцо, постоял, подумал, ковыряя носком сапога гнилую ступень. Спустился в сырь просыхающего сада. Была та пасмурная пора весны, когда все еще словно медлит, не в силах пробудиться от зимнего сна. Небо мгристо, еще кое-где в частолесье белыми островами лежат снега. Набухшие почками ветки еще ждут, еще не овеяло зеленью вершины берез, и если бы не отвычно легкий воздух, неведомую печалью далеких дорог наполняющий грудь, то и не понять: весна или осень на дворе?

Он оглянулся, вдохнул влажный холод, поежился от подступившего озноба и вдруг впервые увидел, понял, почуял незримо подступившее окрест одиночество брошенных хором, опустелых хлевов, дичающего сада, огородов, покрытых бурьяном, поваленных плетней, за которыми во всю ширь окоема идут и идут по небу серые холодные облака. Долгие ли ночные молитвенные бдения, посты ли, налагаемые им на самого себя, так обострили и обнажили все чувства Варфоломея? Или шевельнулось то, смутное, что уже погнало в рост все его члены, стало вытягивать руки и ноги, острить по-новому кости лица, то, смутное, что называется юностью? Варфоломей был не по летам рослый отрок, сильнее и выше своих сверстников. И в нем уже начал означиваться край того пушистого, нежного и ясного, что зовется детством и что готовилось окончиться в нем. Еще не скоро! Еще не подошла к нему сумятица чувств, и глухие порывы, и первые проблески мужества (хоть и рано выросли дети в те года), но уже в обостренной остранинности зора, коим обводил он родное и уже как бы полурастворенное в тумане жилье, предчуялась близкая юность, пора замыслов, страстей и надежд...

На мгновение ему поблазнилось, словно и правда уже вымерло всё и все уехали туда, в неведомый и далекий Радонеж. Он стоял, подрагивая от холода, и не думал, а просто глядел, ощущал. Что-то ворочалось, возникало, укладывалось в нем неведомо для самого себя, о чем-то шептали безотчетно губы. Грубые московиты, что жрали, пили и требовали серебра у них в доме, это было одно, а князь Иван, пославший ратников за данью, и неведомый московский городок Радонеж – совсем другое. И одно не сочеталось с другим, но и не спорило, а так и существовало, вместе и порознь. Это была взрослая жизнь, которой он еще попросту не постиг, но которую должен, обязан будет постичь вскоре. Сейчас об этом просто не думалось.

Волнистые, шли и шли над землею бесконечные далекие облака.

– Господи! – прошептал он, поднимая лицо к небу. – Господи!

Юность? Или горний знак Господень? Или весна? Коснулось незримо, овеяв его чело. На миг, на долгий миг исчезло ощущение холода и земной твердоты под ногами и его как бы унесло туда, в это волнистое небо, в далекую даль, в пасмурную истому ранней весны.

Так Варфоломей, уже загодя, простился с домом своим, и уже все дальнейшее: сборы, ожидания, наезды Тормосовых, что тоже переселялись в Радонеж вместе с Кириллом, – шло мимо, мимо, мимо, оставляя одно – скорей!

И вот наконец долгий поезд, составленный из разномастных повозок, возков и телег, и скотинное стадо, ведомое знакомыми пастухами, зареванные жонки, мужики, бояре и челядь, благословясь, помолясь, набрав родимой земли в ладанки, с плачем, возгласами провожающих, бесконечным маханьем платков, поцелуями и воем, тронулись в далекий путь. Прощай, родимый дом, прощай, Ростов!



## Глава 23

В Радонеж приехали ночью. От холода и усталости пробирала дрожь. Тело, избитое тележною тряскою, совсем онемело, а сон одолевал до того, что перед глазами все начинало ползти и плыть. Хотелось лишь куда бы ткнуться, хоть в какое-то тепло, и уснуть. Младшего братишку, Петюшу, сморило так, что холопы выносили его из телеги на руках. В темноте они стояли, дрожа словно куры под дождем, маленькой жалкою кучкой, потом куда-то шли, спотыкаясь, хлебали, уже во сне, какое-то варево, носили солому в какой-то недостроенный дом, с кровлею, но без потолка, отчего в прорехи меж бревнами лба и накатом виднелось темно-синее небо в звездах. Тут, на попонах, тюфяках, ряднине, накинув на себя что нашлось теплого под рукой – толстины, попоны, зипуны, – они все и полегли вповалку спать: слуги, господа и холопы, мужики, жонки и дети. Варфоломей едва сумел пробормотать молитву на сон грядущий и, как только лег, обняв спящего Петюшу, так и провалился в глубокий, без сновидений, сон.

Утром он проснулся рано, словно толкнули под бок. Все еще спали, слышались богатырские храпы и свисты уломавшихся за дорогу мужиков. Какая-то жонка хрипло, спросонь, угаваривала младеня, совала ему сиську в рот. Прохладный воздух свободно вливался сверху, овеивая сонное царство. Меж тем небо уже посветлело, стали видны начерно рубленные, еще без окон, стены в лохмах плохо ободранной коры и висящие над головою переводины будущего потолка в сосульках свежей смолы. Варфоломей тихо, чтобы не разбудить братика, встал, укрыл Петю поплотнее рядом и шубою и стал выбираться из гущи тел, стараясь ни на кого не наступить. С трудом отворив смолистое набухшее полотно двери, он по приставной временной лесенке соскочил на холодную с ночи, все еще отдающую ледяным дыханием недавней зимы, в пятнах тонкого инея землю и, ежась и поджимая пальцы ног, пошел в туман.

Бледное небо легчало, начиная наливаясь утреннею голубизной. Звезды померкли, и нежно-золотое сияние уже вставало над неясной зубчатою преградой окружных лесов.

Ясная, стояла близ деревянная островерхая церковь. Назад от нее уходили ряды рубленых изб, клетей, хлевов и амбаров. Над рекою, угадываемой по еле слышному шуму воды, стоял плотный туман. С краю обрыва, к которому приблизился Варфоломей, начиналось неведомое, за которым только смутно проглядывали вершины леса и светло-серый, почти незаметный на блекло-голубом утреннем небосводе крест второй церковки, целиком укутанной туманом.

Вот легко пахнуло утренним ветерком. Ярче и ярче разгорался золотой столб света над лесом. Белый пар поплыл, и в розовых волнах его открылся город – сперва только вершинами своих костров и неровною бахромой едва видного частокола меж ними. Городок словно бы тоже плыл, невесомый и призрачный, в волнах тумана, рождая легкое головное кружение. Жемчужно-розовые волны медленно легчали, тонышали, открывая постепенно рубленные городни и башни, вышки и верхи церковные. Наконец открылся и весь сказочный, в плывущем тумане, городок. Он стоял на высоком, как и рассказывали, почти круглом мысу, обведенный невидимою, тихо журчавшею понизу рекою. К нему от ближайшей церкви вела узкая дорога, справа и слева по-прежнему обрывающаяся в белое молоко.

Вот вылез огненный краешек солнца, сбрызнул золотом сказочные плывущие терема и костры, и Варфоломей, замерший над обрывом, утверждаясь в сей миг в чем-то новом и дорогом для себя, беззвучно, одними губами, прошептал:

– Радонеж!

Потом, когда светлое солнце взошло и туман утек, открылось, что не так уж высок обрыв и долина реки не так уж широка и вся замкнута лесом, и сказочный городок, как бы возникший из туманов, опустился на землю. Виднее стали где старые, где поновленные, в белых заплатах нового леса, стоячие городни. И костры городской стены, крытые островерхими шеломами и

узорною дранью, вросли в землю, как бы опустились, принизились. Но ощущение чуда, открывшегося на заре, так и осталось в нем.

Осклизаясь на влажной от ночной изморози, а кое-где еще и непротаявшей, твердой тропинке, он сбегал вниз, к реке, и напился из нее, кидая пригоршнями ледяную воду себе в лицо, и загляделся, засмотрелся опять, едва не позабыв о том, что его уже, верно, ожидают дома. И правда, по-над берегом доносило высокий голос Ульянии:

– Олфороме-е-ей!

Он единым махом взмыл на обрыв и тут в лучах утреннего солнца разом узрел и стоящий на курьих ножках смолисто-свежий, изжелта-белый сруб, и в стороне от него грудящихся под навесом коров, что уже тяжело мычали, подзывая доярок, и веселые избы, и розовые дымы из труб, и румяное со сна, улыбающееся лицо братика Пети, с отпечатавшимися на щеках следами соломенного ложа, взлохмаченного, только-только пробудившегося, и заботную Ульянию, и мужиков, и баб, что, крестясь и зевая, выползали, жмурясь, на яркое солнце, и залиvistое ржание коня за огорожею, верхом на котором сидел сам Яков, старший оружничий, прискакавший из лесу на встречу своего господина.

Звонко и мелодично ударили в кованое било в городке, и тотчас стонущими ударами стали отозвалось било ближней церкви. Грудь переполняло безотчетною радостью – хотелось прыгать, скакать, что-то, стремглав и тотчас, начинать делать.

– Ау-у! – отозвался Варфоломей на голос Ульянии и вприпрыжку побежал к дому, из-за угла которого ему навстречу уже выходил Стефан с секирою в руке, по-мужицки закатавший рукава синей рубахи. Начинался день.

## Глава 24

Вдоль долгих улиц Сарая мела метель. Ледяной снег вместе с замерзшей пылью больно сек лицо. Волга стала, и в город переправлялись по льду. Снег выбелил улицы. Мазанки Сарая стали как будто еще ниже. Верблюды жались к изгородям, мерзли. Мохнатые, в зимней шерсти, кони, ухватывая зубами пучки высокой травы вдоль заборов, прежде чем забрать ее в рот, фыркали, трясли мордами, стряхивая снег. Голубые минареты мечетей поседели от инея, поседели сады, поседели выложенные цветными изразцами дворцы ордынских вельмож. Холод был чужой, злой, пронизывающий насквозь, и страшно было видеть нищих, пробиравшихся вдоль заборов в худых опорках, а то и босиком по снегу, едва прикрыв тряпьем синее тело, и с надеждою взглядывающих на долгий обоз конных русичей, сытых, закутанных в шубы, в мохнатых шапках, в вязаных рукавицах и валенках, что подымались сейчас друг за другом от перевоза и, достигнув ровной дороги, со свистом и окриками переходили в рысь, уносясь на другой конец города, к русскому княжескому подворью.

Иван, как начали подыматься с Волги, откинул слюдяное окошко возка; резкий ветер тотчас ворвался внутрь – незнакомый, чужой, тревожный. Он немо смотрел на босоногих попрошайек, собак, лошадей и верблюдов, на глиняные дворы и жердевые плетни. Рука шевельнулась было подать милостыню и осталась недвижимой. Каждый раз, едучи сюда, собирался весь внутренне, каждый раз, подъезжая к Сараю, замирал, твердел, стараясь вызвать в себе тот потаенный подъем сил душевных, от коего паче, чем от слов, зависело все: и успех в делах, и милость ханская, и судьба Руси, и даже собственная жизнь. Недавно в Орде по приказу Узбека убили стародубского князя Федора Иваныча за малую вину – недоданное серебро, как баяли, а паче – за неловкое слово, не вовремя сказанное. Слово, стоившее ему головы...

Полюбить, заставить себя полюбить! Хана, его двор, жен и вельмож... Не прикинуться, нет! Стать другом Узбека! Еще и еще раз, как бы тяжело ни было, понять его, войти в душу, самому ся уничтожить пред величием воли ордынской! До дна души, до предела сил! Только

так! И тогда простится Ростов, и дастся Владимир и Дмитров с Галичем, мозолившие глаза вот уж который год!

Великое княжение владимирское должно быть великим до конца. Единым. С единой главой, единою волею. Его волею, Ивана Данилыча Калиты! И потому еще, и для того именно здесь, сейчас принизить, уничтожить себя до конца. Нет во мне гордости, нет и воли, все ты, великий хан, все твоя воля, паче солнца, паче жены и матери! Только так.

Вечером он уже объезжал вельмож ордынских. Лыстил и дарил, прозрачно-искренне глядел в глаза, готовно смеялся, присаживался по-татарски на кошму, отведывал кумыс, вел речи о конях и соколиной охоте. Про дело свое вовсе не упоминал или только скользом, словно бы и не за тем приехал в Орду. Знал уже, что так лучше с ордынцами. И не важно, кто перед тобою: сам беглербег, угощающий тебя на золотой посуде, сидючи на бесценных хорасанских коврах, или простой торгош ордынский, что сидит на пыльной кошме и пьет кумыс из медной чашки. Все одно с тем и другим сперва мех кумыса выпей да обо всем на свете перемолви, а после уж только о деле, с таким приехал к нему... Верно, и русичи одинаки, дак близ того не узришь, что издалека видать! И они нас, поди, в одно считают!

На четвертый день великого князя владимирского принял сам Узбек. Хан, по случаю зимней стужи, переселился в свой кирпичный дворец, сложенный для него хорезмийскими мастерами. Сидел на золотом троне, закутанный в парчу. После недавней смерти любимого сына Тимура в черной бороде Узбека появились белые нити, две резкие морщины пролегли вдоль щек. Уже не восточный красавец с точеным, выписным лицом – усталый под бременем власти человек сидел на золотом престоле, в окружении своих четырех набеленных, словно куклы, неподвижных жен, в сонме придворных, среди чеканных курильниц, золота, шелков и парчи. Калита кланялся, по-татарски прижимая ладони к сердцу. Слуги носили дары. На беседу с ханом его позвали несколько дней спустя.

Теперь уже не было ни той пышности, ни того отстояния, когда хан – золотое божество на престоле. Узбек сидел на войлочном ковре, в лисьей шапке и простом разноцветном халате. Медные жаровни струили тепло, но хану все равно было холодно. Он заметно подрагивал, кутаясь в свой мелкостеганный, подбитый верблюжьей шерстью халат. Блюда, кожаные тарели с мясом, подносы с рыбою, буза и вино, дозволенное у мусульман ханефийского толку, мед и кумыс в узорных сосудах разных стран и различной формы были разложены и расставлены прямо на полу, и Калита, поклонившись хану, присел на край ковра, скрестив ноги по-татарски. Узбек усмехнулся надменно, ответил на поклон кивком головы. Подумав, произнес по-русски: – Здрастуй!

По бокам ковра уселись два толмача; несколько приближенных вельмож, до того находившихся за спиной Узбека, придвинулись ближе.

Ханский покой был невелик и весь, кроме потолка, завешан гладкими тканями или войлочными коврами. Окон не было, или их тоже закрывали ковры. Комната освещалась многочисленными мерцающими светильниками, точно церковь, так что можно было очень скоро позабыть, день теперь на дворе, вечер или утро.

Сейчас, внимательнее взглядевшись вблизи в усталое лицо хана, Иван похвалил сам себя за то, что сообразил при известии о смерти Тимура, сына Узбекова, послать тотчас в Сарай соболезнования с поминками. И в летописании владычном отмечено о скорби хана – чтущий да разумеет!

Там, за стенами, мела ледяная поземка. Было холодно. Калите не было холодно в теплом русском платье, но он за Узбека чувствовал, как холодно, как не греют жаровни, как надоели жены, не радуют золото и шелка... Пили горячий мед. Шла осторожная цветистая беседа; наконец один из вельмож прошептал что-то на ухо хану. (Иван догадывал что. Вельможе тому было дано, и дано преизлиха даже!) И Узбек, змеистым извивом бровей и чуть заметным склонением головы показав, что услышал и понял, спросил Ивана (и, спросив, поднял чело, расправил

плечи, в глазах зажглось грозно, и весь он стал как проснувшийся барс: властелин полумира, великий, славный, кесарь, царь царей, повелитель Руси):

– Просишь Владимир?!

– Александр Василич помре, теперь мочно и совокупить волость ту!

– Каждому свою отчину! – бросил Узбек почти сердито.

– Володимер преже всегда был в волости великого княжения! – возразил Калита, преданно глядя на хана. – По ряду, по обычаю так, от дедов-прадедов наших!

Узбек покачал головой.

– А ярлыки зачем покупал? Мало тебе Ростова? Теперь просишь Галич и Дмитров?

Узбек усмехнулся и вдруг, круто сведя брови, вскипел, вскинулся с подушек, пронзительно вперивши взгляд в Калиту, молвил с угрозой:

– Я тебе велел добыть коназа Александра! Ты не исполнил того! Ныне коназ Александр вновь сидит во Пскове! Что ты сделал, князь?! Почто молчишь? Отвечай!

– Царь-батюшка! Дак ить немочно! Всё Гедимин проклятый! Литва подвела! – возразил Калита и поглядел на Узбека таким бестрепетно-прозрачным взором, что Узбек, за миг до того почти привставший с подушек, вновь лениво и недовольно откинул стан, уселся, поерзал, отводя глаза.

– Я и то уж спас от беды, – прибавил Калита, слегка опуская взор долу. – Своево епископа прошали плесковичи, совсем отделиться чтоб... Не попустил Господь!

– Епископ, епископ... – пробормотал Узбек, – колдун... Где митрополит?!

– Едет, царь-батюшка! – готовно отозвался Калита.

– Едет...

Узбек вновь сторбился, четче прорезались глубокие морщины щек.

– Во Пскове и всегда сидели твои коромольники, царь-батюшка! Галицкий князь Федор наместничал, сынок еговый и братец Борис Дмитровский, оба из руки Михайлы Ярославича, покойного супротивника твоего! Дак теперь вот и князя Александра Михалыча приняли! И волость-то Тверская еще за им, нать бы ее Костянтину...

– Крови хочешь, князь, – возразил Узбек, покачав головою, – мстить хочешь! Нехорошо! Не нада! («Не нада» прибавил по-русски, остро глянув опять в лицо Калите.)

Толмачи, тот и другой, засматривая в рот хану и Калите, переводили слово в слово. Иван, добре понимая речь татарскую, успевал, услышав вопрос Узбека, еще и обдумать ответ, пока толмач переводил ему ханские слова.

– Ярлыки возьмешь, кто дань будет давать Орде? – спросил вдруг Узбек без связи с предыдущим.

– Великий князь владимирский! – готовно и сразу отозвался Иван. (Ростовские дани нынче были выплачены без задержек.)

– Ты лукавый, князь! – сказал Узбек и вновь покачал головой, как бы в раздумье. – Не знаю, стоит ли брать твое серебро, быть может, лучше взять твою голову, а, князь?

– Моя голова в твоей воле, царь! – отмолвил Калита, помолчав. – Только без меня ты и серебра не соберешь на Руси! Вернее меня нету у тебя слуг!

И – строго поглядел. И сейчас, в миг этот, был и вправду самым верным слугою Узбека. Только на миг. И хан опустил глаза, вздохнул, вымолвил нехотя:

– Знаю, князь! Испытать тебя захотел. Прости...

И вновь вскинулся на подушках, почти прокричав:

– Меня все обманывают! Льстят и лгут! Никто не говорит правды! Я казнил стародубского князя за ложь! Только за ложь!

Узбек раздул ноздри, вновь яростно вперил очи в Ивана:

– Вот, я взял сына врага твоего, Нариманта Гедиминова! Что велишь делать с ним? Ты! Русский князь!

– Знаю, царь. Сам хотел прощать тебя: выкупить Нариманта, ежели примет святое крещение.

– Почто хочешь так? – удивился Узбек.

– Наша вера, государь, – возразил Калита серьезно и устало, – велит любить даже врагов своих! Выкупая Нариманта, творю угодное Богу.

Узбек поглядел чуть подозрительно. Протянул не то с угрозой, не то удивленно:

– Смотри!

В этот миг Калита верил, свято верил, что только затем и выкупает Гедиминова сына, чтобы, окрестив его, сотворить милостыню Господню.

Узбек склонил голову, вновь постарел и померк, долго молчал, думал. Наконец поднял глаза, что-то решив про себя окончательно. Сказал устало:

– Ладно. Бери все великое княжение! – И добавил хмуро, словно бы спохватясь: – Дани удержишь – отберу.

## Глава 25

Назад он ехал опустошенный. Хмуро подсчитывал протори и издержки ордынские. От подсчетов кружилась голова. Обросшие шерстью, отощавшие в пути, кони то и дело сбивались, дергали не в лад. Возок колыхало и било. Был март, и мокрый снег начинал налипать на полозья саней и проваливать под конским копытом. Он уже обогнал обозы, оставил тащиться назади, скакал в мале дружине: скорей, скорей, скорей! Что-то неясное гнало и торопило его воротить в Москву не стряпая. Странно, о жене он почти не думал тогда. Разбираясь сам в себе, находил одну причину для беспокойства – потраченное в Орде серебро, возместить коее было нечем и неоткуда. Ярлык при нем, во Владимир он пошлет своих бояр тотчас же, после того как Алабуга, посланный ханом, возведет его на стол. Но обирать владимирцев так, как он обобрал ростовчан, нельзя. Круг замыкался опять, и вновь все приходило к тому, что взять неоткуда и не с кого... Только с Новгорода! А значит, надо требовать с них серебра камакского! Ежели бы не селетошный пожар московский! Всё ить и рубили и созидали наново. Сколь погорело добра! Обилия мехов, портна, узорчя – о сю пору не сочесть!

Напоенные солнцем, еще оснеженные, еще дремлющие, но уже весенние, стояли боры, и синие тени от топких, смугло-розовых, палевых и бумажно-белых березок узорно чертили тяжелый, потерявший пушистую ласковость, оседающий на припеках снег.

Об Елене он вспомнил почитай уже под самым Владимиром. Подумал, что и как скажет ей, воротясь. С больною с ней стало трудно. Ну, хоть корить не начнет! Теперь и похвастать можно: все великое княженье в руках! Жаль, Бяконт не дожил... Солнце почти пекло, снег оседал, орали птицы, призывно, нюхая воздух, ржали лошади. И он был великий князь, и шла весна, а радости не было. Была забота, еще большая теперь, чем допрежь того. И теперь можно было признаться, как он смертно устал в Орде на сей раз!

Когда его торжественно утверждали на столе во Владимире – епископ служил службу и Алабуга гортанно читал ханский указ, – он уже почти не понимал слов, почти не чувствовал смысла происходящего, и все кричало внутри него: торопись! Скорей отделаться от пиров, торжеств, от Алабуги и скакать – в снег, в дождь, в распути, но только скорее домой!

Великая княгиня Елена умерла, не дождав Ивана всего за несколько дней. Перед смертью приняла постриг и схиму. Положили ее первого марта в церкви Спаса. Иван узнал об этом, уже подъезжая к Переяславлю.

Повестили – и в первый миг словно свет померк, и некуда стало спешить. Сидел на подушках, прикрыв глаза, безотчетно отдаваясь колыханью и тряске возка. Не дождалась... Не дождалась... Почти враждебное чувство, детская нелепая обида переполняли его всего. Не дождалась! Не дождалась! Сейчас только понял, как он ее любил. И болящую тоже. Печальницу.

Советчицу. Что ж ты, Олена, не дотерпела, не порадовала со мной! И сын встретит, и дочери, и младшие сыновья, а ее не будет. И уже дом не в дом, и очаг не в очаг. Только заботы, и холод, и нескончаемые труды господарские, кои немочно бросить, ни свалить на иные плечи. Годы и годы труда, а зачем?

Близились Москва. Близились торжества, колокольные звоны, встречи. Как выдержать, как вынести, как, Господи, не возроптать в этот час!

Встречали хорошо. Не было ложного горя, напоказ, не было и пустой радости. По тому уже, как подошел, как поклонился старик Протасий, понял, почувствовал: берегут. Стало немного легче. И когда сын, Симеон, бросился на грудь и вдруг разрыдался совсем по-детски – оттаял, отлегло от души. Есть все же и семья, и дом, и свои близкие, родные.

В церковь, к могиле, прошел один, никого не велел пускать за собою. Долго молился. Хотел заплакать – не было слез. Как она не поняла, как не сумела... Да что я! Говорила ведь, упреждала: «Не доживу!»

Коленями чувствуя холод камня, стоял, думал. Кинуть бы все! Или уж пождать было... Нет, не понимала она его и в смертный, последний час не поняла. Или не захотела понять?

«Что ж ты лежишь тут, под этою плитой, непредставимая уже, уже вся „там“ – в том мире, где дух наш пребывает бессмертно. И свидимся ли мы еще? Или „там“ уже и не узрим, и не узнаем друг друга, бо смертная плоть наша изгниет в земле? Или, как путники в краю далеком, что вопрошают друг друга, отвечая: „Я из такого-то села, а я из таковыя-то волости“ – и так познают ближних своих, – также и мы в мире ином вопрошая, спознаем сродников и любимых?

Вот ты лежишь под этой плитой, в монашеском одеянии, отрекшаяся от мира. И как, и в коем облике встречу я тебя в мире том? Старой ли будешь, в черном куколе своем, юной ли девою, как в далекие прошлые годы? Или как тень, не имущая ни вида, ни облика? Или как солнечный луч, что сквозь высокое узкое окно лег горячим и светлым пятном на холодную эту плиту? И быть может, и все мы там будем как свет светлый и в хоре согласном, неразличимы один от другого, почнем славить Господа и благодать его?

Быть может, мир этот, в коем и труды, и храмы, и нивы, и города, и богатств скопление, и силы ратные, – быть может, все сие токмо тень, токмо сон Господень, а жизнь вечная там, непонятно где, и неможно узрети ее телесными очами своими?

Олена, Олена! Где ты?! Трудно мне с тобою! И что я скажу тебе? Что отвечу? Да, дочь нашу любимую я не пожалел. Да, тебя оставил в последний твой час, и то – грех непростимый! Да, в душе у меня холод, и потому, верно, не могу я жить душою и для души! Иные могут, не я! Ты пойми меня, Олена, пойми и прости! Да, я такой! Я не могу иначе! Батюшка наш любил все это, был щедр и рачителен, к семье и к зажитку заботлив, копил власть и добро. Юрко, тот любил величаться, любил пиры и потехи ратные, коней и соколов, и всего преизлиха, и паче всего любил власть, у него и ладони чесались всегда, чтобы все заграбастать! А я, Олена, люблю тишину. Покой молитвенный. Нет, и его не люблю тоже! Я должен делать то, что делаю я, и не могу иначе! Я ведь, Олена, страшен! Я ведь всего добьюсь, Олена, ты слышишь меня? Я ведь нынче лукавил, я знал, что боле не свижусь с тобою! И все равно поехал в Орду! Я не могу иначе! Мне нечем жить, не для чего жить мне, жена, ежели это отнять у меня! Я не знаю, зачем это мне! Ты говорила: „Мне этого не нать, я не княгиня...“ И мне не нать! И я не князь, я изгой, я меч Господень! Я – проклятие, сошедшее с небеси! Мне остановить себя – умереть! Узбек меня не понимает, он... Он жалок передо мной! Да что я, зачем Узбек... Зачем о нем здесь... Прости меня, жена моя, прости меня, если можешь!»

Солнечный луч, медленно переползая по камню, коснулся надписи, и резные буквы четким узором проступили на полу.

«Даже и имя у тебя другое, монашеское имя, не то, не наше с тобой!»

Он склонился до земли, коснулся лбом холодной плиты. Долго лежал так, шевеля губами, беззвучно повторяя молитву. Кажется, наконец появились слезы на глазах. Солнечный луч уже сползал с плиты, и надпись опять погружалась в тень.

– У меня тут, – он показал на лоб, на выпуклое место между бровей, – у меня тут что-то такое, что не дает мне жить так, как живут другие. В простоте. День ото дня. Я должен собирать землю. Даже не землю – власть. Даже не власть – страну, язык русский! И не увижу сам, не узнаю, зачем и к чему. В этом и будет наказание мое и искупление грехов, иже содеял и содею. Да к чему я говорю тебе это? Не в том ведь причина и не в том жалость и злоба моя! Просто я должен действовать, как сеятель – сеять, как ратник – воевать, как дождь – снисходить на землю. Должен – и умру, ежели мне токмо воспретить сие! Ты пойми, Оленушка, родниночка жалимая ты моя, пойми и прости. Я не могу иначе!

## Глава 26

Первой вечерней трапезы с семьей – без нее, без жены – Иван, не признаваясь в том самому себе, боялся. И хорошо, что были мамки, что слуги носили блюда, что он мог не смотреть в глаза дочерям и говорить токмо потребное к застолью. Но вот убрали столы, удалились слуги и дети. Иван, дав знак Симеону следовать за собою, прошел в изложню. Со старшим сыном они наконец остались одни.

Подумалось: пожалеет ли сын, станет или нет говорить о матери? Сын пожалел. Спросил об Орде. Иван принялся рассказывать обстоятельно, спокойно. Перечислял вельмож ордынских, называя по памяти, кому что дадено. Вдруг, сорвавшись, замолк, проговорил, глядя мимо Симеонова лица:

– Мы въезжали... снег там... с ветром, с песком, ледяной. Собаку страшно выпустить. И нищие бредут раздетые, разутые, ноги уж, верно, как камень... Должно, наши, русичи... Я не остановил, не подал... Не мог! А потом уж началось...

– Какой он, Узбек? – спросил Симеон.

– Тоже постарел. Сединою поволочило. Гневен. На всех. Сына помнит, жалимого, Тимура.

– А что про Тверь?

– Про Тверь ничего не сказал. Сам не знает, видно. К нему, чую, ворогов наших и пускать опасно! Да, Наримонта я выкупил. Крестился он, Глебом назвали. Уехал к отцу, в Литву.

– Не станем воевать с Литвой?

– Пусть Орда воюет. Нам не до того, сын. Смоленск бы только не потерять! Коли заберет его Гедимин, нам с тобой худо будет! На то лето женить тебя хочу. Время тебе приходит.

Симеон зарозовел, потупился:

– На ком, батюшка?

– Пока не нашел. У брянского князя невеста была на возрасте, да, вишь, Василий Михайлыч перебил... Возможно, даже и в Литве! Нам с има нынче спорить не нать, пока Александр во Пскове сидит!

– Не отдали в Орде тверской стол Костянтину?

– И отдали бы. Не пойму я его! Кто ему милей, жена али мать? Только пока великая княгиня Михайлова, Анна, жива, он из ее воли навряд выйдет... Ярлык даден на Тверь ему. Тут и не в ярлыке дело!

– Батюшка, грех такое молвить, а не послать ли кого опять к Акинфичам!

– Грех не грех. Уже посылаю, сын, и не раз! Теперь через Клавдию Акинфичну с има легко ся сносить. Да ведь доброго письма гонцу, будь он свой-пересвой, все одно не дашь! Перенять всякого мочно! Из них троих Ивана бы и можно купить, а те двое – законники. Пока

сами ся не решат, ни на что не обзарят: ни на серебро, ни на волости, ни на почет! А бояр надо собирать. Всех, кто батюшке служил и деду нашему Александру Невскому...

– Босоволковы опять с Васильем Протасьичем прю затеяли!

– Знаю, слышал. Как дядя его распустил, так и неймет ему о сию пору! Хочет тысяцкое под Протасием забрать!

– Не дозволишь, батюшка?

– Не дозволю, сын. Пока жив, не дозволю, а там уж тебе смотреть. Бояре ить как кони. В одной упряжке пока – везут, а распустишь – покусают один другого, и все врозь пойдет!

– Феогност приедет на Москву, батюшка?

– Мне доносили, что ладит в Цареград и в Орду, а после на Русь. Уж из Орды пойдет, Москвы не минует! Не знаю, перетянем ли к себе, а только при нем надо своего человека иметь. Надежного. Чтобы, коли что, и заменить мог!

– Батюшка...

– Я крестника хочу...

– Алексия? В одно удумали!

– То-то, в одно. На тебя надеюсь, Симеон! Ты уж мысли мои чуешь. Веди так, как я! Жизнь кратка. Одному ничего не достичь. Александр, царь Македонский, весь мир завоевал, а почему? Отец, Филипп, вишь, ему царство приготовил, все устроил ладом: и рати набрал, и воевод верных поставил. Сыну то и осталось, что весь мир полонить!

Иван помолчал, и вдруг само выговорилось то, о чем молчал доселе:

– Матерь жалко. Не дождала меня!

– Все в руке Божией, батюшка! – быстро ответил Симеон. И Иван, благодарно взглянув на сына, опустил глаза.

Крестника Алексия Иван решил посетить тотчас, не откладывая дела, до того как двинуть полки на Новгород. (Он уже решил дорогою, что добыть серебро сможет только там и что добром ему цесареву дань новгородцы выдадут навряд.)

Елевферий Бяконтов, нынешний чернец Алексей, все эти годы подвижничал в одном и том же монастыре Богоявления близ Москвы. Когда-то монастырь стоял на отшибе, а ныне, обстроенный и стесненный клетями и избами горожан, уже, почитай, начал сливаться с Москвою. Город рос. Туда, за Неглинную, протянулись дымные печи кузнецов, гончары не вмещались уже в свой старинный предел, последние хоромы горожан уходили из Кремника, уступая место теремам боярским. После пожара Кремника новые строения выросли, как грибы после дождя, повалуши и сени богатых теремов стали выше, стройнее, узорнее.

Князь Иван, сказав Симеону, к кому и зачем он едет, сел в крытый возок и приказал слуге закрыть полость наглухо. Кони дернули. С хрустом и чавканьем затоптали копыта по снегу, протяжно закричал ездовой, расчищая путь. Комонные кмети, «дети боярские», тронули рысью, окружая возок.

Иван, закрывшись, не видел, как проминовали торг, как спустились с горушки и поднялись на другую. Только по опасному порою крену возка чуялись спуски, подъемы и неровности дороги. Наконец, заскрипев, отворились монастырские ворота. Иван вышел, привычно озирая ряды келий, церковь и колокольню, недавно срубленную, невысокую, с одним малым колоколом на ней. К возку подскочили несколько послушников и монахов. Выбежал настоятель.

– К Алексию! – кратко отмолвил Иван. Торжественных встреч в монастырях, памятуя митрополита Петра, не любил и поднесь. Настоятель засуетился:

– На молитве он...

– Пожду!

Оставив слуг за порогом, Иван прошел в келью крестника. Здесь мало что изменилось. Те же книги на полнице, тот же медный крест, иконы те же, только вон та, большая, с Богоматерью,



появилась вновь. «Верно, с отцова успения, из дому. И не в труд ему. И не жаль лишити ся хоромины боярския!» – подумал мимолетно Иван, усаживаясь на лавку.

Крестник заботил. В чем-то он все же, невестимо, обманул его. Ушел от трудов, от забот княжеских. Неужто так и просидит век простым мнихом в монастыре? Тогда, после смерти Бяконта, заходил к нему, думал утешить. Алексей был спокоен на диво. Словно и не любил отца. Ивану сказал, поглядев мягко и твердо в очи:

– Радовати надо о всяком, иже предсташе пред престолом Всевышнего и с ангелы и со архангелы пребывает!

В чем-то, возможно, Алексей его и превысил. Он, Иван, едва ли возмог бы так вот отрешить от себя все земное и уйти в келью. Но сейчас не об том дума была.

Алексий все не шел. «Мог бы и сократить молитву ту, – грешным делом помыслил Иван, – стражду ведь! Неужто не чувствует крестник?»

Алексий наконец вошел. Перекрестясь, поклонился князю. Сел. Все такой же, прежний. Строгий, большелобый, с клиновидною бородкой, невеликий собою, подбористый. Но уже и не мальчик, муж. Что-то выжгло, что-то отгорело в нем давешнее, понятное, детское.

– Здравствуй, крестник! – сказал Иван.

– Здравствуй, крестный! – ответил он глуховато. – Прости, что с молитвы не ушел враз, – прибавил он, помолчав, – но и тебе надобно было посидеть так-то, покою ради!

Алексий угадал верно. Иван только сейчас начал понимать ясно, с чем пришел и к кому и сколь великой жертвы хочет потребовать от крестника своего, удалившегося от мира. И потому вздрогнул и вострепетал, когда Алексей, прямо поглядев на него, сказал, даже не спрашивая, утверждая:

– Хочешь призвать меня в мир?

– Митрополит Феогност, возможно, приедет семо. Хочу, чтобы ты при нем...

– Захочет ли сам Феогност? – бледно усмехнулся Алексей. – Быть может, довольно с меня и дел монастырских? Я тут, неволею, стойно батюшке своему, стал и кожи считать, и зерно мерять, все по просьбам отца игумена! И не возразишь – подвиг! Тишины хочу, крестный. Хочу молитвенного уединения. Быть может, в затвор уйду, ото всех, от мира.

(«Не уходи!» – чуть не крикнул Иван, сдержался.) Алексей взглянул внимательно, узрел, услышал немой крик крестного. Усмехнулся вновь. Налил воды в деревянную чашку, протянул, сказав повелительно:

– Испей!

Иван выпил, едва не поперхнувшись.

– Слаще ли сия вода той, что в серебряной или золотой чаре налита? – спросил Алексей.

(«Вот оно!» – подумал Калита. – Ему и впрямь ничего не нужно! Но мне надобно! Мне!!!»)

– Я не в мир тебя зову, – произнес он с трудом и медленно, – не к радостям бытия, но к подвигу духовному в миру... В сей суете и скверне... Это, мыслю, зело трудней!

– Так, крестный! Но веси ли, яко пред Господом потянет чаша сия? Веси ли, яко во грех и в пагубу ведешь мя, крестника своего? Веси ли передняя и задняя, днешнее и пребудущее подвига сего? А ослабну? А не возмогу? А прельщусь пагубою мира? Суета сует и всяческая суета! И почто не веришь тому, кто от самого патриарха, из Цареграда, послан на Русь блюсти стадо Христово? Почто искушаешь Господа?

– Олферий! – выкрикнул, забывшись, Иван, невольно назвав крестника его мирским именем. – Я ведь не требовать с тебя, я сам покаяться пришел! Мне тяжело, помоги! Делатели делают зло в самомнении ума и прошают: что делать? – егда уже поздно. Надо знать наперед, что будет, что ся сотворит из хотений твоих!

– Что будет, не знает никто, кроме Господа!

– Что же должен делать человек?

– Приготавливать себя к приятию воли Божией.

– А народ? Я смертен, я уйду. Как приуготовить весь народ? Скажи, како мыслишь ты о власти земной?

– В бренном и временном житии нашем временно все. И власть предержавшая преидет, как и иное прочее. Вечен токмо Господь!

– Но народ, язык русский?

– Народ пребудет, доколе не исполнит предела своего.

– И что должен делать князь?

– Блюсти народ жезлом железным. Творить милость, но и понуждение: да каждый со тщанием возделает ниву свою! Пахарь пусть пашет, и сеет зерно, и собирает плоды земные, и не ленится в трудах; ремесленник да творит потребное пахарю и прочим, каждый по ремеслу своему; купец доставляет товар, кому что надобно; воин блюдет землю, боронит от ворогов; боярин правит суд, устрояет землю по слову князя своего; ученый мних, книгочий да чтет книги, указуя на прежде бывшее в языках и землях, дабы не впасть и самому князю в пагубные заблуждения и высокоумьем не истощить землю... Пусть иерей наставляет и учит добру; пусть вятские не величаются, но с любовью, яко родители, взирают на меньших себя, дабы не возроптал простой людин в сиротстве своем. Пусть жена любит мужа, а муж блюдет и начекает жену. Пусть дети малые чтят родителей. Пусть весь народ чтит государя, а князь денно и нощно заботу имеет о языке своем. Пусть каждый приложит силы на ниве своей в ту меру, яко же возможет, и не ослабнет, и не почнет небрежати, и не возропщит. Ибо народ един, от князя до последнего черного пахаря, и сему ты, глава, должен быти причиною и обороной!

– Но ежели князь – зол?! Боярин – свиреп?! Раб – ленист и лукав?! Воин – робок на борони?! Ежели сын не в отца, и все ся врозь, и вражда у меньших на больших, а у знатных к меньшим остуда и небрежение?

– Тогда гибнет народ. Весь – и вятские, и меньшие. И ничто и никто не возможет уже спасти языка того. Погибнет он, расточит по лицу земли, яко древле сущие языци и царствы: ассирияне, вавилоняне, римляне и иные многие.

– Мыслишь ли ты, яко и нам скорый конец надлежит?

– Такого не мыслю, крестный! Мнится мне, яко много в языке нашем сокрытых сил, и токмо потребен пастырь добрый ему, дабы воспрял он над прочими, яко кедр ливанский. И тебе, крестный, скажу: ты еси пастырь добрый. Не ослабни токмо и не начни торопиться...

– Мне Петр-митрополит предрек, яко не увидеть исходу трудов моих, и я... Мне потребно знать, верить, что и после меня спасут, удержат...

Алексей понял, кивнул:

– Мнишь ли ты, князь, что Михайло Ярославич не возмог бы содеять сие?

Калита вздрогнул, когда крестник назвал его князем. Вперил взор в строгий лик Елевферия.

– Казнишь мя?

– Нет, княже! Нет, крестный, не казню! Думаю. Прав ты, крестный, – продолжил он, помолчав, – возможет и сильное царство рухнуть от правителя неправого! Чти притчу о Тифоне и Озирисе, царях египетских...

– И чем и как скрепляется государство, что держит и соединяет царствы и языки? Чрез годы, чрез смерти, от прадедов ко внукам ненарушимо? В чем преграда произволению власти имущих, в чем основа и краеугольный камень всякого бытия? Чем и почему созиждены царствы? Что заставляет кровью отстаивать рубежи земли своей? Почто и зачем отъединены от прочих и чем, чем соединены между собою? В чем и что высшее всякой власти? Где основа того, на чем зиждется наша земля? Пусть умру я, и род мой, и ближники мои – чем будет удержан от распада язык русский? Что соединяет княженья? – лихорадочно спрашивал Иван, наклоняясь вперед, сверля глазами лик возмужавшего крестника. – Что? Что? И кто? Кто удержит?

жит, и охранит, и, обличив, исправит или хоть... примером своим... Я мыслил: митрополит русский и ты...

– И митрополит не возможет сие, крестный!

– Так кто же? И что?

– Вера. Предание. И любовь.

Иван поник, прикрыл лицо руками. Долго сидел так молча. Вымолвил наконец:

– Тогда я не знаю, что нужно и кто нужен нашей земле, дабы спасти ее, ежели я, ежели мы с Симеоном... Словом, что нужно, дабы властитель не уклонил от бремени своего?

Олферий молчал долго-долго. И ответил наконец очень тихо, одними губами, не рек – прошептал:

– Нужен святой.

Иван поднял глаза:

– Ты, крестник?!

Тяжкое и долгое безмолвие повисло меж ними.

– Нет, не я, – еще тише отмолвил Олферий. – Я хотел – и не мог... Ты прав, крестный, что пришел за мною, мой подвиг – в миру! Но святой уже есть. Где-то близ, в русской земле. Скорее всего, не у нас, а в том же Ростове, или Твери, Рязани ли – там, где тяжело!

– А мы – узнаем о нем? – с расстановкою спросил Иван.

– Узнаем. И скоро. Токмо срока Господня не уведати смертному. И – не прощай боле! Я сказал!

## Глава 27

Оснеженные озера полей незримо таяли в воздухе. Над землею, над лесами, напоенными солнцем, недвижными, ждущими и жаждущими весны, над синими, сияющими слепительным серебряным светом пашнями висел голубой туман. Весело, пропадая в голубом сиянии, уходили на рысях конные рати москвичей по тверской дороге. Заливались колокольцы, чмокая и хрустя, мяли снег конские копыта, летели сани, тяжело переходили в галоп боевые кони, отягощенные войлочными попонами и многообразным кованым железом. Крики ратников, ржание, разбойный посвист, стон и звяк харалуга разносились далеко окрест. Яркими пятнами, словно цветы на голубом снегу, горели одежды воевод, дорогие, крытые алым, голубым, черевчатым и зеленым сукном шубы, узорные конские попоны, золотая парча оплечий и золотое письмо на щитах и шеломах работы восточных мастеров. Празднично и тонко звонили колокола московских храмов, далеко-издалече вскипали радостные клики толпы. Полки уходили под Торжок.

На требование Ивана заплатить ему «выход царев» Новгород, как и следовало ожидать, ответил презрительным отказом: такого-де не бывало искони. И теперь Иван, верхом на высоком, нетерпеливо переступающем скакуне, удерживая одною рукою поводья, другою, в зеленой рукавице, защитив глаза от золотисто-серебряного сияния, озирали издали свои рати, прикидывая: все ли и так ли исполнили воеводы, как велел он наперед? Сил было мало, и посему следовало ударить не стряпая, захватить Торжок и Бежецкий Верх с навороба, пока еще не раскисли пути, и уже потом вести переговоры с Новым Городом, который в таком разе может и склонить слух к требованиям великого князя владимирского! Он шагом, удерживая скакуна, начал спускаться с пригорка, и за ним, с глухим шорохом, точно оползающая лавина, топоча и звеня, двинулся, утолчивая снег, княжеский полк. Глянув вбок, Иван краем глаза узрел Семена, который изо всех сил натягивал повод, удерживая коня на шаг позади отцова, дабы не обогнать родителя-батюшку. Молчаливо одобряв наследника – блюдет честь отцову! – Иван погрузился в думы. Посмеют ли новгородцы и теперь перечить ему, когда он зайдет Торжок с Бежецким

Верхом? От того зависело зело многое. Зависел и успех задуманного им ярославского дела, да и Галич с Дмитривом трудно будет получить ему у хана без новгородского серебра!

Иван не думал, хорошо он поступает или худо. Он даже и не оправдывал себя, и уже не колебался, как тогда, впервые, покупая ростовский ярлык. Он знал: это его путь собирания русской земли. Только его и ничей больше. Он многое, почти все, перенял у других. Одно у ростовских князей, иное у Михайлы Тверского, что и из Византии пришло по пригожеству. Так, глядя на соседей, заповедал Москву в нераздельное владение детям, наметил старшему, Семену, особую долю на старейший путь. Перенял навывчай мытного двора тверского, перенимал иное прочее, но затею с ярлыками измыслил сам. И об этом молчал. Запрещал даже и писать. Ни в летописании, ни в грамотах княжеских не было и следа того, что новый князь владимирский покупает у хана волость за волостью, серебром добывает то, что не удавалось добыть прежним князьям великим ратною силой. А измыслил давно. Еще когда был жив Юрко. И тому не сказал. Чуял – не поймет. А в те поры, как измыслил, даже не понял, почто таковое простое никому допрежь него не пришло в голову?

Каждый князь держал свое княжение по роду, по обычаю, от отцов, дедов, прадедов... Держал, доколе не пришли татары. С той поры и начали русские князья ездить в Орду на поклон и получать там ярлыки на свои княженья. А что значил ярлык? Ярлык значил, во-первых, что хан признает князя владетелем и не сгонит его со стола и защитит, ежели кто другой его попробует согнать. Ярлык, во-вторых, значил то, что князь волен сам собирать дань для Орды со своего княжества и отвозить хану. Дань иногда отвозили сами, но чаще передавали великому князю владимирскому, и тут была долгая пря из роду в род, доносы, наветы, недоимки... И ярлык ханский постепенно стал означать, во-первых, право собирать дань, и уже во-вторых – все прочее.

И за ярлык платили. Давали дары, которые чем дальше, тем больше превращались в обычный выкуп своих же княжеских прав. А с воцаренья Узбекова и вовсе началась торговля. Тем паче хану постоянно не хватало серебра. Иван долго думал и прикидывал и наконец решился. Предложил хану (сперва выдав дочь за ростовского князя!) самому выплачивать ордынский выход с Ростова: взять на себя ярлык ростовский. Ну и, конечно, самому собирать дань! Не сгоняя князя со стола ни с сел и волостей, самому князю принадлежащих, не трогая прав наследственных... И объяснил тому и другому, хану и Константину Ростовскому: так-де порядку станет более и выход учнет поступать в срок (Ростов сильно обеднел и постоянно задерживал дани). И хану покой, и Константину легота. Пришлю своих бояр – только и дела! Константину, тому некуда было деваться, а хан – хан уступил, передал ярлык на Ростов Ивану. Недешево обошлось! Ну дак и Ростова опосле не пощадили! Не во своем княжестве, дак мочно было и сильно деять. Ограбили боярские терема (коих инако-то и тронуть нельзя бы было!) и дворы посадские не обошли. Выгребли серебро из скрыней, позабирали родовое узорочье, многих вельмож ростовских разорили дотла. Разоренные потянули теперь на московские земли, получают леготу, обживают и распахивают лесные дикие палестины... И опять прибыток великому князю владимирскому! Кто считал, сколь взяли на Ростове добра? Сколь передано хану, а сколь застряло в казне московской? Никто не считал. Иван один знал об этом, знал и прикидывал: хватит ли, чтобы выкупить у хана ярлыки на Ярославль и Дмитров? Ярославль стоил дорого. Да и зять упирался, не давал Ивану воли. И обвинить не в чем, выход идет в срок, Ярославль город богатый, торговый, серебром не скуден, не то что Дмитров, который, почитай, почти уже и весь в московской горсти!

Из-за Ростова ославлен Иван, обозван и кровопийцей, и иудою, и какими невесть еще поносными словесами... Знали бы, что в замыслах его тайных – таковыми куплями совокупити всю русскую землю! Чтобы великий князь владимирский – один! – ведал и дани, и суд ханский и всю землю чрез то охапил в руце своя. Знали бы! Не знают. И добро. Стоит вызнать одному лишь суздальскому князю – и не усидеть Ивану на столе! А нужно не только усидеть. Надобно

усилить себя настолько, чтобы уже и не дерзали противу. Еще, по грехам, надобно примолвить, что когда задумывал он скупать ярлыки на княженья, не чаял той трудноты, что настала о днесь. Чаял, все пойдет глаже, быстрее да и дешевле. Чаял: серебром с одного княжества окупит ярлык на другое, да так и пойдет... Гладко оно в замыслах! А ныне без новгородского серебра не сдюжить. Так-то!

Сыну он рассказал под великой тайною. Семен понял, как должно. Спросил только: не берем ли себе излиха? Пришлось показать отроку всю казну, грамоты, расчеты княжие... Другой бы обрадел, а этот враз о справедливости помыслил! И хорошо. Честь, совесть, правду терять не след. Можно и грабить (ограбили же Ростов!), но токмо для высшей цели и токмо для блага Руси. Власть – бремя. И пока она для тебя пребудет бременем, дотоле ты прав. Пусть отрок мыслит так, токмо так! Вырастет радетель делу отцову... Делить княжество тоже не след! Покойница мать того не хотела понять...

Пахло талым снегом. Голубой туман струился и плыл над полями. Солнце обливало землю мягким сияющим серебром. Ржали кони. И небо было высокое-высокое! Близилась весна... Иван прикрывал глаза, отдаваясь плывущему конскому шагу, отмечал про себя веселые голоса ратников и думал, не замечая, как входит в него безотчетное томительное волнение, полузабытый голос далекой молодой весны...

## Глава 28

Торжок и Бежецкий Верх заняли без бою, но дальше все пошло не то и не так, как мыслил Иван. Новгородцы уперлись. Подступила распута. Пришлось отозвать рати. А там подоспело пахать да сеять, а там пала сушь, меженина по всей русской земле. Хлеб не родил, и стало немочно одному, без помощи прочих, управить с Новгородом. Все лето ушло на пересылки с князьями. Иван требовал ратных от суздальского и тверского князей, те жались. По тяжелой поре их и винить было трудно. Поход все отлагался и отложился наконец на зиму.

Иван вдруг потерял свое обычное равновесие, начал метаться, едва не раскоторовал с суздальским князем, слишком поздно узнал о том, что Смоленск мыслит передатися Гедимину. Донос в Орду запоздал. Дело спас брянский князь Дмитрий, затеявший ради своих обид порубежных поход на Ивана Александровича Смоленского. Привел татар, бился под самым городом. Смоленский князь, однако, отбил. Взяли мир. Мир взяли, и Смоленск до поры остался под рукою хана. Однако Иван чуял, видел, как крепнет Литва, как все дальше и дальше протягивает Гедимин властную руку, как то, что ему, Ивану, дается с трудом и борьбой, в руки литовские падает, как перезрелый плод с древа... Он злобил на хана Узбека, нерешительность коего больно ударяла и по нему, Ивану. Нет чтобы бросить татар на Гедимины, ослабить, а то и вовсе смести опасного соседа! Гляди, бесись, как полоняник со связанными руками, гадай, приедет ли Феогност, останет ли на Москве или нет?

Дома тоже все шло врозь и непутем, и уже не раз и не два намекали Ивану ближние бояре, что без хозяйки – дом сирота. Он сам понимал, что надо (и хочет!) жениться. Смушал сын, Симеон. Не хотелось обидеть отрока, приведя в дом мачеху. А посельские долагали о недородах, о голоде по деревням. Москва уже начинала полниться первыми беглецами, чаявшими хоть какого прокорму и заступы близ княжого двора. Вновь участились разбои по дорогам, почти было выведенные скорым и строгим княжеским судом.

Выяснялось меж тем, что вести рати под Новгород опасаются все (не выступил бы литовский князь на защиту!), а новгородцы деятельно готовятся к обороне, скликают помощь, крепят город каменными стенами. Уперлись. Но и Иван уперся. Да и нельзя уже стало отступать. И все тогда слушать перестанут!

В чем-то она его спасала, покойница, от чего-то удерживала. Не кидался он при ней так преизлиха нерассудно, не столь спешил и деял успешливее, чем ныне.

Стояла жарынь. Осень, окончательно обманув все надежды на урожай, подходила, тяжело и тускло суша и свертывая пыльную листву дерев. Он вдруг понял, что должен, обязан жениться. Что-то запоздало в нем и требовало своей дани, своего «выхода»... Невеста, третья по счету (первые две не по нраву пришли), наконец-то показалась ему. Была тиха и робка, верно, и заботна и домовита (лишней, напоказ, красоты не любил Иван), а на великого князя взглянула с робким обожанием, и это решило дело. Понял: полюбит!

Накануне свадебных дел вызвал сыновей, прочел грамоту: что кому отойдет в случае его смерти. Оставшись наедине с Семеном, прямо и строго поглядел в глаза сыну (подумал: скоро женить, а я – сам!), спросил:

– Не осуждаешь?

– Тятя! – только и вымолвил Семен.

Иван осторожно привлек отрока к себе. Сказал:

– На тебя всё. Вся надея. Кто бы ни... Кого бы ни родила... Ты первый, тебе княжить!

– Понимаю, батюшка! – ответил Семен, пряча лицо на плече у отца. – Я не... не сужу... не думай, я понимаю все. Она... она добрая... – пробормотал он, меж тем как Иван вздрагивающей рукою гладил его по волосам.

Оба долго молчали. Потом Иван вздохнул, отстранился. Заговорил о Смоленске. Больше до свадьбы речей меж ними об этом не было. Но Иван чувствовал радостно, что и теперь сумел сохранить уважение сына при себе.

Свадьбу справили нарочито просто. Иван не хотел пышностью торжеств возбуждать лишние пересуды. Оставшись наедине с молодой, он привлек ее к себе, уже раздетую, в одной долгой рубахе, и, скорее ощутив, чем увидя, слезы страха в глазах, долго гладил, успокаивая, дожидаясь, когда она сама, согревшись под собольим праздничным одеялом, захочет неизбежного, того, с чего начинается семейная жизнь... Она уснула первая, прижавшись к его плечу, а Иван все не спал. Лежал, отдыхал, думал. Было покойно (слишком покойно для первой ночи!). Жену следовало беречь. Это было теперь свое, родовое, как Москва, как добро в закромах и бертьях-ницах, как неотторжимые сокровища отцовы. Он осторожно повернулся к ней лицом, осторожно положил руку на нежные маленькие груди. Она легко и благодарно вздрогнула, вздохнула впросонках и с детскою готовностью, не размыкая глаз, теснее прижалась к нему.

Едва отпраздновав свадьбу, Калита во главе соединенных низовских ратей выступил в поход. Вновь засев Торжок и Бежецкий Верх, Иван, остановясь в Торжке, разослал дружины в зажитье. Начался грабеж Новгородской волости. Угоняли скот, уводили людей, жгли и увозили запасы хлеба и жита. Новгородская рать стояла по Ловати и Мсте, перекрывая пути к городу. Меж теми и другими ратями творились лишь мелкие стычки. Иван на этот раз привел крупные силы, и новгородцы опасались выйти на бой.

Иван сидел в Торжке от Крещения до Сбора. Новгородцы наконец прислали посольство к нему, звали на стол по прежним грамотам, что было теперь едва ли не насмешкою над Иваном. Он ничего не ответил послам. Грабеж Новгородской волости продолжался.

Упорство Великого Нова Города было не зряшным. Страдал торг, не поступало заморское серебро, столь нужное казне великокняжеской. На Сбор всех святых Иван воротил в Москву. Размирье с Новгородом затягивалось, и уже неясно было, кто кого берет измором: Иван ли Новгород или Новый Город Ивана?

Митрополит, по слухам, уже находился в Орде. Летом, по наказу Ивана, на Москве начали новый храм архангела Михаила. Храм над гробами, как мыслил Калита, всех владетелей московского дома, начиная с покойного брата Юрия. (Была мысль и батюшков прах перенести сюда, тем паче что и монастырь Данилов перевел в Кремник, но вспомнил завещание родителя и отступил. Убоялся нарушить отцову волю.) С сооружением этого храма устроялась главная площадь в Кремнике, окруженная соборами и теремами. Город принимал вид столичный. Храм воздвигали споро, как и прежние. Единым летом и начали, и завершили.

В начале июля, убедясь, что работы идут полным ходом, Иван выехал в Переяславль. Ехал верхом, медленно, дневал и ночевал в дороге. Молодую жену вез за собой в возке. Ульяна была несправна, и не хотелось излиха утомлять ее на тряских дорогах. Может, еще и потому, что ехали медленно, многое вспоминалось дорогой. Впереди, пыля, уходили за увал передовые комонные княжого поезда. Пыль относил ветром. Колосились, наливаясь, хлеба, и волны ходили по голубым хлебам, словно по морю. Бросались в очи там и тут недавние росчисти, густо поросшие щетинистою рожью, виднелись свежие избы. Радонеж расстроился, стал уже немалым городком. (А все пришлые, ростовчане, вон и огороды развели! Поглядеть? Поговорить с ними? Едва не решился уже, но отдумал: тяжело и недосуг...) В Радонеже остановили на ночлег. Ивану, по его приказу, постелили в путевом сарае, на сене, на продухах. Посвежевший к вечеру ветерок приятно охлаждал, обдувая лицо, шевелил волосы. Натянув до подбородка толстину, Иван лежал, слушая последние звуки угасающего дня, бление и ржанье скотины, петуший пронзительный крик, скрип калитки, затихающий гомон и топ. Хлеба нынче не по прежнему году, добры. И скоро жатва. Сейчас с поля приходят в избы, пьют белопенное теплое молоко, ужинают, укладывают детей... Колями проще быть мужиком, чем князем на Москве! Что вспоминает он сейчас? Не косьбу и не жатву хлебов, а лишь бесконечные пути, да ратные станы, да тот, далекий уже, как детство, переяславский пополох, когда подступал к городу Акинф Великий и он сидел растерянный среди растерянных бояр, оброшенный и ненужный никому, и как все поворотило потом! И ужас, юный ужас от страшного, на рати поднесенного ему Родионом дара – косматой и окровавленной головы Акинфа на копье, и тяжелые темно-красные капли, падавшие в белый, истоптанный копытами снег...

Как звали того послужильца, что привез им спасение? Никанор... Нет, Федор! Федор Михалкич! Вот как! Да ведь его же сын ныне у меня в обозе! Вспомнил, покачал головой. Как и запомнил? Протасий ить напоминал, пото и отправил с ним, с дружиной... Мишук – вот как его зовут. Мишук Федоров. Не забыть, поговорить с ним там, в Переславле... Мысли начали мешаться, напомнилась почему-то Орда, и опять суровым и страшным. Он задремывал уже, когда раздался осторожный шорох сена. Иван вздрогнул и тут же улыбнулся. Это была Ульяна. Не выдержала, прилезла к мужу. Забралась к нему под толстину, посапывая, устроилась у плеча. Стало хорошо, покойно. Он уснул. Но и во сне продолжал думать, считать серебро, которого все не хватало, никак не хватало для чего-то важного-важного, что надо было вырешить враз, а серебро лилось тонкою звенящею струйкой. Или то месяц заглядывал в широкие продухи сарая? И лунный серебряный свет падал на лицо уснувшего московского князя – старое, в заботных морщинах, суровое и во сне, словно бы совсем уже мертвое лицо...

## Глава 29

Он проснулся первый. Выбрался тихо, стараясь не разбудить Ульяну. Плотнее укутал жену, натянул сапоги и, съехав по сему, осторожно сосступив по ступеням приставной лесенки, очутился наконец на земле и разом издрогнул, словно в молоко погрузившись в предутренний туман. Ратник, узнав князя (видно, дремал стоячи) подтянул кушак, тверже взял копье в руки, прокашлял, подавая знак другим. Иван, велев вполголоса не будить княгиню, проминовал ограду, остоялся, чуя речной холод и подымающийся передраассветный ветерок, следя, как начинает ясно разгораться заря и над лесом встает, словно бы золотой сияющий меч, предвестие солнца.

Вот сейчас выйдет к нему из тумана обещанный Алексием святой, весь светлый, в сияющей седине, окруженной сиянием, поглядит на него и скажет... Что скажет? Что-нибудь такое: «Темный ты! Проснись! Вкуси света горнего!» И что ответит он, Калита, святому из Радонежа? Упадет ли на колена, заплачет ли, каяти начнет – о чем? Или просто попросит благодати? Благословения ему, грешному князю русской земли? Туман тихо плыл, и казалось впрямь, что

где-то тут, невесомо, реет сияющая тень того, кто должен прийти, дабы спасти и осенить светом землю языка своего.

Но не вышел святой, вышел мальчик в липовых лаптишках, в белой, подпоясанной крученым ремешком рубаше, высокий и ясный зраком, с расчесанными льняными кудрями, с удою в одной руке и связкою мелкой речной рыбы на самодельном кукане – в другой. Он сперва испуганно, потом с любопытством воззрелся на князя, постоял, сказал: «Здравствуй!», верно и не признав в нем владыку Москвы. И когда Иван ответил, мальчик светло улыбнулся ему, покивав льняною головой. И так же тихо исчез, растворился в тумане, словно и не был, словно привиделся князю перед зарей.

Уже когда золотой краешек дневного светила пробрызнул сквозь дальние вершины деревьев, Иван воротил в избу, стал на молитву перед походным налоем...

## Глава 30

В Переяславле ждали дела многие. Следовало урядить старые порубежные споры с ростовским и юрьевским князьями, досмотреть, как чинят городскую стену. В Клещине-городке побывать удалось только через несколько дней. Обветшали стены, покривились терема. Гуще разрослись деревья. Иван взял с собою Мишука Федорова. И по тому, как тот притих, озирая все кругом, понял, что у ратника какие-то свои, дорогие воспоминания. Ему, Ивану, здесь уже было чуждо. Место, любимое отцом, почти ничего не говорило сердцу, и только из уважения к памяти родителя Иван подозвал ражего переяславца, спросил, здесь ли был дом Мишукова отца, Федора.

– Не здесь! – сглотнув слюну, супясь, отмолвил ратник. – Подале ищю, Княжево село слывет. Я уж был тамо, и на погосте был... – сказал он и умолк, отворотив лицо. – Извиняй, князь-батюшка! Я ведь рожден тут, – примолвил он погоды. – Дак узрел хоромы родителя, и таково стало... Ну, словом, пожалилсе непутем! Родина!

– Да, – отозвался Иван, подумав, – родина...

И не нашел, что сказать, измыслить. Широко виднелось синее озеро с холма. Стояли деревни, неотличимые от прочих. И кому-то – вот этому немолодому ратнику – тут, в здешней стороне, осталась от сердца неотрывная боль. И, верно, у покойного родителя было то же. Потому и добывал Переяславль, и дрался за него! А ему, Ивану? Переяславль он не отдаст, да теперь, после смерти Михайлы Тверского, некому и позариться на город! Но уже нет и сердечной боли, нет и безотрывной радости увидеть этот край. Так, в поколениях, заплывает все, и останется... что же останется ото всего? Родина, Русь! Которую еще предстоит завоевать и утвердить в роде своем!

Отвердев лицом, Иван приказал седлать. Припоздавший дворский кинулся было:

– Какие наказы будут, князь-батюшка?

Иван отмотнул головой: какие тут наказы! Чинить терема не стоило уже. Вдел ногу в стремя.

В Переяславле его ожидали новгородские послы. Приехал сам архиепископ Василий Калика с боярами Терентием Данилычем и Даниилом Машковичем.

В городе у теремов былолюдно. Вся Красная площадь была заставлена возками и телегами. Рядами стояли кони. Конский дух покрывал все прочие запахи.

Иван принял посольство ввечеру, в большой палате старых теремов. Сидел прямой, в золотом оплечье, в шапке княжой. Склонив голову, принял благословение архиепископа Василия. Отметил, как за прошедший малый срок изменился Василий Калика. Ни росту, ни стати не прибавив, словно и выше и серьезнее стал. Прямой глава Великого Города! Строит и строит! Ему бы, Ивану, иметь столь серебра, чтобы каменными стенами окружить Кремник!



Василий сел в поданное ему кресло. Сели бояре. Василий поднес золотую чашу, бояре – розовый жемчуг, рыбий зуб и кречета. После уставных слов, уставных речей и приветствий перешли к делу. Пятьсот рублей предлагал Господин Великий Новгород великому князю владимирскому. Пятьсот! А Иван мыслил получить вчетверо больше! (И без этого «вчетверо больше», без двух тысяч серебра, не мыслил, как и чем окупить ему тайные замыслы свои.)

– Помысли, княже, – говорил меж тем Василий Калика, прямо глядя в глаза Ивану, – сколь раззору, и остуды, и горьких слез сиротских от нашей которы! Сколь купцам в торгу умаления, сколь злобы и нелюбия в русской земли! Уйми меч свой и утиши сердце свое! Возьми мир с Новым Городом, приезжай на стол, а мы примем тебя с открытою душою! Вонми, княже! Не дай остуды! Не отторгни от себя сынов своих!

(«Грозят? – думал меж тем Иван. – Нет, не дадутся они и Гедимину! Католики для них страшнее! Не уступлю!»)

– Княже, помысли о братней любви, ю же заповедал нам Господь наш, пресветлый Иисус, приявший за ны муку крестную! – говорил Калика, а Иван думал: «А стены каменные почто в Нове Городе Великом? Вот та и любовь! Не уступлю ни за что!»

– Не можно нам дати более! И опричь того, ради мира и тишины, полную дань, яко же по обычаю, по грамотам старым, и бор по волости, и повозное, и с Русы княжое, с варниц соляных, о чем допрежь того уряживали с тобою! – продолжал теперь уже боярин Терентий Данилыч.

Вельяминов с Михайлою Терентьичем и Окатий с Феофаном Бяконтовым на лавках переглянулись, выразительно поглядели на князя. «Не поладить ли уж?» – говорили их взоры. Иван внимал, не пошевелив бровью. Ему нужны были две тысячи. Вот так нужны! Паче смерти, паче любви.

Потом еще два дня толковали меж собою бояре. К Ивану приходили вновь и вновь. Но двух тысяч Новгород не давал никак. Стояли на пятистах рублях по-прежнему. А меж тем скорый гонец донес Ивану весть радостную ижданную им уже очень давно: в Москву ехал митрополит Феогност. «Не уступлю же я им! – решил Иван. – Пусть они мне уступят!»

Ничем кончилось посольство владыки Василия. Поворотили послы восояси. А князь Иван поскакал в Москву – встречать митрополита Феогноста, гордый собою, отринувший на время все заботы господарские, помолодевший даже, едва ли не хмельной от радости.

Увы! Похмелье на этом пиру улетучилось быстро. Иван на сей раз недооценил новгородского архиепископа. Василий Калика из Переяславля прямехонько направился во Псков, где не был до того семь лет, помирил Плесков с Новым Городом, утишив давнюю прю двух вечевых республик, крестил новорожденного сына Александрова, Михаила, и уж одним крещением дело не обошлось. Были и речи, и замыслы, и дела тайные с опальным тверским изгнанником. И не успел Иван нарадоваться встречею митрополита (двадцатого сентября, на память мученика Евстафия Плакиды, Феогност освятил великим священством новую церковь Иванову, храм архангела Михаила, заключивший устроение и украшение Кремника), как и новая весть прикатила на Москву: в октябре в Новгород прибыл Наримонт-Глеб, крещеный сын Гедиминов, и получил все, чего добивался некогда для него отец: городки Корельский и Ореховый, половину Копорья и Ладогу – в вотчину и род. Только тут понял Иван, что зарвался и едва ли не проиграл все, добытое с таким трудом. Гедимину проявить бы побольше терпения – и конец всем замыслам Калиты! Но литвин, к счастью, зарвался тоже. Захотел круто и враз наложить руку на новгородские волости и тем спас Ивана. Новгород заколебался, а Калита, уразумевший, что против троих один бессилен, кинулся мириться с Гедимином. Семена как раз подошло время женить, и лучшего повода для переговоров с сильным соседом не выдумать было. Он вызвал Симеона. Напомнил сыну прежний их разговор. Помолчал. (Сидели вдвоем только.) Выговорил, выдавил из себя:

– Не хотел, не думал так с тобою... чтобы от трудности, от высшей нужды княжой! Не ведал, что и тебе придет испытати однесь горечь вышней власти!

– Не надо, батюшка! – возразил Симеон раздумчиво. – Бог милостив! И у простых смердов родители выбирают невест детям своим!

Симеон утупил очи. Иван поглядел на сына благодарными, увлажненными глазами. Повторил его же слова:

– Бог милостив! Бояре досмотрят, чтобы прилепа и красовита была.

Назавтра в Литву поскакали послы. Феогност, со своей стороны, помог, поддержав посольство великого князя владимирского. Хрупкий мир с Литвою, столь нужный для переговоров с Новгородом и утеснения Александра Тверского, кажется, восстанавливался.

## Глава 31

То, что помогло Ивану вовремя опомниться, было недавно пробудившееся в нем все растущее смутное ощущение вины. Перед кем и перед чем? Он спешил с окончанием храма, думая, что чувство это исчезнет, и, только воротясь в Москву из Переяславля, понял, в чем дело. Он не то что забыл, а отложил, отодвинул от себя тот, давешний свой разговор с крестником, за что и был наказан, ибо есть нечто, чего ни забывать, ни даже отлагать невозможно в жизни сей. Но молодая жена, но ожидание дитяти, но кажущиеся успехи в делах новгородских, обернувшиеся нынешним поражением, но ожидание Феогноста... Знал же он, что Господь за леность духовную карает сугубо!

Ульяна, которую он из Переяславля отослал прежде себя (ей подошла пора рожать), встретила Ивана с дочерью на руках, вся трепетно тихая, с сияющими глазами, вокруг коих еще лежали голубые тени недавней сладкой и трудной муки первого материнства. Иван осторожно принял сверток, поглядел на сморщенную красную мордочку, услышал слабенькое «уа, уа» – и, воротив ребенка, бережно обнял и расцеловал жену, грешным делом, однако, подумав при этом: хорошо, что дочь, а не сын! Семену, да и Ивану с Андреем было бы обидно делить добро со сводным братом... Иван уже не принадлежал себе так, как прежде, даже в браке, даже в семье!

Крестника Алексея с Феогностом Иван свел сразу же, на второй или третий день по возвращении, едва урядив самые срочные дела.

И вот они сидят втроем, как когда-то сидели втроем с митрополитом Петром. (Иван уже намекнул осторожно Феогносту, что паки надлежит похлопотать о скорейшей канонизации покойного Петра, понеже чудеса у гроба святителя происходят, и исцеления, и прочая многая... Пока так, скользом, ненастойчиво, давая сей мысли созреть в уме нового русского митрополита. Даже и то, что Петр родом из Волынской земли, подчеркнул сугубо Калита: пусть Феогност поймет, что там, в западных русских землях, канонизация Петра такожде не должна встретить препоны.) Сидят трое, и Иван, как и прежде, молчит, слушает. Молчит так, как умеет молчать только он, почти уничтожась, почти не существуя в покое. И лишь то отличает сию беседу от той, давней, что возмужавший крестник сам говорит, и говорит красно, подчас переходя на греческий, и улыбка снисхождения постепенно сходит с лица Феогноста, узревшего в сем молодом мнихе, невеликого росту, худоватом и большелобом, с острою бородкою клинышком, собеседника, равного себе и даже зело искушенного в греческих книгах.

Московское строительство Калиты вызвало у Феогноста невольное уважение. Город, показавшийся в первый приезд скучным скоплением бревенчатых хором, начал приобретать вид прилепый. Храмы, малые, но своеобразной, по-своему приятной архитектуры, расставленные по четырем сторонам, обочь и прямь княжого дворца, означили площадь внутри града, и от них уже и сам дворец выглядел иначе со своими резными крыльцами, опущенными кровлями и смотрильными башенками по сторонам. Приходилось отдать должное князю: времени он не терял и щедроту к церкви выказал немалую. (Села, переданные ему князем, также весьма и весьма омягчили душу греческого митрополита.) Феогност даже обмысливал, не перебраться

ли ему в Москву? Но предпочел – так было пристойнее – остаться во Владимире, где как-никак располагалась кафедра митрополитов русских вот уже поболее тридесяти лет.

Конечно, строительство Калиты не равнялось еще ни с Новым Городом, ни с Владимиром, да и многим прочим градам русским уступала Москва, но все же... В таком духе, мысля не обидеть собеседника, отвечивал Феогност Алексею на прямой вопрос того, что он мыслит о храмах Москвы. (Калита совсем задвинулся в тень, когда речь зашла об этом, и только ждал, что же возразит митрополиту крестник.) Алексей чуть качнул головой, глянул Феогносту прямо в глаза. Колюче – не навек еще или намеренно пренебрег словесным вежеством – не сказал, брякнул:

– И бедны, и малы, и пред храмами Константинова града ничтожны суть? Тако хоцещи ты сказати, отче? Так! Почто прямо не рещи о том! Так и паки так! – Калита приподнял было руку, не то защищаясь, не то останавливая Алексея, и смолчал. Феогност, тот поглядел удивленно, раскрыл было рот мягко возразить, но Алексей не дал ему молвить, голос его окреп, румянец проступил на щеках.

– Да, да! – жестко примолвил он. – Но зри и иное: единым летом возведены, не возведены – возникли! С тою же почти скоростию, с коей рубят у нас хоромы деревянные после пожаров и воинского разору! Я чел в хронографии Пселловой, – сказал он с запинкой, с тем юным смущением, которое часто постигает русского человека, вынужденного признаваться в своих познаниях, – житие кесаря Константина, супруга императрицы Зои, коему ипат философ, Пселл, ставит в особый упрек драгое храмоздательство: воздвижение и паки разрушение и вновь созидание в прекраснейшем и величайшем облике храма Святого Георгия... Даже и в сем святом деле не была потребна суетность! Даже и тут достоит вспомнить завет Господень: «довлеет дневи злоба его» и «не заботьтесь, живите, яко птицы небесные»... То есть и заботно, и домовито, яко же и сии выют гнезда и птенцов прилежно вскормят и воспитают, но незаботно, не погружаясь полностью в суету забот, оставляя главнейшее в себе Богу. Не быть рабами вещей создаваемых! Заботить себя, но не утопать в заботах! И вот зри: храмы сии – это путь, а не конечный предел, не последнее, что возможет создать и произвести наш народ. Да, малы, но бегучи, и горе устремленны, и слиты с бескрайностью окоема земли и небес! Зри! Означена площадь, и вырастут новые храмы окрест, роскошнейшие и огромнейшие нынешних, и такожде не станут пределом, а будут воспарять, намекать, ознаменовывать... Зри и в иных градах такожде! Просторны и в простор устремляемы, и за любую крохотную часовнею окоем безмерной широты указывает зодчий ее! Русское храмоздательство ныне не суетно, это поприще, путь, а не конечная пристань. Оно отворяет врата совершенствованию, словно бы глаголет: «Да! Есть силы на иное, дражайшее! Есть силы подвигу, движению вдаль и отречению от злобы сего дня и от забот суетных!»

– А София? – спросил серьезно заинтересованный Феогност. Но Алексей отмотнул голову, повторив неотступно:

– За предельным всегда надрыв и надлом! Надобно даже и в большем оставлять место движению, дабы возможно было свершить и наибольшее! Но и предельное для сил человеческих доступно, ежели не суетно и не в себя самое обращено усилие, как пишет о том Пселл в хронографии своей. И София свершена – хоть и не зрел, но, по словам очевидцев и гласу мудрых, сужу о том – не всуе, не в себе, не суетной красы ради, но обращена к безмерности Божией, ради духа и в духе устремлена и парит в аере света! Всякое самоцельное земное бытие и самоцельное действование – богатств ли стяжание, произведение ли плодов земных преизобильное – лишь затем, дабы паки и паки воспроизводить, все увеличивая, создавая заводы многие, все новые и большие прежних, – но не овечное духом, но не осмысленное высшею целью, тленно и временно, и непреложно сокрушит себя, и даже само производство и само изобилие созданное изничтожит, ибо безмысленно, а потому безлепо и гибельно суть!

Алексий умолк так же внезапно, как и начал свою горячую речь. Поглядел чуть смущенно и мягко, словно бы извиняясь за излишнюю горячность, и заключил негромко:

– Отче! По нашим храмам можешь видеть ты, яко еще млады есьмы и не задавлены духом, имеяше хотение и волю к подвигу, а посему многое возможем свершить в череде веков грядущих!

Иван с беспокойством глядел на Феогноста: не обижен ли? Но грек не обиделся. Думал. Неспешно склонил голову, как бы утверждая сказанное. После зорко оглядел Алексия.

– Како мыслишь ты, сыне, о княжестве Литовском? – спросил он заинтересованно, и Иван вновь как бы исчез, как бы слился с полутьмой скудно освещенного покоя.

– Мыслю, что католики разорвут на части и сокрушат оное, стремясь к одолению церкви православной, и потому токмо на нас ныне надежда веры в русской земле! – строго ответил Алексий.

Иван отвалил к стене и мысленно, возведя очи горе, с жаром и трепетом воззвал: «Господи, сотвори так, чтобы он греку сему по нраву пришел! На сей малой нити зиждет ныне судьба земли моя!»

– Слыхал я, – медленно произнес Феогност, – что и в делах суетных, управляя заводами монастырскими, явил ты себя, сыне, зело рачительным и немалую успешливость оказал?

Алексий бледно усмехнулся, чуть заметно пожав плечами.

– Творил потребное по слову игумена своего! Покойный батюшка мой зело рачителен был и успешлив в многообразных заводах, начиная от стад скотинных и кончая книжным делом и зодчеством храмовым. Неволею усвоил и я сию мирскую мудрость... Но и то скажу! Для успешного ведения дел мирских паки надлежит не погружать себя в них всецело. Отстояние, духовная высота и здесь потребны сугубо и сугубую пользу приносят! Мню так, ибо не пораз убеждался в этом. Мню, даже и гости торговые, что всю жисть свою ведают един товар и куплю и продажу оного, много успешливее в делах своих, егда мыслят не об одной лишь пользе суетнейшей, но и о благе духовном! Шире, крупнее мыслями, щедрее и взыскательней к людям, видят глубинное и главное за суетою дня, не страшат утратить сегодня малую мзду, егда грядет послезавтра большая и множайшая, а скончая живот свой, не скупко дарят церкви Божии, вдов и сирот призревая, нагих одевая, насыщая голодных и напоая жаждущих, и тем великую пользу приносят Господу и народу своему.

Иван тут только решился подать голос, отнесясь к Феогносту из своего темного угла:

– Отче! Села ти, данные на прокорм дома святого, назирал и лелеял сей Алексий, сидящий zde, по прошению моему, и оказал в сем деле мирском, но потребном Господу, тщание великое и талан немалый!

Алексий, прихмурясь, опустил лицо. Феогност вспыхнувшим любопытным взглядом озрел молодого мниха, который определенно начинал нравиться ему, и подумал: «А почему бы и нет? Возможен и большее!» То, что без местных, выросших здесь, исхитренных в нравах и привычках своей земли помощников ему не обойтись, Феогност знал с самого начала и сейчас уже без прежнего внутреннего протеста ко всему, о чем просил москвит, воспринял эту новую подсказку князя Ивана. В самом деле, а почему бы и нет?

Судьба Алексия начинала, пока еще медленно, поворачивать, как медленно начинает движение тяжкий камень, стронутый водомоем с места своего, или рудовое бревно, поддавшееся наконец усилию плотника, или осыпь песка, или лавина тающего снега над оврагом, что сперва начинает неспешно, чуть заметно глазу, оседать, а потом уже с гулом и грохотом рушит в провал беснующей вешней воды, – так зачала поворачивать судьба Алексия к тому слепительному и многотрудному пути, по коему было назначено ему идти Господом в небесах, а на земле – крестным отцом, московским князем Иваном.

## Глава 32

Невеста, сысканная Семену среди многочисленных потомков Гедимины, была от роду четырнадцати лет, с белыми, как лен, волосами, крепкая, статная, «приятная зраком», как доносили послы, именем Айгуста. Крестить ее порешили на Москве, разом и крестить и венчать, и даже заранее подобрали новое православное имя: Настасья.

Семнадцатилетний Семен, не видавши жены, порядком нервничал, лишь одно понимая: брак этот был нужен, дабы спасти судьбу княжества, а раз так, он должен, обязан во что бы то ни стало полюбить чужую литовскую девушку, которую вот-вот привезут к нему на Москву. Полюбить, какая бы она ни была собою.

Для свадьбы старшего сына Иван, обычно скупой, не пожалел ничего. Кормить собирались всю Москву. Из деревень везли примороженные говяжьи туши, сыры, кади с маслом, битую птицу, дичину и медвежатину. Бочки с сиговиной и щучиной, норвежскую сельдь, шехонских вялых осетров, связки сушеной и вяленой рыбы доставляли торговые гости и княжьи осетрники из ближних и дальних земель. Студень готовили в котлах, на варку пива ушли все княжеские запасы солода, лагуны и бочонки с густой янтарно-коричневой хмелевой жижей выстаивались по погребам, ожидая своего часа. Греческое и фряжское красное вино; стоялый мед – без счета и меры; сорок различных квасов в сотнях бочек, привезенных из дальних дворов; редкие кушанья и специи иноземные – перец, шафран и имбирь, гречские и волошские орехи, изюм и нуга; бочонки береженого уксуса, горчицы, соленых и сушеных трав; вареные в меду ягоды; соленые и сушеные грибы – все пошло в дело. Готовились пироги с вязигой и осетрыми пупками, блины с икрой, расстегаи и кулебяки, печеные лебеди и павлины – как есть, в перьях, с вытянутыми и выгнутыми на серебряных проволоках шеями, – целиком запеченные кабаны и печатные медовые пряники, каши простые и сорочинские, кисели, варенья, печенья, закуски и сласти... Каких только ед и питий не наготовил великий князь!

Гостей ожидали аж из Суздаля. Столы с яствами для простонародья и бочки пива должны были поставить прямо в улицах. Готовили факелы и плошки – свету ради в ночную пору. Накануне свадебного дня варили уху разом на сорока поварнях, улицы устелили хвоей, а путь от церкви до теремов бухарскими коврами и алым сукном. Венчать молодых должен был сам митрополит. Слуги сбивались с ног. Иван еще накануне сам проверял приданое и подарки гостям: куниц, соболей и бобров, паволоки, цветную зендянь, камку и сукна, кубцы и чары, иконы, узорную ковань, кречетов, коней и оружие для особо дорогих гостей. Был зван сам баскак владимирский, и для него готовили коня редкой голубой масти, русскую бронь и уклад. Из всех погребов, чашниц, бертьяниц и кладовых извлекали на свет божий посуду точеную и глиняную, русское серебро и ордынскую поливную глазурь. От беготни, кишения прислуги по покоям и лестницам княжой терем казался разворошенным муравейником, и, почти оброшенный, словно бы никому не нужный, жених в этом гаме, шуме и суетне, несчастный, исходящий потом и страхом, только и молил, чтобы скорее пронеслось, прошумело и кончилось это всесветное позорище, поздравленья, хлопоты, в коих он не мог принять никакого участия... Как бы сказать отцу, что не надо, не стоит! Что лучше во много раз так бы тихо, пристойно, как сам батюшка... И понимал, встречая захлопотанного, умученного, с немного растерянною улыбкой родителя, что не скажется, не промолвится такое, что тому и самому нужно все это: и шум, и гам, и роскошь пира на всю Москву – ради чего-то, что хочет отец закрыть, затушить, отодвинуть от себя, и потому жалко становилось родителя. О многих темных делах Калиты знал и догадывал Симеон и не судил отца, понимал: должно так. Так зачем и пир, и шум, и расходы княжеские? Разве для соседей, для тестя, для Гедимины...

А Иван, и верно, старался затушить, скрыть от себя самого жалкую и противную мысль, что этим браком старшего сына не столько он связывает литовского князя, а его самого связы-

ваит и неволит к чему-то Гедимин. И еще одно было в душе, тщательно отодвигаемое и тоже жалкое, гадкое почти. То, что дочерей отдал не столь для них, сколь для себя: чтобы забрать Ростов, наложить руку на Ярославль... И, отдавая, думал, что уж сыновьям-то устроит семьи по-иному – по любви, по совету. И вот приходит любимого, старшего, венчать не с женою, а с Литвою, с литовским княжеским домом, ради опасу, ради мира, ради упрямого Нова Города, ради вечной занозы и угрозы своей – Александра Тверского. И мало еще ради чего... Прости меня, сын! Прости и пойми! Я и днесь не могу по-иному!

Хотелось посидеть с Семеном. Просто присесть рядом, обнять, по-старому, как прежде, и помолчать или начать неспешно сказывать о делах и заботах. Нельзя было. Никак. Некогда и даже негде. И он бегал, суетился, потеряв на время свою обстоятельную неспешливость, с жалкою добротою взглядывал на сына, и ловил ответные смятенные взгляды, и видел испарину на лбу княжича, и не мог ничем помочь, ни утешить, ни даже обтереть лоб сыну полотняным платом, прошептав слова ободрения...

В ризнице Успенской церкви меж тем все еще до хрипоты спорили: крестить ли невесту княжича погружением или окроплением? Пока грозный приказ Феогноста: «Погружением!» не положил предела спору. И уже доставали огромную медную купель, и вешали занавесы, дабы пристойно приобщить к Господу молодую литвинку.

Уже звонили колокола московских звонниц, и тяжело отвечало им грузное било на городской стене. Поезд с невестою втягивался в городские ворота. Уже не пройти и не ступить стало от толп любопытных москвичей, уже сам Иван забежал в верхний покой, где одиноко ждал сын, уже наряженный, заполошно выкликнул: «Едут!»

И тотчас вбежали дружки – Редегин с Хвостовым, сыновья Михайлы Терентьича и Вельяминова, Окатьев с Афинеевым, – а за ними степенно вошел свадебный тысяцкий, Михайло Терентьич, и началось, и повелось пристойным старинным побытом.

Пока в церкви боярыни из старейших родов московских раздевают невесту и окунают в купель («Наклонись, милая! Наклонись! Так вот, так, еще пониже! Головушкой, головушкой погрузись, не жалея волоса!») – И старая Блинова, слегка нажимая на затылок девушки, заставляет ее троекратно нырнуть, меж тем как священник, отец Ириней, произносит уставные слова и крестообразно помазывает миром новообращенную. Литвинка, отфыркивая воду, охает и с веселым испугом оглядывает кружок разряженных московских боярынь, золотую ризу и седую бороду старика священника, худо соображая, что с ней, поскольку уже мысленно готовилась к тому, иному, для чего ее привезли нынче на Москву...), пока все это происходит в церкви, в палатах готовят столы и свадебную постель из ржаных снопов, рядами выстраивается стража вдоль дороги, и Симеон, побледнев, покраснев и вновь побледнев, умытый серебряною водою с вином, переряженный, готовится выйти в церковь, стать рядом с невестой, которой он до сих пор еще ни разу не видал. Поезд жениха медленно шествует по сукнам. Невеста – вытертая, переряженная, с влажными еще волосами – уже ждет в церкви, в окружении подруг, и тоже волнуется, боится не узнать жениха. «Который? Который? Этот? Тот?» – решает она торопливо, когда шествие начинает входить в церковные двери, но боится спросить, так как худо понимает русскую речь. Жених тоже отчаянно вертит головой, отыскивая – где же невеста? И вот наконец они стоят рядом друг с другом (он не так высок, как ей хотелось бы, и слишком юный на вид, но зраком приятен, и не урод, слава Богу, и не черный лицом – черных она не любит и боится). Невеста глядится Симеону какой-то чрезмерно простой, и слишком плотной телом, слишком белобрысой, может, и слишком большой для него, хоть не кривая и не косая, а зраком усмешлива и вроде приятна собой... Он, волнуясь, протягивает руку. Пальцы у нее твердые, прохладно-влажные от недавнего купанья, и что-то прочное, устойчивое исходит от нее, передается Семену. Ишь, даже и рука не дрожит!

Над ними подымают венцы. Митрополит Феогност спрашивает громко, и Семен не сразу понимает, что надо отмолвить ему. Потом они оба одновременно ступают на подножие, делают

круг, другой... Ни он, ни она еще не думают ни о чем предстоящем, так волнуются и так стараются все правильно совершить. Она что-то говорит по-литовски. Он отвечает по-русски, верно, невпопад, но их тотчас заглушают пение и колокольные звоны, словно бы над самую голову.

Невесту отводят переменить головной убор с девичьего на женский, и Симеон опять стоит оброшенный, не зная, куда девать руки, как стоять, улыбаться или нет... Ее подводят снова, уже в повойнике, закрытую, и он вновь берет уже знакомые ему твердые пальцы сильной (излишне сильной!) руки и опять ощущает спокойствие, исходящее от нее, хотя девушка и волнуется не меньше самого Симеона... И вот они идут по сукнам назад, ко дворцу, осыпаемые рожью, льняным семенем и хмелем и громогласно, вспугивая галок с кровель и крестов, кричат по сторонам горожане; и самостийный хор жонок оглушительно запекает свадебное славословие:

Выбегало-вылетало тридцать три корабля, Ой, рано, ой, рано, ой,  
рано мое! Тридцать три корабля, да еще с кораблем, Ой, рано, ой,  
рано, ой, рано мое! Да еще с кораблем, со уда́лым молодцом Ой  
рано, ой, рано, ой рано мое!

И, продолжая петь, заглядывают, улыбаясь, ему в лицо, лезут, пихая стражу, и гремит, гремит, все оглушая, праздничный хор:

Со невестою своёй, со Настасьей-душой, Ой, рано, ой, рано, ой,  
рано мое!

Семен с трудом понимает, что они уже дошли до крыльца, едва не спотыкается о ступени. Гудит и кружит в голове; часто, толчками, бьет кровь в сердце; и сзади, словно подпирая, упруго вознося их на высоту, гремит несмолкаемый хор.

Михайло Терентьич подходит со ржаными пирогами в руках. Улыбаясь, скусывает острые кончики: не выколоть бы глаза молодой! Концами пирогов снимает плат с новобрачной, трижды обводит посолонь. Айгуста-Настасья, освобожденная, легко встряхивает головой, обводит глазами стол и гостей, заливаясь алым румянцем, и Симеон наконец-то видит, что она, и верно, хороша, хоть по-прежнему ничего к ней не чувствует такого и словно бы даже не понимает еще, что перед ним девушка-жена, с которой ему вечером предстоит вместе лечь в постель.

Их усаживают, кладут им одну ложку на двоих, и Настасья первая, с веселыми искрами в глазах, подносит ему что-то горячее и жирное. Он неловко глотает, черпает сам и, пряча глаза, сует ей ложку куда-то едва не мимо рта – только бы скорей исполнить стыдный обряд! А пир идет, и гости, сперва чинно выхлебавшие уху, уже начинают шуметь, уже озорные шутки и намеки достигают ушей Симеона, уже перебрали иные и фряжского вина, и стоялого меду, пронзительно дудят скоморохи, гомонят подвыпившие бояре, нагрелась холодная поначалу столовая палата, распаиваются чуги, коротеи и зипуны, жар ходит волнами, колебля пламя свечей, щурят узкие глаза татары, глядячи на молодую. Все дружки Симеона уже полупьяны и веселы через край, готовятся весть жениха с невестою в брачный покой, и только одни молодые, двое, сидят, изнемогая, словно на чужом пиру, она – сожидаячи первой ночи (как это у них будет? Мечтала девочкою: он придет, сильный, большой, возьмет ее на руки, словно перышко, с маху кинет на постель...), а Симеон одного ждет – конца, конца духоты, шума, пьяни (тайно ненавидит с детства пьяных, не понимает и боится их) – и не мыслит даже, как ему быть с молодою женой...

А отец, с увлажненным челом, кивает ему, тоже хмельной, чего с родителем, почитай, и не бывало никогда, и мачеха посматривает на них обоих со значением – скоро пора и на

постель отводить! Словно в тумане видит Симеон, как пробираются сквозь толпу гостей и слуг какие-то в татарском платье... Что-то случилось? Отца вызывают из-за столов. Беда? Какая? Хоть бы петь перестали! Не слышно же ничего! Он тянет шеей вослед отцу, брови сдвигаются заботною складкой: выйти? Узнать? Кто-то трогает его за рукав – едва не забыл о молодой жене! Рассеянно успокаивая, гладит ее по плечу, а она, заглядывая ему в очи, вдруг осерьезнивает, прощает трепетно:

– Воино? Рати? Ратни гроза?

И Симеон, опомнясь, берет ее за руку, твердо сжимает запястье:

– Нет, нет! Иное! Не страшись!

Она не страшится, но и не отнимает руки. Ей сладко, что он так, по-мужски, сжал ей руку, только теперь почувствовала она наконец, что рядом с нею не мальчик, но муж, мужчина, хоть и не подымет ее в воздух и не бросит с маху на постель. И она вздыхает глубоко-глубоко и слегка – не заметили б гости – прижимается плечом к своему московскому мужу.

Вот, расталкивая толпу, пробирается к нему дворянин, посланный отцом, говорит вполголоса:

– Посол из Орды. Саранчюк! Батюшку князя к Узбеку кличут!

Симеон кивает благодарно и, поворачась к жене, поясняет ей:

– В Орду зовут! В Орду!

– Ты? – спрашивает литвинка, округляя глаза.

– Не я, не я! – трясет головой Симеон. – Отец, отец, батюшка! Отец поедет!

Она кивает. Кажется, поняла! Уж не огорчена ли, что не его зовут? От постели брачной – в Орду! И он только тут догадывает, что молодая литвинка хочет видеть в нем воина, мужа, и немножко обижается сперва: привыкли тамо, в Литве, к ратям да браням! А потом, подумав, к худу то или к хорошу, решает, что к добру. Жене должно гордиться супругом своим!

Но вот возвращается отец, освобождают место важному гостю со свитой, несут кубки, серебряные тарелы и мисы. Лик у родителя светел и радостен. Слава Богу, значит, удача в Орде! Какая? О чем? И отец, отвечая на немой вопрос сына, произносит, усаживаясь, одними губами, так, что только Симеон и понимает его, одно лишь тихое слово:

– Дмитров!

Тихое, еле слышное, оно звучит меж тем как удар, как хлыст. За ним все те поносные речи, что говорили об его отце после ростовского взятия. Чем еще обернет ему этот новый ярлык? А отец светел и радостен, он снова поверил в удачу, он завтра же, едва справив свадьбу сына и едва ли не позабыв о ней, устремит в Орду, на суд с престарелым Борисом Дмитровским, что не хочет добром уступить свое разоренное и разоряемое княжество всесильному московскому соседу.

## Глава 33

В Радонеже стучат топоры. Стефан с плотником Наумом и с младшим братишкою, Варфоломеем, рубят новую клеть, торопятся успеть до покоса.

Парит. Облака стоят высокими омертвелыми громадами, не загораживая яростного солнца. Земля клубится, исходит паром. Лист на деревьях сверкает и переливается в дрожащем мареве. Окоем весь затянут прозрачною дымкой. Все трое взмокли, давно расстегнули ворота волглых рубаш. Волосы мокрыми космами ниспадают на разгоряченные, опаленные солнцем лбы. Бревна истекают смолою. Топоры горячи от солнца – не тронь. Чмокает и чавкает свежее дерево. Оба, боярин и мужик, молча, враз, подхватывают топорами бревно, круто, рывком, переворачивают (давно выучились понимать друг друга без слов) и тут же с двух концов, наперегонки, зарубают чашки, Варфоломеем торопится разложить ровным рядом мох по нижнему бревну. Урядив свое, тоже хватается за топор, изо всех силенок гонит крутую щепку, вычи-



щая паз. Готовое дерево тут же усаживают на место. Стефан мрачен, досадливо щурит глаза, прикусывает губу зло и твердо врубает секиру (что означает у него какую-то настырную муку мысли), и Варфоломей, обрасывая пот со лба тыльной стороной ладони, отдувая с лица долгую прядь льняных волос, коротко и преданно взглядывает на брата, недоумевая: чем же так раздосадован Стефан? Из утра уже оборотали восемь деревьев, и клеть гляди-ко, растет прямо на глазах.

Наконец Стефан разгибается для передышки – сухощавый и высокий, в отца, просторный в плечах, – легко вгоняет секиру в бревно, обтирает чело рукавом и слегка кивает Науму, который тотчас, соскочив с подмостей, проворно забирается в тень за грудую окоренных бревен. Сам Стефан медлит, оглядывая вприщур поставленный на стояки сруб, и роняет сквозь зубы – не то брату, не то самому себе:

– Единственная дорога – монастырь! Не прибежище в старости, не покой, а подвиг! Да, да, подвиг!

Варфоломей вперяет взор в лицо брата – строгое, загорелое докрасна, резкое и прямое, словно обрубленное топором ото лба к подбородку, – в его углубленные, огневые, обведенные тенью глаза.

– Фаворский свет? – переспрашивает с надеждою. – Как на Афоне?!

Про фаворский свет он может говорить и выслушивать бесконечно.

– Стефан, – спрашивает он робко, – ты ведь мне так и не дотолковал того, как надобно деять, чего там у их... мнихов афонских?

– Чего тут уведашь... В лесе живем... – рассеянно отвечает Стефан и присовокупляет досадливо: – О чем тут, в Радонеже, можно узнать!

– Научи меня греческому! – зарозовев, просит отрок. Стефан остро взглядывает на брата, отводит взор и покачивает головой:

– Недосуг! Трудно...

Учить Стефан не умеет совсем. Мысли бросает неожиданно, урывками, даже не подозревая, какая муравьиная работа творится в голове меньшого брата после каждого очередного Стефанова словоизвержения. Он опять было берется за секиру, подкидывает ее в руке, что-то поправляет легкими скупыми ударами носка.

Солнце встает все выше и уже приметно истекает из середки своей тяжелою тьмой. Вот край высокого облака легко коснулся солнечного круга, пригасив и сузив его жгучие лучи. В густом настое запахов смолы, пыли, навоза почуялось легчайшее, чуть заметное шевеление воздуха. Хоть бы смочило дождем!

– Очень хорошо! – громко проговаривает Стефан, втыкая в ствол блеснувшее лезвие секиры. – Очень хорошо, – повторяет он, – что все так окончилось! Роскошь, палаты, вершники впереди и назади, серебряные рукомои... На кони едва ли не в отхожее место!

Варфоломей слушает, раскрыв рот, забыв в руке недвижный топор. Не понял было сперва, что Стефан бает про ихнюю прежнюю жизнь.

– Роскошь не надобна человеку! – режет Стефан, ни к кому не обращаясь, горячечным взором следя пустоту перед собой. Младший даже дыхание сдерживает, мурашками по коже поняв, что брат намерился сказать сейчас что-то самонужнейшее, о чем думал давно и задолго.

– Господь! В поте лица! – Стефана распирает изнутри, и слова выпрыгивают оборванные, словно обугленные, без начала и связи. – А мы, все силы – опастись себя от тяжести! Облегчить плеча, от поту опастись! На том камени зиждем, что и сам тленен и временен! Алчем тех сокровищ, что червь точит и тать крадет! И на сем, тленном, задумали строить вечное! Московляне правы, что отобрали у нас серебро! Плохо, что, пока не свалит на тебя беда, сами не можем! Слабы духом! Надо самим! Нужно величие духа! Да, в монахи! – продолжал он яростно, с жутким блеском в глазах. – Взять самому на себя вериги и тяготу большую и тем освободить дух! От роскоши, от гордости, от похвал, славы – ото всего! Тогда – узришь свет фаворский!

И сыродцы нынѣ терзают Русь из-за нас! Нам, нам, русичам, надобно сплотить себя духовно! Чел ты слова Серапионовы? Мы днесъ «в посмех и поношение стали народам, сущим окрест!» Единение! А затем – дух святой возжечь во всех нас! Вот путь! Для сего – и прежде – очистить себя от скверны стяжательской! Дьявол взыскует плоть, Господь – дух! И это должны мы! Бояре! Мужики – они еще не вкусили благ, а мы, отравленные ими, должны сами себя изменить! Хватит сил – духовно сумеем поднять всю Русь! Все прочее – тлен. Слова не нужны. Нужны дела! Подвиг! На Руси пропала вера в подвиги!

Когда поднялась Тверь, громили Шевкала, – ты еще мал был, – знаешь, я шатался по торгу. Собралось вече. И все, все! Знали! Что надо помочь! И никто, понимаешь, никто! Первым чтобы! Как старшина, бояре как? Как набольшие меня? И – предали! На поток и раззор ордынский предали тверичей! Я тогда уразумел, понял: дух! Духом слабы! Не силою! А в училище нашем, в Ростове, споры о тонкостях богословских, что там сказал Несторий... Что бы то ни, а – сказал! А мы – повторяем только!

И Дмитрий Грозные Очи! Бесполезная смерть в Орде. Как я его понимал тогда! Преклонялся! Героем считал! Подвижником... А быть может, и он, вовсе... от бессилия...

Подвиг! Идти вопреки! Знаешь, ежели бы вдруг разрушились деревни и, словно от мора некоего, народ побежал в города, стеснился в стенах, забросив нивы и пажити, я бы сказал тогда: паши землю! Но не опускайся долу, не теряй высоты духовной! Знай, что и там, на пашне, творишь ты не живота ради, а ради духа животворящего твоего!

Но народ жив! Он как раз в деревнях, на земле, вот здесь, окрест нас. Нужен подвиг духовный, надобен монашеский труд! Совокупление в себе Духа Божьего! Фаворский свет! Это огонь, от коего возгорит новое величие Руси!

Стефан замолк, как обрезал. Варфоломей глядел на брата не шевелясь. Путь был означен. Им обоим. И – он знал это – другого пути уже не могло быть.

– Стефан, – спросил он после долгого молчания, – что нам... что мне, – поправился он, зарозовев, – надо делать теперь? Укреплять свою плоть для подвига?

– Человек все может и так... – устало возразил Стефан. – В яме, в узилище, в голой степи, в плену ордынском годами живут люди! Выдержать можно много... любому... когда нет иного пути! Сильна плоть! Важно самого себя подвигнуть на отречение и труд, важно... да ты все знаешь и сам! – Стефан вздохнул и вновь взялся за рукоять секиры.

– Я с тобою, Стефан! – серьезно выговаривает отрок Варфоломей, в свой черед подымая топор. – Что бы ни сталося впредь, я с тобой!

## Глава 34

Старый дмитровский князь Борис Давыдович оторвался от вощаниц, по которым вдвоем с ключником тщетно пытался вот уже битых два часа свести концы с концами. Дрожащею, в коричневых крапинах старости, рукою отер пот и, растерянно взглянув на ключника, с отчаянием спросил:

– Слушай, Онтипа, где же десять-то гривен давешних?

Спросил и закашлял, с трудом, задыхаясь (мучила грудная болеть), продышался и без сил отвалил к стене. Ключник, покусывая бороду, вертел вощаницы так и эдак, вздыхал:

– Во Твери ежели, у того купчины, у Микиты Гюрятича, по заемной грамоте прошать? – нерешительно предложил он.

Борис, коего вновь начал мучить приступ кашля, молча затряс головой, продышавшись, отверг:

– Брали уже! И у ростовчан брали, и у новгородского гостя, Герасима Нездинича, займовали... Почитай, селетошный хлеб весь на корню продан!

– Разве скота посбавить? – предложил ключник.

Князь отчаянно махнул рукой. В прежние годы, еще при Михайле, когда ему довелось наместничать во Пскове, было много легче. Оттоле и серебро шло, и товар. А теперь москвиты зажали совсем! Кабы не тверские гости, то и продать хлеб, лен или говядину и немочно было! Соболя, что когда-то обильно водился по Дубне и Яхроме, княжеские добытчики почти выбили совсем, бобра тоже поменело. Дорогих шкур, что шли в Новгород в обмен на серебро, нынче стало негде и доставать. Многообразные ездки из Москвы и в Москву, наглые, требующие даром кормов и постоя, до того разорили припутные деревни, что народ начал подаваться кто в тверские, а кто в московские пределы. А выход ордынский давай за всех, и за убежлых тоже, не сбавят! Князь притянул к себе вощаницы и невидяще уставил в них свой потухающий взор. Была молодость, сила, надежды великие, честолюбие паче меры... А ныне вон засаленные полы, драные рукава в заплатках – и это княжеские обиходные порты! Не на черный двор – к боярам в них выходит! Едина бархатная ферязь с серебряными пуговицами хранится как зеница ока, в ней он и нынче поедет в Орду. А подарки: хану, вельможам, слугам вельмож, нукерам, писцам, придверникам... Откуда их взять? Кого упросить, пред кем пасть на колени? Мужиков обложить лишнею данью, дак и вовсе разбегутся все! Боярам уже стыдно и в очи поглядеть. В Орду едут с ним на свой кошт, от князя когда полть мяса перепадет, а уж серебра...

– Дай кошель! – потребовал князь хрипло. Ключник высыпал на стол жалкую горку тяжелых – безмерно тяжелых, с кровавыми трудами добытых! – гривен-новгородок. «Хоть по дорогам обозы разбивай!» – в отчаянии думал князь. Молодцы обтерхались все, ни одеть, ни оборужить путем. Приходит расставаться с дедовой дороною бронью и саблю ту, аварскую, в подарок везти (мало будто у ордынцев своих сабель!). Материны колты и жемчуг... Стыдно вато вроде... А! Кожу сымают, дак зипуна не жалеи! Просил у Ивана Данилыча, намекал: дозволи, мол, послать своих молодцов с москвитами Торжок пограбить, хоша б зипунов добыли... Не дал. Кланялся и великой княгине тверской, Анне, ради мужа покойного могла бы чем и пособить! Не может, у самой руки связаны. Сын-от старшой на Пскове сидит! А и он, Борис, виноват! В те-то поры не поддержали Михайлу Ярославича перед ханом, вси откачнули от него, спрятались, поддались Даниловичам! И он тоже не возмог, да и не похотел... Нет, один конец: доставать последнее береженое добро и со всем, со всема в Орду, к хану на суд, на расправу... Выход, бают, не в срок даю! Даке выход тот даю прежде великому князю, он и держит у себя излиха, а не скажи! Да князь я или нет?! И мы от великого Всеволода! И нас не замаи! Нас побить с уделов, а там и сам-от не усидит! Мор ли, что, али какой дурной родит, в семье ить не без уроды, и тогда: где князи русстии? Кто возможет? А уже и нету! И никто не возможет! Как на Волини створилось: побил Данил Романыч бояр да князей, сел сам королем, на столе, а после, глядишь, при внуках-правнуках, и обветшало-исшало, и нетути никого. Ляхи да Литва все под себя и забрали! Так-то! Он разгорячился, выпрямил стан, смешновато вздернул бородкой, не видя себя со стороны, не ведая, что смешон и жалок в своем латаном-перелатаном платье, с этою худой морщинистой шеей и старческой дрожью рук. «Ужо! – пообещал он мысленно. – Нынче доложу хану, все доложу! Паду в ноги, пуцай уймет князя Ивана, пуцай...»

– Эй, Онтипа! Как думаешь, уймет хан Данилыча? – спросил он. Ключник пожал широкими плечами, взъерошил бороду, начал чесать за ухом, отводя глаза.

– Кубыть и склонит слух, дак тово... даров маловато! В Орде ить без приноса никуда и не сунесси!

Князь перевел глаза вкось, во взгляде ключника поймал невольное отражение свое – жалость, смешанную с небрежением, – и поник головой. Надо ехать в Орду! А там – что Бог даст... Есть же правда хотя в небесах, у Вышнего!

## Глава 35

Иван Данилыч, прибывши в Сарай, узнал, что князь Борис Дмитровский уже четвертый день как прибыл и ходит по домам вельмож ордынских. Он недовольно поморщился: хождение дмитровского князя грозило лишними расходами. Натъ было попридержать дорогою! «Эк, не хватились вовремя!» – подумал Иван и отправился к беглербегу. Тот, получив московский принос, встретил Калиту как старого друга. За чашею хмельного кумыса, покачивая головой и шуря в улыбке непроницаемые глаза, попенял:

– Ай, ай, князь! Нехорошо! Бают, дань держишь у себя!

– Это кто ж, не предатель ли ханский, не князь ли Борис налгал? – Иван искоса бросил острый взгляд и продолжал с нажимом: – А ведомо кесарю Узбеку, яко сей служил Михайле Тверскому по Плескову и ныне сносится со плесковичи, со князем Александром Михалычем, а вкупе и со князем Гедимином, мысля град Смоленский под Литву склонить и тем нашему кесарю великую обиду учинить, а ханской казне умаление?

Беглербег застыл, загадочно и недвижно вперив взгляд в лицо Калиты. Потом быстро поставил чашу, склонился вперед, свистящим шепотом требовательно спросил:

– Докажешь?

Иван отклонился, спокойно, допив кумыс, отер усы. Медленно извлек кожаный кошель, медленно развернул грамоту, старую, удостоверяющую одну лишь службу Бориса во Пскове. Дал прочесть неслышно подсевшему к ним толмачу. Потом извлек вторую – невинное с виду письмо в Дмитров из-за рубежа, перехваченное на Волоке, – подал и его, и, наконец, как главную свою козырную биту – послание Гедимины в Смоленск, попавшее в руки брянского князя и проданное Калите, где был неосторожно упомянут и князь дмитровский, неясно, правда, по какому делу, но... После двух предыдущих грамот... чтущий да разумеет! Ежели к тому подсказать и досказать, уповая на вечную подозрительность Узбека...

– А что выход задерживал еговый, то пустое! Недодал, дак и приходило неволею задерживать! Эдак он и половину выхода привозить учнет, а я из своих плати? Тоже ить серебро не из земли рою!

Беглербег думал, шурясь и все не отрывая глаз от грамоты, потом довольно раскатился мелким дробным смешком:

– Умен ты, князь! Ох умен! – Вопросил лукаво: – Может, и поверит тебе хан! А?

Иван чуть заметно пожал плечами:

– Не поверит – потеряет Смоленск! – Взглянул прямо и простодушно, как только он и умел. Беглербег кончил хохотать, покачал головой, задумался. Иван осторожно поставил на ковер золотую чарку с красным камнем в рукояти, подвинул ее к беглербегу. Тот устался на чарку, поцокал, покивал головой, одобряя, и, словно бы рассеянно, пододвинул к себе. Вдохнул, еще вдохнул, глянул исподлобья, уже без улыбки, сказал:

– Доложу повелителю!

Иван на всякий случай объехал в тот день и назавтра еще и других, всюду перевешивая дмитровского князя дарами, пока не почувствовал, что хватит – чаша весов, безусловно, склонилась на его сторону. Ему даже на мгновение стало жаль неразумного соседа, что поволокся в Орду тщетно спорить с ним, Иваном. Последнее добро, чать, выгреб из сундуков! Лучше бы о себе попридержал. Хоша супруге на прокорм оставить!

Жалость как пришла, так и ушла. Было не до жалости. Маленькое Дмитровское княжество стояло тем не менее на северных путях торговых. Москве или Твери, а поддаться оно должно было все равно. Даром ли при Михайле во тверских подручных ходили? «Забрать Дмитров – умалить Тверь, старого врага своего!» – подумал так – и стало не жаль старика. Мешал. А потому – надлежало убрать.

И снова был Узбек. Свой, родной, до смутного ужаса любимый, капризный и изменчивый, как балованная красавица, явно что-то скрывающий от него на сей раз... И снова это загадочное:

– Не много ли ты хочешь, князь?

(Не много, ой, не много! Знал бы ты, кесарь, сколь безмерны желанья мои и какой малости добиваюсь от тебя ныне! Слава Вышнему, что он один веся тайная сердец человеческих!)

И снова улыбки и дары, дары и улыбки... Старые знакомцы постарались за него излиха. И все-таки был один миг неверный, миг, в который Иван едва не смутился духом. Это когда старый дмитровский князь, понявши наконец, что потерял все, что малые дары его ни во что же пришли и даже последней жалкой чести – чести верного ханского слуги – ему не оставляют, обвинив в союзе с Литвой и измене, вдруг непристойно и нелепо, как не ведут себя никогда в ханских покоях, завопил, вытягивая худую шею, тыкая издали в Ивана острым перстом. Завопил, заорал надрывно, искажаясь ликом, брызгаясь, выкрикивая что-то неразборчивое, взалхлеб, где только и было слышно:

– Тать! Кровопиец! Тать! Тать! Тать! Ростов и нас!.. Ростов и нас! Пожди! Ужо! Погоди! Суда Божья! Аспид! Тать! Тать! Тать! Кровопиец несытый!

И пока его выводили под руки, почти волокли по коврам – ноги князя Бориса не слушались, заплетались, цепляя, – все то время старик бесстыдно орал и тыкал, тыкал перстом в Ивана, изрыгая хулы и проклятья.

Калите много стало поиметь сил, чтобы с пристойною жалостью и пристойными взглядами посетовать хану на безлепое поведение князя Бориса Давыдовича, попросить снисхождения соседу, заверив, что сам он, Иван, никакой неправды творить не будет и сверх того, что достоин по закону ханского выхода, с дмитровцев отнюдь не возьмет. (Последнее лишнее было говорить, да так уж вымолвилось невзначай...)

А едучи домой и проезжая мимо Борисова подворья, боялся все, что вот сейчас выскочит дмитровский князь, рухнет под конские копыта или иное какое пребезобразие учинит... Ждал напрасно. Князь Борис, как приволокли давеча домой, так, сказывали, и не встал с одра. Сердце ли надорвал себе криком или иное что, только назавтра уже повешали о смерти старого дмитровского князя. И еще было искушение: идти ли в церковь? Себя пересилив, пошел. Дмитровские бояре расступились перед ним даже с некоторым ужасом. Иван приблизился ко гробу. Лик Бориса был строг и хладен, с печатью благородства древних княжеских кровей. То искажение черт, от бедности и бессилия бывшее, злоба и мука лица ушли со смертью, с минованием земных горестей и страстей.

«И с ним предстоит стати ми перед Господом!» – сурово подумал Иван, склоняя голову и осеняя себя знамением крестным.

В негустой толпе дмитровцев послышался подавленный всхлип. Кто-то из слуг покойного неложно страдал по господине своему.

«И что теперь? – думал Иван, остановясь и глядя на ледяной, отрешенный мира сего костистый лик смерти. – Теперь Галич (брат покойного такожде не молод зело!) и Ярославль. Паче всего Ярославль! И вновь и опять ему – творить зло, а им – проклинать его, яко изверга и лиходея. И что потом? Умереть, не доделав, не совершив и токмо питая надежду на детей, на потомков, что удержат, выдержат, возмогут и впредь сие!

И не зреть мне земли обетованной! Не узреть плодов возвращенного древия! И грехи и скорби – на мне! И сия смерть... И одна ли она? И проклянут мя, и станут ругаться мене, и память мою изженят из сердец своих! А я? Я не могу и не хочу иного пути и иного креста Господня!»

Иван медленно отворотил лик от покойника и неспешно, твердо ступая, покинул церковь. В уме его уже слагалось, чем и как мочно воспользовати в Дмитрове (мытный двор под себя

забрать, конечно!), дабы враз и с лихвою оправдать пожалованный ему ныне дмитровский ярлык.

Все, кто был до него на великом владимирском столе, разорялись, насыщая Орду. Даже Михайла Тверской споткнулся на этом. И только он, Калита, с каждым новым ярлыком, с каждой покупкою становится богаче, а не беднее. И быть может, так и надо, чтобы было трудно, чтобы было столь трудно порой, что почти свыше силы! Должен ему Господь напоминать о язвах его, и о карах, и о суде грядущем, строгом и праведном, где предстоит ему стати одесную престола со всеми ими, загубленными здесь, и отвечать Вышнему вся тайная сердца своего, и молить милости грешной душе своей ради единого в ней, ради того, что не для себя (вернее же, не для себя только!) творил он вся скверная и собирал... Не землю даже, и тем менее богатства земные, но единое то, без чего страждет разорванная и угнетенная агарянами русская земля, единое то, чем совокупляют себя народы и на чем стоят царства земные, – власть.

## Часть вторая Тверской колокол

### Глава 36

Колокол – великий, слитый еще убиенным супругом, чудом уцелевший в погроме и разорении Твери, – мерно отослал в Заволжье последний свой тяжкий удар. Томительный голос меди еще долго звучал в морозном далеке или в ушах то звенело? Анна вновь и опять вспомнила покойного. Не так часто вспоминала и сына, Митю, тоже погубленного в Орде. Ныне, когда прошло и поотдалилось, позаросли временем острые подробности каждого дня, вновь не могла понять, поверить, какою судьбою столь гибельно поворотило в ту пору? Почему одолел Юрий? Почему одолела Москва? Почему возник, именно возник, словно наваждение бесовское, некогда тихий и незаметный, а ныне пугающе страшный Иван?

Сердце, ее старое сердце, начинало сдавать. Вот и ныне, ощутив головное кружение и тягучую немоту в членах, отдумала идти в церковь, стала на молитву у себя, в иконном покое. Никто не должен узреть невольной слабости великой княгини тверской! Ни народ, ни бояре, ни Константин, ни тем паче золовка-московка, дочь покойного Юрия Данилыча, врага смертного, вековечного, убийцы и татя. Перед нею всегда старалась выглядеть сильной: пусть не ждет скорой смерти свекрови! Прежде пушай Сашок воротит во Тверь!

А паче того, не должно Анне сегодня утомлять себя излиха, ибо приезжает внук, далекий, жданный и еще, почитай, не виданный ни разу с младенческих лет! Едет на первый погляд! Федор, Федя, Федюша, Феденька, не знай как и назвать ради нонешней встречи! На кого стал похож? Втайне хотелось бы, чтобы на деда своего, – и ошиблась. На деда походил (чего так и не узнала никогда) самый младший, по деду и названный, Михаил.

Окончив молитву, вместо того чтобы идти, как обычно, по службам, поднялась по лесенке, – закутавши плечи в долгий соболий, подбитый шелком, почти невесомый опашень, а голову – в пуховый плат, – прошла намороженными переходами и с них, проминовав двух сторожей, почтительно отступивших перед старою госпожой, вышла на стрельницу городской стены. Холод отдал, и с Волги, издалече, тянуло свежестью и словно бы уже сырью неблизкой еще весны. Серповидно изгибаясь, уходила вдаль белая дорога реки, тянулись амбары, клетки, пристани, сейчас запорошенные снегом, а весеннею порой кишмя кишачие народом. Глаз ловил привычно голызины того, давнего, разоренья, измеряя, сколь еще осталось незастроенных пространств в прежних пределах градских. Медленно подымалась Тверь! Совсем не так, как в прежние годы... И все ж подымалась, росла, густела людом, сильнела торговлею. Пусть скорее приезжает Федор! Старое сердце начинает сдавать. Умри она в одночасье, и – как знать? – отступит ли Константин перед Сашком безо спору? Или московская жена, вкупе с князем Иваном, склонят его к тому, чтобы не пустить старшего брата на отчий стол! Константин был ненадежен, робок, податлив на чужую волю... Бог с ним. Это ее вина! Робела тогда, когда носила во чреве, вот и... Другие не таковы были – ни Митя покойный, ни Сашок, ни даже Василий. Митя, Митя! Грех на мне, стала тебя забывать! Почто это так сотворено, что гибнут всегда самолучшие, самые храбрые, самые честные. Им бы и жить! Им бы и детей водить! Скот держат, дак на племя всегда оставляют лучших, а в людях, словно бы слепы, лучших завсегда прежде пошлют на убой!

Вон по той дороге от Торжка, мимо Отроча монастыря, едет он, внук, старшенький ее второго сына, Александра, Федор. Федя, Федюша... Что ему сказать, как приветить? Что насоветовать ныне?

Злоба лежит в ее сердце. Холодным камнем или свернувшейся дремлющею змеей. Не жить им с московским князем! Худой мир с убийцами мужа и сына! Или Москва, или Тверь (все-таки Тверь!) одолеет в этой борьбе. Но вместе им уже не жить, не поладить ни в чем, никогда. И пушай московиты ликуются с ханом Узбеком! Сами, почитай, отатарились той поры! После Шевкаловой рати не осталось у нее к ордынцам ничего человеческого в душе. Выжгло огнем. Нелюди! И всё тут. Лучше Литва, немцы даже! Объяви ныне папа римский крестовый поход на Орду, она бы, верно, сама снаряжала рати в помощь католикам. Александр в Плесковке, слышно, колеблется, думает. Бояре еговые стали поврозь (не Акинфичи ли воду мутят?). Скорее бы ехал Федор! В мечтах видела уже четырнадцатилетнего мальчика взрослым мужем, воеводой, мстителем за поруганный тверской род. Только сердце, старое сердце, в котором выгорело всё, кроме единого желания отомстить московитам, начинало предательски сдавать. Погоди, сердце! Потерпи! Дай встретить внука! Дай дождать Сашка. Дай возродить город и утвердить снова тверской род княжеский! Дабы, отойдя туда, могла она покойному Михаилу сказать, что как могла, как умела своими слабыми силами женскими, а отомстила-таки за него, и за сына, за Митю, тоже, и возможет глянуть им в очи и стать с ними вместе одесную престола великого и грозного судии! А прощать, яко заповедал Христос, врагов своих... Татей не прощают – казнят!

Она стояла – прямая, высохшая, с опаленным, навечно скорбным лицом, с огромными, когда-то прекрасными, а теперь зловещими, в черно-синих тенях обводков глазами, – стояла, как статуя скорби и последней надежды, вглядываясь в кристальную, выбеленную снегами даль, в далекую дорогу, по которой скоро поскачет новый тверской князь, коему, быть может, предстоит возродить вновь величие своего города!

Но не ехал поезд, не бежали кони. Анна еще пождала, вся издрогнув. Как всегда, после приступа гнева ее начинало знобить и таяли силы. В конце концов, смешно было думать, что он прискачет именно теперь, в этот час... Погорбась, она осторожно, почти как слепая, поворотила назад, в терема. Жизни оставалось мало, слишком мало, пугающе мало для всех дел и замыслов, что не оставляли и поднесь вдову Михайлы Тверского.

Федор приехал ввечеру и совсем не с той стороны. Глядельщики едва не проворонили княжого поезда.

Анна едва успела выбежать на крыльцо. Внук подымался, высокий, ростом почти уже со взрослого мужика, и только лицо – светлое, сияющее, румяное и такое детское-детское! – не давало ошибиться. В очи бросились знакомые лица бояр Александровых: Морхинина и младшего Бороздина, – но не до них было! Мальчик, сияющий, лучащийся светлым весенним солнышком, и в солнечных рябинках мягкий еще, детский, нос, и щеки, словно обрызганные зарей. А глаза веселые, озорные и умные, умные, конечно! Федюша! Внучоночек мой любимый! Анна обняла его не по уставу – по сердцу, вся прильнула к этой цветущей, юной плоти, к этой новой надежде своей, с падающей радостью в сердце ощутила его твердые руки (уже сейчас, верно, смог бы, откажи ей силы, на руках донести до покоя!). И этот запах свежести, юности от лица, губ, рук, волос, ото всего... Господи! Пошли мне не узрети никакого худа над отроком сим!

Внизу, на широком дворе, теснятся возы, и кони ржут, и весело гомонит дружина, и слуги носятся стремглав, разводят коней по коновязям и стойлам, задают корм, разводят гостей по клетям и повалушам. Сейчас баня, молебен, а потом пир. Радостно благовестят колокола, сверкает снег – солнце взошло над Тверью! И снова надежды, и гордые замыслы вновь, и скоро, уже очень скоро – весна!



## Глава 37

Свечи в кованых серебряных стоянцах. Ордынская глазурь на столе. Ковры глушат шаги, заслонки окон задвинуты, муравленая печь пышет жаром. Свет свечей, колеблясь, отражается в кованом узорочье, в драгих окладах икон, резною тенью обводит лица бояр, великой княгини Анны и княжича Федора. На столе закуски, квасы и мед, но это не пир и не дума княжая. Скорее, тайный совет. Князя Константина здесь нет. Анна боится сына, даже не его самого, невестки, которой придется, ежели воротится Сашко, уезжать из Твери. О сию пору справлялась, держала. И сына держала: Константин знал, что должен уступить стол Сашку.

Разговор идет уже второй час, и за многое, сказанное тут, можно ответить головой перед ханом Узбеком. Возможен ли Гедимин одолеть Орду? Не погибнет ли и Тверь под Литвою? О чем ся мыслят орденские немцы? Не предадут ли они в тяжкий час, предав Литву и укрывшись Тверью от ханского гнева? И паче всего: о чем мыслят владыка Василий и бояре Господина Великого Нова Города? Был бы Моисей на престоле Святой Софии! Но Моисей удалился в монастырь, а Василий Калика ликуется с Москвой. Как поворотит Новгород, так и все ся повернет! Плесков готов поддержать Александра Михалыча, но токмо со старшим братом вкупе. И все они страшатся Литвы. О чем думает Гедимин? Это никому не известно. Гедимин неверен и опасен. Он никому не друг, и папу римского обманывает так же, как и патриарха царградского. Какая вера победит в Литве? И как быть с ханом Узбеком?

Лишь о Москве и о князе Иване Данилыче речи нет. Хоть о нем думают все. И любое решение, любое слово, сказанное в этом укромном покое, прежде всего, яко стрела оперенная, противу Москвы, противу великого князя Ивана.

– С ханом не считатися неможно, надобно ехать в Орду! – говорит наконец Игнатий Бороздин – и как припечатывает.

– Посылала уж... – нерешительно отзывается великая княгиня Анна.

– Посылать мало! – неуступчиво возражает боярин. – Надобен князь!

И тут доньше молчавший Федор подымает голос. Он необычно серьезен и сейчас кажется много старше своих четырнадцати лет. Голос у него ломается и звенит, но даже и по этому юному с переломами голосу видно, что мальчик уже понимает все: и меру беды, и меру мужества заранее взвесил и принял на рамена своя. Сдвинув брови (красив будет, егда возмужает, юный тверской князь!), он говорит как решенное, твердое, принятое, яко крест мученичества, на Голгофу несомый:

– Батюшке неможно. Убьют. Ехать надобно мне! Предстану перед ханом, вызнаю все, а тогда уж...

Анна приоткрывает рот в ужасе, хочет крикнуть, вопреки всему, вопреки горькой нужде и заботам княженья, участи Сашка и будущему Твери: «Не езд!» – и, сталкиваясь со взором мальчика – уже не мальчика, а мужа, героя, воина, юного князя тверского, – сдерживает и крик и стон. И, до крови закусывая губы, сникает. Ехать должен он – и боле нельзя никому. Не пошлешь ведь Константина, ни Василия не пошлешь! Не захотят да и не возмогут ничто! Сама бы поехала! Нельзя, неможно. Надобен князь! Александр или его старший сын. А ей вновь не спать и молить ночами Господа Бога: да не попустит, да приведет живым назад из проклятой Орды!

И ничего не сказала, не изрекла: только в торжественной, стойно церковной, мерцающей полутьме покоя нашарила рукав внука и бережно коснулась сухою ладонью его молодой, мальчишечьей и мужественной руки. Да еще, когда бояре начали обсуждать, кому и с кем сопроводить отрока в Орду, поймала на себе взгляд архимандрита Отроча монастыря, строгий, но и ободряющий. Взглядом, молча, ответила: «Внемлю, знаю, что все в руке Божьей, а сердце томит, поделатъ ничего не могу!»

Так, единым днем, обрела и потеряла внука своего, потому что все, что было после, – долгие сборы людей и добра, наказания боярам, грамоты, явные и тайные речи, – все было уже: проводы, проводы, проводы! А она уже досыти напровожалась своих близких в Орду. Досыти! Глаза б не видали!

А ничего не можно содеять иного. Понимала сама. Не свержено иго ордынское, и не скоро ослабнет Орда. Или скоро? Или только их робость и мешает тому, неизбежному, жданному? Отмestью за поруганные святыни, за кровь, за смерть, за гибель близких, любимых, родных?! И все равно! Надо ехать, клонить голову. Просить у хана Узбека своей собины, волости своей... Хорошо московскому князю: за кажен поклон по княжеству дарят, а им? А ей? А сыну ее, Александру? Но не пришло время железом решать споры с Ордой! Пока еще не пришло. Или пришло уже, и лишь рознь да робость мешают им ниспровергнуть проклятое иго? Да лeсть московская, подлая прелесть Иванова! Его, а не Юрия следовало изгубить в Орде!

## Глава 38

Зима проходила, и уже в самом деле пахло весной. Протаивала земля на валах, обнажая сухую прошлогоднюю траву, кричали птицы. Волга засинела, вот-вот уже и тронет, с хрустом ломая лед. Уже давно воротил из Орды Иван Данилыч Московский, привезя новое пожалование – на Дмитров. Передавали, князя Бориса по его, Иванову, навету уморили в Орде. Подступила пахота, потом сев. Скупые весточки из Сарая не радовали. Только и зная было, что жив. Летом Иван замирился с Новым Городом, видно, прознал что-то. Свалили покос, потом страда осеннюю. Возили хлеб, молотили. А она, строжа посельских и старост, только одно думала: как-то там? Узбек кочевал, внука, верно, увез с собою, совсем и вестей не стало!

Анна пристрастилась гадать; знахарки говорили наразно, а всё лгали, чаяли утешить госпожу, а утешениям веры нет! Думала из деревни колдуна позвать – устыдилась. И так духовник косо смотрит. Анна начала строже блюсти молитвенный устав. Нынче и постилась не так, как в прежние годы, а со тщанием, ограничив себя и в пище, и в питии, и в одежде. Что деется в Орде? Пока грамотки дойдут, той поры и сам Федя приедет, только приедет ли? А то и заложником оставят! Тогда шли и шли в Орду серебро, а после (как уже и было с Дмитрием!) удавят и не воздохнут. Или кожу сдерут с живого, или колодкой уморят, или ино как ни то... На это ордынцы завсегда мастера!

От Сашка прибыл во Тверь немчин из итальянской земли, Дол. Крестился во Плескове, села ему дадены под Тверью, а все не свой! И ласков, и искателен. Обык говорить с великой княгиней, и говорит красно, а только не свой, не свой! И не понять порою, чего хочет. То затеет о папе римском сказывать, то о крестовом походе противу неверных... Раз не выдержала, окоротила:

– Что же Божьи дворяне ваши пошли Гроб Господень освобождать, а сами христианский град Константинополь полонили? А и ныне: с турками ли ратитесь али с теми же греками? – не понять. И орденски немцы! Им бы только грабить наши земли да Литву зорить! Сами не хотят крестить ятвягов, не то окрестят, дак на кого потом станет в походы ходить?! Я и тебя не пойму, нашей ты вроде веры, а все в ту, в латынскую сторону глядишь! Почто на Орду не встанете? Тогда бы и мы с вами пошли! В новый поход крестовый! А то словно и не одна вера Христова у нас, а другая совсем!

Задышалась, покраснелась, руки стали дрожать. А немчин тонко улыбается, ладони к сердцу жмет:

– Госпожа! Если бы эта голова, это сердце могли послужить всей Руси, яко служат князю Александру! Увы, я не папа, не король, не император, что я могу сказать? – И начал долгое, увертливое, и о трудностях, и о тайностях, и о том, что в итальянской земле фряги друг с другом раскотировали, что сербский король Стефан разбил болгар и теперь угрожает ихним землям, и

про немецкого кесаря, и про Казимира, короля ляшского, и про Карлуса, богемского короля... Ляхи потеснили чехов, а те враждуют с немцы, а ляшский король Казимир в союзе с Гедимином Литовским (вот и понимай тут, кто тебе друг, кто враг!). В толикой тягостной розни невозможно собрать всех в крестовый поход на Орду...

Анна, стараясь изо всех сил утишить сердечное трепыхание в груди, почти не слушала. Не могут, не хотят – непочто и баять! Что для них Русь? Иная, чужая земля! В ляхах католики правят, а коли у них с Гедимином союз, дак и в Литве той порою католики победят! А кто нам свой? «Может, – подумала вдруг и, подумав, сама удивилась, – Иван-то Данилыч, насмотрясь на таких краснобаев, и почал с Ордою совет держать! С Ордою... И передолить его надобно тамо, в Орде, у хана. Не на кого оперетися Великой Руси, сами ся должны и защитить, и обиходить, сами решить и о власти спор! И на Орду, как умер Тохта, нету боле надежды! Понимает ли хоть Иван, что творит? Землю родную бесерменам того и гляди подарит!»

Италийского немца и после слушала. Много знал, о многом услышала от него в первый након. Чем-то и помогал коротать дни, ожидая Федю из Орды... И все одно был не свой. И не православный даже, хоть и женился во Твери, и в русскую церкву ходил. Все было не то, и велись после бесед с ним мысли нехорошие: а ну как обадили Александра католики? А ну как и этот, как его зовут сенные девки, «наталинский немец», подослан от Гедимины или от папы римского? Надо остеречь Сашка! Не привлекал бы излиха чужих-то к себе, не печалил своих бояр! А может, ему тамо виднее? Может, меж Литвою и Орденем и такие надобны и без них не обойтись? Ах, Сашко! Скорее бы ты воротил во Тверь! Матери твоей уже не вмоготу стало! Вернись, сын! Нет Узбека, нет запрета, нет московского князя, нет ни Гедимины, ни Литвы, есть ты, сын, и твоя мать, что ждет тебя уже из последних сил!

Федя с боярами воротился позднею осенью. Привез ханский зов Александру: «Да прибудет!» А она уже и не ждала, не могла, что-то надломилось в ней. Федя ли, Сашок – они оба объединились в одно лицо, в один лик надежды. И так сладко, не сдерживая бегучих слез, было смотреть на него! На это юное, обожженное до красноты степными ветрами лицо, слышать возмужавший, с низкими переливами голос, держать его за руки... Сподобил! Федя! Феденька! Внучонок, сынок!

Она выстояла службу в соборе, выдержала торжественную встречу и пир. Вечером слегла. И к утру уже сама поняла, что серьезно. Быть может, и не встанет! Сенные боярыни и девки суетились с питьем и лекарствами, растирали, согревали стынущие ноги. Она с удивлением глядела на хлопоты, на соболиное одеяло, на шелковые простыни... К чему это все? Потребовала переодеть себя в белое полотно, вместо душной перины положить на солому. Исповедалась и причастилась. Решила, ежели станет хуже, принять постриг. Вызвала сыновей, Василия с Константином. Велела прочесть завещание. Василия, поцеловав, скоро отослала от себя. Как получил Кашин, так пушай и сидит на нем! Константина удержала. Долго-долго глядела в глаза, сказала наконец твердо:

– Может, умру. Останешь один. Помни, как убили отца! – Помолчала. Константин бледнел, белел, руки начинали трястись (и тут робеет!). – Великого, через меру сил твоих, не прошу, – сказала Анна, передохнув и не глядя на сына, – тебе жить. Но не смей... ни ты, ни Василий... Костью моей не двиньте, брата старейшего не обидьте ни в чем! Ни в роду его, ни в сынах, ни во внуках, ни в правнуках! Иначе... Мне стати с тобою на суде пред Господом!

– Матушка! – только и вымолвил, склоняясь, и затрясся, спрятав в ладони лицо (не воин, не муж... Ну, пушай живет, как может, лишь бы этой подлости не свершил!).

– Помни, Костянтин! Все прочее забудь, а это помни! Тверь – Сашку!

– Буду помнить, матушка! – (Едва вымолвил, мальчик ты, мальчик! Зрел смерть отцову, а к смерти не привык!)

– Ну, сын, теперь поцелуй меня и ступай! Может, и не умру... Все одно помни!

Он судорожно кивнул несколько раз, слепо, едва не ощупью, вышел из покоя.

Она долго-долго лежала, смежив очи. Уже и священник, подойдя к ложу, с беспокойством заглядывал в лик великой княгини: не отходит ли света сего? Но Анна открыла очи, тихо и строго велела:

– Позови Федора!

Внука попросила взять ее за руки. Шепотом (громко уже не могла) попросила повторить опять, что и как створилось в Орде у Узбека. Выслушала, хотя и с трудом уже заставляла себя внимать (все отходило, уплывало, становилось ненужным, неважным).

– Так... стало, Сашок поедет теперь? – спросила с придыхом, медленно выдавливая слова. – Не уморит... Узбек?

У Феде – видела, словно в тумане, – как остарело лицо. Он не сразу ответил: видно, хотел, но не мог солгать.

– Наклонись! – велела она.

– Не знаю, мамо! Сулили, не тронут... а Бог весть!

Он даже сам не понял, что назвал бабу матерью, а она учуяла, чуть-чуть улыбнулась нечаянной ласке его, слегка раздвинув сухие морщины впалых щек.

– Ну, значит, не умру. Нельзя мне! Дожду... Сашка из Орды... – Что-то она еще хотела сказать, важнейшее... Что? Что? Неужели не вспомнит? Она наморщила от усилия лоб: что? Что? Наклонясь, внук ловил ее шелестящий прерывистый шепот:

– Пушай... просит... князем великим, тверским... Не будет в кабале у Ивана... Сам с Ордой ся управит... – сказала и, сквозь муть, сквозь туман смерти, взгляделась: понял ли? Федор затряс головой: понял, понял!

– Меж бояр наших о том тоже говорка была!

Анна вздохнула глубоко, освобожденно. Теперь, кажись, почти уже ничто не держало ее на земле... Нет, держало! Сашок... Золотая Орда...

Едва-едва слышные, прошелестели слова:

– Возьми... руки...

Федор взял ее уже холодные, почти неживые ладони в свои, горячие, сильные. Анна закрыла глаза. И тотчас хороводом, кружась, подступили к изголовью видения. Двое подошли к ложу. По темно-синим очам признала покойного Дмитрия, по светлому незаботному зраку – Александра. «И ты здесь?» – неслышно спросила Анна, удивясь ему, живому, больше, чем тому, мертвому. «А где же отец?» – спросила, не разжимая губ, и тотчас он, клубясь, словно бы из тумана, подступил и стал в изножии. Его бугристые плечи, его широко расставленные глаза... «Я старая, некрасовитая нынче!» – горько пожалилась она. «Ты всегда красивая для меня! Краше солнца, краше красного месяца!» И сладко, так сладко ей от этих его слов, и, верно, почуяла, что опять молодая, с высокою грудью, и волнуется, словно невеста пред женихом... Се жених грядет во полночи!

Чьи-то руки, едва ощутимые, держат ее ладони, не дают уходить. И это единственная тонкая ниточка внешней жизни, которая еще связывает ее с этой землей. Глаза Анны прикрыты. И пение – не пение, а гласы ангельские реют вдалеке. И трое предстоящих, муж и два сына, светлеют, тают, будто в тумане, у ее молодого ложа, весеннего ложа, ложа надежды, мира и любви!

Федор сидит и держит едва теплые, почти неживые ладони. Слезы каплют на белый монашеский покров. Горячие слезы юности, слезы мужчины и воина у постели женщины-матери рода своего.

Да будет мир с тобой, баба Анна! Как бы хорошо, как бы нужно было тебе умереть теперь! Да не узнала бы ты и там, в мире горнем, грядущей судьбы сыновей и внуков своих! Так было бы лучше, много лучше для тебя! Ибо суров сей временный мир нашей вседневной скорби, мир, в коем живем и страдаем и ненавидим друг друга мы, живые, мнящие ся бессмертными, и уже обреченные праху и исчезновению в пучине времен.

Дверь покоя приотворяется, заботные лица иерея и двух боярынь маячат в дверях.  
– Спит, – говорит Федор. – Не тревожьте ее.

## Глава 39

Юный тверской княжич Федор Александрович все еще был в Орде, когда из Новгорода прибыло к великому князю новое посольство архиепископа Василия Калики.

Пышно доцветало лето. Тяжелые высокие облака громоздились и таяли сине-свинцовыми громадами в тусклом, потемневшем, как и листва дерев, небе. Ветер, качая хлеба, обдавал душною сытной жарой. Тяжко брели стада, облепленные роями крылатой нечисти. Тяжко клонили долу усаые головы колосьев. На пригорках, на солнцепеке, уже начинали жать.

Послы ехали во Владимир, к митрополиту Феогносту, просить заступы и посредничества перед Иваном, и перед ними развевалось желто-полосатое Ополе в море хлебов, среди которых, словно утонувши в густых ржах, прятались по логам деревни с невысокими, словно тоже втиснутыми в землю избами, крытыми потемневшею от зимних непогод соломой. Люди были в поле, и деревни стояли почти вымершие. Редко брехнет размороженный жарою пес, да белоголовый льняной мальчонка в посконной рубахе, любопытно и долго-долго уставясь круглыми глазами, провожает по-за поскотиною чудной обоз, дивясь на боярское платье и на занятых мужиков-возчиков в сапогах и кожаных постолах вместо лаптей. Или древняя, уже совсем вышедшая из сил, старуха, что бредет обочь дороги, остановит, глядячи из-под ладони, и, догадав по платью, что перед нею духовное лицо, торопливо семена, поспешает принять благословение у проезжающего в распахнутом возке небольшого ростом и ясноглазого священника, не мысля даже и мыслию, что улыбчивый, проминовавший ее и легко осенивший крестным знамением поп – всесильный архиепископ новгородский, а верхоконные бородачи за ним – великие бояре далекого северного вечевового города...

Пыльный и шумный Владимир встретил торжественными соборами, торжественным звоном и суетой улиц. Бояре приоделись. Варфоломей Юрьевич вздел сверх шелкового рудо-желтого зипуна суконный алый, отделанный парчою, охабень, соболиную шапку и поминутно отирал тафтяным платом обильные струи пота, текущие по лбу и щекам. Зато и народ аж под копыта лез – позреть великого боярина новгородского!

Калика, не разделявший любви своих «детей» – новгородских бояр – к пышности, ехал в том же дорожном платье, и на него до митрополичья двора почти не обращали внимания.

Феогност принял послов не томя. Владыку Василия – как доброго гостя. С той еще, с волынской, поры по нраву пришел ему легкий и деловитый новгородец. Ныне прибавил важности – глава! А в чем-то все тот же любопытствующий странник на здешней бренной земле. (Много лет спустя узнал Феогност о возникшей меж Василием Каликой и тверским владыкою Федором пре о рае зримом и мысленном. Федор Добрый доказывал, что рай немочно узреть бренными очами, токмо духовными и в духе, ибо рай не от мира сего, а Василий Калика утверждал, что можно и смертными очами узрети врата райские, о чем якобы повестили ему северные новгородские мореходцы. Феогност умом был на стороне епископа Федора, но послание Василия о рае – чудесное, яркое, как сказка, полное удивления пред безмерностью мира и сугубой, детской почти, веры в зримое чудо, живо напомнившее ему прежние рассказы Калики, – очаровало его, и он велел переписать послание, сохранив его в ризнице Успенского собора.)

Новгородцы поклонились дарами: поднесли серебряный сион, посох с изумрудом в наверхии, иконы – «Николу» с житием и Спасов лик – доброго новгородского письма, связки соболей, куниц и горностаев, шкатулку резную из зуба рыбьего, мед, миро и фряжское красное вино – и Феогност окончательно растаял, теперь уже почтя заключение мира своею прямою обязанностью («Умерять гнев и сводить в любовь, яко отец чад своих...»). Он сам поехал в

Москву, к Ивану, упреждая послов, и имел долгую молвь с великим князем («Достоит духовному пастырю Руси умерять гнев сильных и сводить в любовь паству свою...»).

Иван выслушал Феогноста с пристойным смирением, но угрюмо. Сам знал, что надо сотворить мир. До него дошли уже вести, что сын Александра Тверского принят в Орде ханом Узбеком. Да и Гедимин не оказывал того расположения, коее надеялся Иван получить, женив сына на литовской княжне.

Новгородцы давали теперь тысячу серебра. Этого было мало, но... Дальнейшая неуступчивость грозила уже такими бедами, что следовало согласиться, и как можно скорей. Надо было переступить через себя! И Феогност молил, да и сам знал, что надобно, токмо упрямство одолело паче меры. Не свое, братнино, тупое, глупое упрямство, и держало, как коршун в когтях.

Новгородское посольство он принял. Вновь дивясь про себя лучшейся от Василия Калики деловитой радости, разглядывал он архиепископа Великого Города. (На стены каменные хватает небось серебра! Нынче и внешнюю стену у Славны сложили, не от него ли, великого князя, город боронят?)

– Достоит мне, великому князю владимирскому, имати власть во всей русской земле! И Новгороду Великому, мняща мя яко господина своего, надлежит вкупе с иными нести тяготы ордынские и прочие.

– Вкупе и согласно! – живо отозвался Калика. – Пото и просим о мире, и бор даем, и уряженное по прежним грамотам, како от нас великому князю надлежит! Соучастны есьмы в судьбе нашей, и в любви взаимной надлежит быти нам, не утесняя ничим же друг друга! Молим, княже, отложи гнев и сними в любовь!

Да, они стояли на своем, давая Ивану после стольких долгих месяцев размирья и которы ратной ровно половину того, что хотел и мнил он получить. Да еще, сверх того, учили, как надлежит ему мыслить о власти княжеской!

Связь соучастия, яко у равных государей, – вот что предлагал ему Новгород Великий. Он же понимал, что невозможно, нельзя позволить того, что власть должна быть связью подчинения единому главе, единой силе, иначе все вновь и опять пойдет вразброд, как это уже не раз приключалось на Руси! Но у них была своя правда, и своя вера, и были силы, дабы веру свою защитить. И Иван ничего не мог совершить противу, ни сказать, ни содейть. Новгород не Ростов, не Дмитров! И надо, надо, надо заключать мир!

Вечером к нему в изложню пришел Симеон:

– Не спишь, батюшка?

– Заходи, сынок! – дозволил Иван и позвал, помедлив: – Садись сюда, на постелю!

От целодневной при с новгородцами раскалывалась голова. Может, сын отвлечет чем? Порадует ли, опечалит? Но Симеон, присев на ложе, новый какой-то, суровый, помедлил, вздохнул и высказал, как твердо решенное:

– Батюшка! Достоит тебе заключити мир!

(«И ты тоже!») Иван вдруг почуял неожиданные слезы в глазах. В покое было темно, скудный свет в отодвинутые ради ночной прохлады оконца уже померк, уже побледнело алое на вечерней заре небо, и ярче стал невидный совсем по дневной поре лампадный огонек... Сына не прогонишь капризно, ему, Симеону, наследнику, надлежит объяснить все.

– Завтра подпишу, сын! Не хотел, а... передолою, заставлю себя... Надобен мир. Княжич Федор в Орде!

– Сын Александра Михалыча?

Иван кивнул. Привстав, поправил взголовье. Симеон, молча угадывая желанья отца, подал свернутый овчинный ордынский тулуп. Иван, устроив ложе, чтобы мочно было полусидеть, откинулся, поерзал затылком, уминая курчавый мех.

Сумерки сгустились. Лицо Симеона смутно белело в темноте.

– Батя! А почто нам так надобен Новгород? Не то я молвил! – тотчас поправился Симеон. – Почто надобно всех, несхожих друг с другом, как тверичи или новгородцы, склонять под едину власть? Нет ли в этом гордыни? Быть может, прав архипастырь Василий? Не нарушаем мы сим главную заповедь Христову: «Возлюби ближнего своего...»?

Если Иван еще видел сына, то Симеон в тени от высокой спинки княжеского ложа и вовсе не видел отца. Голос Ивана, чуть хриплый, усталый, доносился из темноты и словно бы жил сам по себе.

– «...яко же самого себя!» – строго досказал этот голос и, помедлив, присовокупил: – Себя не токмо любишь, но и неволишь, и жестоко неволишь порой! К труду к деянию. Из тоя же любви! Зри в черных людях: сын спит, а отец уже на ногах, ладит упряжь, лапоть ли починает, какой обор оторвался тамо, али расплелось непутем... А хозяйка в дому? Еще и свету нет, а уже топит печь, кормит и доит скотину... Дак что ж ты сам себя, возлюбя, мнишь содержать в трудах и в законе, а ближнего своего – в неге, да в холе, да в беспутстве всяком? «Яко же самого себя», сказано у Христа!

– Это я знаю, отец, о том не раз баяли, а только...

– Власть надобна, дабы съединить, совокупить воедино всю землю русскую! Митрополит знаменуется «Всея Руси», и князь должен быть такожде «Всея Руси»! – возвысил голос Иван, перебивая сына. – Зри! Возмог ли Михайло добром да советом достичь того? И сам сильно деял по нужде! И у него в подручниках ходили князья! А токмо пришел час – и сколь жалобщиков набежало губить Михайлу?

– Мы же, отец...

– Да, мы! И прочие все такожде! И Новгород! И суздальский князь! И Ростов! Много я натворил, сын, такого, о чем лучше не сказывать... И ныне творю. С Ярославем вот. Посылывал даже и к купцам ярославским, и бояр подкупал зятевых... А токмо – надобно сие! Для всей Руси Великой! Для смердов! Бояр! Гостей! Для всех, для всего люда русского!

Иван умолк, чуял, что все чело в испарине, – не нать было кричать так! Симеон выслушал, не перебивая, и только медленно покачал головой.

– Скажи, батя, а где, в чем залог нашей с тобою правды? Ведь такожде и всякий-любой речет: «Творю зло для добра!», «Горек корень болезни лечит» и всякая подобная.

– В чем? В строгих понятиях, в законе Христовом! Надобно быти примером для подданных и в семье: не прелюбы творить, а блюсти чистоту и честь дома... Я матери твоей ни разу пальцем не тронул! Был строг, а и гласа не возвысил никогда! В трудах, в богатств нестяжании. Должно всегда ощущать власть яко труд, долг, обязанность, данную Господом! – Иван передохнул, вновь отер потное лицо: – В сем дели церковь должна помочь государю. В одном удержать, в ином наставить. И сам пред собою, егда на молитве стоиши, являй Господу в умной молитве вся тайная и вся скверная души своя, да очистиши ум от лукавства. И духовник такожде на то и даден тебе, и бдение ночное, и пост. Алексей, крестник мой, даже и некое сказал, важнейшее прочего: надобен святой! Чуешь? Святой! Дабы преклонились пред ним. И еще одно рек: что сей святой явит себя среди тех, коих я утеснил ныне... Сын, я, возможно, гублю душу, и это самая страшная жертва за други своя! – выдохнул Иван, приподнимаясь на локтях, в белое, размытое, почти чужое лицо сына. – Но не похотьствую, не красуюсь в роскоши! Ни сладкоядением, ни сладкопитием, ни иным грехом – блудодейным, иным ли – не согрешил есмь!

Зри, яко мы живем! Те же щи и та же черная каша, то же молоко, масло и сыр, что у наших крестьян ежеден на столе! Та же говядина, баранина ли, те же рыбы и квас в пост! Не много баловал я вас сорочинским пшеном да изюмом! Обиходной посуды иной, кроме глиняных мис да деревянных тарелей и ложек, нету в дому! Дочери, сестры твои, все ткали и пряли, яко и прочие жонки посадские! Носили в будни и дома полотно и холст да овчину. Иное – лунское сукно да шелка, бархаты, камки черевчаты и прочая многоценная – на торжества, в церковь ли, на праздники надевывали, а отнюдь не ежеден! И роскошество пиров по приключая творим:

для приема ли гостей иноземных или иного чего. Серебряных мис да ордынских муравленых чашек видел ты, кроме пиров да гостей званых, когда на столе? С детьми – та же мамка, из деревни взятая, а и в любом справном крестьянском дому няньку завсегда со стороны нанимуют к детям малым! Того, что мы тратим на себя, на жизнь, на будничный обиход свой, не много боле уходит, чем в добром доме крестьянском! А иное все на бояр, на слуг, на дружину – дак на людей же! И люди те кажен свое творит: ткут, шьют, чеботарят, водят птицу и скот или на ратях труд свой, пот и кровь прилагают, тоже даром хлеб не едят! На пирах сотни народу сыты от княжого стола! Во твою свадьбу, вспомни, всю Москву кормили! И черный народ не бедствует у нас! Как разбоеве утихли, повыбили шишей да татей мои молодцы, дак и клетей не запирают нынче! По доброй осени в каждой деревне братчины, странника, погорельца накормят и напоят в любой избе! Мы не грабим свой народ! – последнее Иван выкрикнул в голос, и задышался, и едва не пропустил тихого, шепотом сказанного сыном слова упрека:

– А Ростов?

– А бегут к нам! – вновь выкрикнул из темноты Иван. – Да, ограбили! Да, разбивали сундуки, примучили иных и богомерзкое и непотребное творили, где и жонок разволочили едва не донага, где даже и церкви Божии грехом потронули... Все было! Так вот и собрали серебро! Но ты иное помысли: что, ежели бы я, тихо, мирно, по закону, налогами тяжкими их обложил и тем же путем, как и достоин, собирал дани? Кто пострадал бы тогда? Един смерд, един добытчик и кормилец! Он бы платил налоги те, а боярин, купец наживались на его беде. Богатые побогатели бы, бедные обеднели. А я взял и нарушил сей уклад! Налоги и дани в Ростове и ныне те же, что и допрежь того. Как давали кормы на Покров да на Пасху, дак боле и не дают! А серебро отобрано у богатых, у кого было в скрынях, паче всего у бояр да купцов! Народ не разорен, а токмо владельцы ростовски подорваны. Многие из вельмож животов лишились, да гости потерпели торговые. Ну а кто разорен – пожалуйста к нам! Русские люди суть! Не бессермены, не жида, не латины – православные! У нас им и легота, и кормы, и земля. Вон у Богоявления, где Алексей мой пребывает, и мнихи ростовски появились! Дак где же здесь позор? Где несправедливость? Дмитров, гляди, от нашей-то власти токмо выиграет! Уже то одно, что мытный двор обчий, гостям во Тверь и из Твери лишнего налога не платить! А мужик не пострадал, ему под Москвою того легче! Купец, гость торговый? К нам пожалуй! Боярин, ратник? Примем в службу московскую! Пострадал один токмо князь Борис! Да и то по своей дури! Поддался бы сразу – донесешь на столе сидел!

Можно, сын, и никого не убить! А зато всех голодать заставить! Да так голодать, что ни мяса в дому, ни молока на столе не станет! Дети попухнут с бескормицы, от репы единой животы раздует, а уж ни силы, ни здоровья не жди! Раззор ведь – когда часом нашло, да минуло – и не раззор вовсе! Отойдут, отдышат, срубят новые хоромы, взорют пашню – и снова сыт. Худо, когда данщики кровь сосут, когда налогами давят ежеден сверх силы, то худо! Тут и народу умаление, и княжеству гибель. Чти в летописании прежнем: «Отцы наши расплодили было землю русскую». Расплодили! И зри ныне по всей Московской волости: в семьях по пять, по шесть, по четверо, менее не бывает, а где и десяток деточек и больша! По две, по три, по пять молочных коров во дворах; худо-худо – и то корова да две лошади! Овцы там да гуси, куры, свиньи – не в счет! И люд все ражий, красный лицом, здоровый, веселый, кормленный! Баба ведры дубовые в гору несет – лебедушкою плывет, мужик бревно на плеча здынет – не сбрусьянеет! А поглянь-ко, в чем одеты москвичи? Посадских молодок за службою от боярынь не отличишь! А и наши крестьянские жонки, черные, деревенски, в церкву, на праздник ли – в янтарях да в серебре выйдут! На Велик день окроме нищего да погорельца и не сыщешь драного-то мужика на Москве!

– Тятя! – Симеон вдруг повалился на ложе, ткнулся пушистою головою в грудь отца. – Тятя! Знаю же я это все. Не сужу я! Понять хочу – и не мочно понять мне!



Вот ты... я... А потом? А после? Что ить от человека зависит, с ним и уйдет! Где основа, в чем прочное, чего держатися, дабы и после – после нас, меня...

Иван приобнял сына. Молча слушал. Было хорошо. И не то, что говорено и сказано, а то, что сын не отдалил, не ушел от него, а вот тут, с бедами своими наиважнейшими, как всегда, как прежде, как в детские лета, – хоть и мужик уже, и князь, и жена на сносях, – притек к отцу.

– Я мыслю, – заговорил он, медленно подбирая слова, – основа прочности власти – предание. Должно быть такожде, как исстари, как принято, как от дедов и прадедов заведено, от верху и до низу, во всем. Налоги вот, дани, кормы – как прежде, по преданию, так и теперь. Уж коли предание утверждено, и худой правитель не вдруг его переменит! Дабы не истощить народ! Ни землю, ни лес, ни всякую тварь земную – не истощай, не порть, не выбивай занапрасно! Достоит потомкам оставить столь же богатую землю, как и мы получили от прадедов. Бояр я призываю прежде всего из старых родов! Кто служил тятеньке моему и дедушке, Александру Невскому, святому! Мыслю Прокшиничей опять перезвать, как Новгород замирю; пото и Мишиничей из Переяславля на Москву вызвал.

– И Акинфичей?

– Да, и Акинфичей! Надо и их переманить, сын! Бояре должны знать, что к ним уважение по роду. Тогда за нас будут не люди, а целые роды: отец, сын, внук, правнук... Так и пойдет! А от уваженья к большим, к боярам, и прочим уважение и честь надлежит, всем по порядку, порядку. Так и гость торговый должен ведать, что безопасно и прибыльно ему у нас и что за князем некоторая гривна не пропадет! Ратник должен ведать, что ему за храбрость на рати, а не за иное что честь воздадут. Смерд, пахарь, паче всего должен быть в покое за дом свой, за клеть, за землю и добро. Ежели ведает смерд, что от отца – деда – прадеда все неизменно, прочно, вечно, то и он кровь свою положит за власть и за князя своего. И веру свою, православную, должны мы хранить нерушимо. Иного не мыслю, сын! И что бы ни вершил, сколь чего ни устроил и ни содеял, всегда стремлю к одному: дабы народ чаял во всем обрести прочность бытия.

Ну, а от иных... Тоже надобно требовати, дабы каждый в деле своем, от пахаря и до боярина, труд свой свершал со тщанием, яко же и ратные герои, яко же и богатыри, о коих поют гуслиры.

– Тяжко, отец, требовать ото всех высокого! Величие разве не удел избранных? Я вот пьяных не люблю, даже боюсь...

– Пиянство от лени! – вздохнув и усмехнувшись, отозвался Иван. – Труженик, он не пьет, а пирует, да и то в свой праздничный час! А требовать ото всех, ото всего народа, величия надобно, сын! Иначе не стоять земле! Так мыслит Алексей. Так он и мне баял о том! Знаешь, сын, егда я умру... Молчи! Когда-нибудь это произойдет все равно! Алексей, он тебе... Слушай его!

– Батюшка, – спросил Симеон, приподымая голову, – а не мыслишь ты, дабы Алексей стал когда-нибудь митрополитом русским?

– Молчи! – сурово оборвал Иван, почти зажимая рот сыну, и повторил тише: – Мыслю, но токмо молчи, не искушай судьбу!

## Глава 40

Падает пушистый звездчатый снег. Рождество. По Москве, только-только отстроенной после летошнего пожара, толпами ходят со звездой славщики, величают младенца Христа. Скоро Святки, гаданья, шумные игры, ряженные в личинах и харях, ковровые сани, кони в бубенцах... Эх, встретить бы дома! Мишук, побряхтывая, дотесывает стены в избе, мастерит лавку. Все сам-один, старшие парни усланы за сеном, не знай, воротят ли к пабедью? Клеть на пожоге сложили едва-едва до снегов. И то добро, свои ратны устроили помочь старшому,

выручили Мишука. Хоромина получилась добрая, получше прежней, почитай! А только не обихожена, да и хлев не дорублен. Огрехов тут – делать не переделывать и до Троицы! Но великий князь и так отлагал сколь мочно, помогал погорельцам и лесом и тесом. Велик был пожар, вся Москва, почитай, обновилась!

Нет, Святки дома не встретить, дружина уходит к Нову Городу. Ивана Данилыча вновь зовут на новгородский стол. Мечется Мишук, да уж, видно, бросать нать! Все одно всего не переделаешь! Катюха хлопочет, дети, точно гусенки, галдят и так и рыщут под ногами. Тетка после пожара слегла, не встает. Катюха тяжела опять, с брюхом-то много не набегает. Походит, походит да и присядет, отдуваясь, поглядит на мужа. Зато Любава уже за хозяйку, летает стрелой. Санька, пострел, уселся на шею к отцу:

– Тятя! Но! Но! Поехали!

– Куда?

– В Новгород!

Мишук, смеясь, сволок озорника, шлепнул:

– Запряг батьку!

Мишук весел, помолодел, глубоко вдыхает морозный свежий дух (только со снегов и перестало нести горелым чадом). Сейчас уже все страшные труды осенние позади. А то было: бревна – до хрипа в груди, от топора гудят плечи и руки, едкий пот заливает глаза. Инова приздынешь бревно, дак и темные звездочки в глазах, и ноги дрожат, как у той заезженной коняги. А ничо! Сдюжили! Вона – клеть! И свершить успели! А что скот о сию пору на дворе, дак на крещенски морозы и в хоромину завести не грех, перестоит!

Весел Мишук, и любо, что идут в Новгород не с войной, с миром. Хоть поглядеть путем, каков таков Великий, бают, много чего там новый владыка настроил-наворотил! Стены да церкви камянны, неуж лучше наших еще? Воз с хлебом да кое-какой лопотью прихватил-таки Мишук на правах старшего. Мочно будет продать да и с прибытком домой. Воз уже отослан, уже двое молодых на саях прикатали, торопят. Отданы наказы старшим сыновьям. Катя, толстая, как кубышка, выходит, замотав плат, к воротам. Мишук, наклонясь, целует жену. Она, зарозовев, тут только и решается, просит:

– Жемчугу привези новгородскова!

Младшие еще цепляются, лезут на сани: прокатил бы батька напоследях! Молодцы хмельны, добрый конь берет с места в рысь, Мишук валится в розвальни. И-и-эх! Хохочет. Бубенец под дугой заливается звоном, сани виляют, встречные сторонят, весело и озорно орут что-то... И-и-эх! Гони! Снег – пушистый, легкий, сказочный, святочный снег – игольчато холодит лицо, залепляет очи, усы, бороду. Славная зима! Славный конь! Славный поход! И Кремник на горке, обновленный снегом, стоит как сказочный, точно и невереженный вовсе, и только непрерывное тюканье топоров внутри городни и на стенах говорит о минувшей беде, уже почитай и залатанной лихими секирами неутомимых древоделей.

Князь Иван, опустив поводья и морщась от попадающего в лицо снега, шагом проминовал новорубленный житный двор (про себя порадовал вновь, что пожар случился до того, как завезли новину: хоть хлеб уцелел!). Погреба, добром, бертьяницу и медовушу удалось отстоять, а терема сгорели целиком и о сию пору еще не отстроены. Уцелели каменные церкви и еще, городовые бояре говорят, в межулках, где тупики были, огонь сникал. Впредь надо велеть так и строить город! Чтобы не продувало насквозь, огненной грозы ради от улиц велись бы не межулки, а тупики.

Он отер глаза рукавом. Выехать из Москвы, а там и в возок пересесть! Сам заметил, что с годами все меньше охоты у него к верховой езде. Неужели силы пошли на убыль? До чего короток век людской! Не так радуется жена, в ину пору начинал уставать от нее, не радуется снег, мороз не столь бодрит, как было когда-то. И даже теперь, сейчас, заботы не оставляют Ивана.

Неужели Узбек простит Александра Тверского? Хоть скачи в Орду! Иначе все, с таким трудом налаженное, прахом, пылью – в ничто!

Едва проминовав Москву, Иван перебирается в возок, закутывается в тулуп, дремлет. Коня несёт хорошей рысью, снежная дорога мягка и гладка, возок ныряет, словно на волнах. Иван дремлет, разрешив себе пока, до Дмитрова, не думать ни о чём.

Новгород встречает великого князя торжественным звоном. И как отстроился, как похорошел! Каменная стена – словно дорогое узорчье ожерелье, сжимающее море деревянных хором. А терема расписные! А новые церкви, розовые, гордые! Быть может, они и правы! И до поры с Новым Городом надобно говорить, яко с равным себе! Город, равный князю великому! Могли бы хоша серебро закамское мне передать! Враз бы и ярославский ярлык куплять стало мочно!

Вот оно, серебро закамское! В этих церквях, что посановитее его московских храмов, в этих драгих портах горожан, в этих веселых рожах... Даром, что орут и машут шапками, – а смотрят как? Тоже, словно равен я им всем! Словно они меня на рати разгромили! Иван плотнее запахнул праздничный, крытый цареградскою парчою, кунным мехом подбитый, вотол (всю дорогу до Новгорода берег, вез в коробьи!) и сердито откинулся на полосатые ордынские подушки. Орут! Тысячу все-таки поневолил заплатить! Коими трудами только! Нет, правы умные – Михайло Терентийч и старый Протасий с Сорокоумом, – в одно баяли: с Новгородом надо добром! Добром... А где взять тогда серебро?! В Орде бесерменски гости торговые толкуют по базарам: де, у князя русского, в земле его, серебряны рудники. Столь много серебра с Руси идет в Орду! Рудники! Вот он, единый мой рудник! Дак поди отокрой его прежде!

Было шестнадцатое февраля, четверток мясопустной недели, память мученика Памфила. По случаю начала поста в палатах архиепископских угощали рыбой: тройная уха, сиг в наваре из ершей и окуня, алая лососина – гордость Нова Города, шехонская стерлядь, белорыбица, пирог с гречневой кашею и со сметком... Морошка, брусника, вяленые дыни, многообразные пития, а на заед – белая, сорочинского пшена, каша с изюмом, винные ягоды и грецкие орехи, сваренные в меду. Угощать в Новом Городе умели! Мощные переводины тесового потолка лучились янтарной желтизной – палату нагревали теплым воздухом снизу, стройно звучала прилепая дню и событию музыка. С нижних скамей поминутно вставали, подходили с чарами к верхнему столу, где сидел на почетном кресле Иван, прямо него – архиепископ Калика, а с двух сторон – свои бояре и вятская новгородская господа: Варфоломей Юрьевич, в серебряных с чернью седицах, сановитый, спокойный, грузный; Федор Данилович, Матвей Варфоломеич Коска, Остафий Дворянинец – посадники от Славны, Пруссов и Плотноцкого конца; Федор Твердиславич; Лука; Козьма Твердиславич, бессменный посол Великого Новгорода; а далее – житы, купцы, старосты ремесленных братств. Подходившие степенно кланялись:

– Здрав буди, господине!

Иван пригубливал, наклонением головы отвечая на поклоны и здравицы. К нему тянулись, подмигивая, старики:

– Вишь, Данилыч! Нам с тобою вместех быти, дак от Литвы опас надобен. Вона! Стены камяны кладем! Спроси, какой ради беды? От Гедимины! И немечь орденских постереци ся надобно! Ты уж не сетуй на нас, не сетуй! Нелюбие отложи, отложи! Едины суть православные!

Иван – у него уже хмелем начинало кружить голову – хотел было возразить о Наримонте, что по договору продолжал сидеть на пригородах новгородских, но и тут его упредили:

– Не посетуй, княже! Нам тоже опас должно имать! И ты сына женил на Гедиминовой дочери! С Литвою нынче надо ухо да глаз!

И опять не скажешь – словно и правду бают! Иван встал из-за стола несколько ослобившийся, почти убежденный в любви и дружестве заседающих с ним вятских мужей Господина Великого Нова Города.

Назавтра Иван на Городце отдавал пир новгородской боярской господе. Тут смог и со стариком Прокшеем поговорить. Звал его на переяславские поместья.

– Вишь, государь! У нас ить, сам знашь... В твою службу идтить, здесь ся волостей лишить придет! Оно, конечно, под Москвою земля, дак... Сын-от мал ищю у меня! Как тамо у тебя Терентьиц, слыхать, не обижен? За цесь спасибо, княже, а враз в таком дели не решить!

Он один, да и то в такой вот беседе, назвал Ивана государем, и Калита запомнил, понял: честь блюдут! Господин ты нам, принятый нами, а не государь самовластный! И приходилось принимать как есть, смирать норы, который с годами, чуял сам, становился все круче и порою, чаще и чаще, доводил его до беды, до ошибок непростимых от единого токмо нетерпения!

Он и тут, в Новом Городе, содеял промашку немалую. Не дотолковав с боярами, вызвал низовских князей с полками, мысля идти на Псков, разом покончить с Александром, избавить этой вечной висящей над ним беды, упредить решение капризно-нерешительного Узбека. Тем паче что Александр ни на какие его посылы не хотел отвечать даже. Стойко Юрию решал этот поход! И дружины начали прибывать низовские, да Великий Город стал поперек:

– Не хотим при с младшим братом! Отложи, князь, нелюбие на Плесков!

И вновь повеяло тем, прежним, как и тогда, в первый поход к Плескову, пугающим бесилием. Что могли поделать его низовские полки, ежели новгородская рать не желала выступать противу Александра со плесковичи!

Ратники исхарчились, пря с новгородцами затягивалась, а Гедимин меж тем неожиданным набегом пограбил порубежные новгородские волости, мстил за мир с Иваном. И пришло ворочать рати в иной поход, на Литву. Поход в угоду новгородцам. А и сам понимал: Гедимину надобно дать по рукам, иначе не токмо Плесков, но и Новый Город вновь откачет от него!

Мира плесковичам он все-таки не дал. Так, без войны, но и без договору мирного отвел войска.

Шла весна. Рыхлел снег, и последние сумасшедшие метели тщетно засыпали молодым снегом напитанные водою поля и пути. Шла весна, и полки возвращались домой. Иван стал в Торжке и отселе – благо подступившие запоздалые мартовские холода скрепили пути – послал воевод зорить порубежные литовские волости. Сожгли городки Осечен и Рясну, пограбили села, угоняли полон и скот.

Мишук Федоров на сей раз отличился под Осечной. Первым во главе своих молодцов ворвался в худо укрепленный городок, отынесенный всего лишь стоячею, из заостренных бревен, городьбою с плохонькими кострами по углам. Накинув аркан на тынину, Мишук перелез частокол, спрыгнул, пав с маху на четвереньки, и тут бы ему и каюк: набежал один с рогатиною, а Мишукова сабля лежала посторонь. Да тот сам струхнул, видно, остоялся, стал доставать лук. Мишук успел вскочить и загородиться краем щита. Стрела, с тугим звоном полупробив бычью кожу и обод, застряла, мелко дрожа, в вершке от его лица. Кругом уже тяжело шлепались, перепрыгивая и перелезая ограду, Мишуковы ратные. Литовцы недолго били стрелами по нападающим, а потом, видя, что уже густо лезут через тын и разбивают ворота, ударили в бег. Город запылал почти сразу. Добро и полон волочили и вели, выхватывая из огня.

Мишук на правах старшего уводил хорошего боевого коня, воз добра и лопоти и, главное, вел за собою, дивясь сам своей удаче, двоих полоняников, белобрых полешуков, и все подзывал, оглядывая, то того, то другого. Будет кого на деревню посадить, и в дому, с конями обряджаться, мужик нужен! В кошеле, за пазухою, бережно хранилась горсть сверленого новгородского жемчуга, выменянного в Новгороде на хлеб. Обещанный подарок жене. Продавец уверял, что на праздничную головку хватит. Пушай к обедне в Велик день выйдет, дак не хуже иных боярьнь московских!

## Глава 41

И все складывалось удачно, словно бы судьба смилостивилась наконец над ним и начала, как когда-то, дарить его тем, чего жаждала душа, не скупясь и не томя лукавыми умедлениями. Гедимин, занятый ссорами с Орденом, не начал войны. В июне Иван пышно чествовал на Москве новгородских бояр, отдаривая за прием в Новом Городе и словно бы навек хороня нелюбие между ним и вольным городом. В доме великого князя царили мир и согласие. Иван теперь уже уверенно намечал, что даст Симеону на старейший путь, что оставит младшим. Дети подрастали. Андрей был смышлен, красавцу Ивану, правда, не хватало твердости, да при старшем брате оно было даже и лучше: не станут котировать друг с другом! (Это думал про себя, отай, никому не выказывая. Хотелось, чтобы сыновья не растащили княжества по кускам.) Ульяна возилась с дочерью, удивляясь любому движению малютки. Вся ушла в дитя, ею только и жила. И как награда за труды (Господи, веси, что ни мыслию не мыслил и никакого тайностию тому не помог!) умер галицкий князь Федор Давыдович, брат покойного Бориса Дмитровского. Иван тотчас послал к хану с поминками, прося себе ярлыка под покойным князем, а вскоре и сам отбыл в Орду, получать-покупать ярлык на Галич Мерской.

Ехал по осенней багряной поре, радостно вдыхая терпкий аромат вянущих желтых листьев, оглядывая убранные поля, скирды хлеба и удовлетворенно слушая дробный стук цепов на токах. Он еще не чаял беды над собою, и даже то, что юный Федор Александрович оставался в Твери, ничуть не насторожило его.

Спускались в лодьях по Волге. Осенняя вода быстро несла смоленные черные челны. Хлопали толстинные бурые просмоленные паруса. Гребцы изредка окунали весла в бегучую воду, направляя струги на самый стрежень реки. Иван озирает берега, отдыхал, думал, как удачно складывается все. И крестник Алексей пришел по нраву Феогносту и уже правит делами митрополии, и канонизация покойного митрополита Петра исхлопотана в Цареграде у кесаря с патриархом. Если бы не неожиданное упрямство Константина Тверского, не пожелавшего получить ярлык под братом! Да нет, куда ему... Рано ли, поздно – жена в постели уговорит! Пушай пройдет время, поутихнут возлюбленники Александровы... Великая княгиня Анна зело нездорова, передают! А там и Константин сам не пустит брата на тверской стол!

Урожай был добрый сегод. Мир с Новгородом дал ему новое серебро (не страшно нынче ехать в Орду!). Ярославль, вот где препона! Вот где он чего-то не сумел, не достиг. А после Ярославля суздальские князья окажут ему покорство, и... и Тверь! Все-таки все еще Тверь. Суздаль и Тверь. И Новгород, и Смоленск, а там и Рязань... Как еще много, Господи! Как долгон путь! Но тогда, потом, когда все это сольет воедино и станет единою Русью... Великая Русь! О, тогда... Быть может, покойный митрополит Петр и не прав? И он сам (сам!) узрит, с высоты Синая, землю обетованную? Увидит грядущее величие русской земли?!

Мимо проходят зелено-рыжие берега, белые осыпи меловых гор, леса, пески и разливы степей. Великая река несет князя владимирского в Орду, на поклон хану Узбеку, откуда воруясь, уж не раз находил он, глядячи в серебряное зеркало, новые и новые седые пряди в волосах. Тяжек сей крест! И все-таки в той страшной игре тавлейной, где на кону княжеские головы и любой неверный удар может стоить жизни самому Ивану, о сию пору всегда выигрывает он, а не Узбек!

Калита дремлет. Еще далека дорога. Еще томительно долго ожидание в Орде. Да, он воротит на Москву весною, получив ярлык на Галич, и будет ему эта новая удача точно заушение и позор, ибо узнает он, что Узбек обманывает его, что в Орде уже ждут Александра Тверского и что вновь и опять начинает рушиться, почти до подошвы своей, с муравьиным тщанием возводимая и лелеемая им башня власти, которую он мнил уже вскоре увидеть достроенной и свершенной.

## Глава 42

Князя Александра любили все. Любили смерды, коих предал он в грозный год Шевкалова разорения, и все равно любили, ждали, связывая с ним возрождение старопрежнего привольного жития; любила дружина, особенно молодшая, простые кмети готовы были в огонь и воду за своего князя; любили иереи и мнихи, тверские книжники и философы, упорно связывавшие с князем Александром идею тверского величия и первенства града Твери в русской земле; любили гости торговые и тоже ждали: вот воротит на стол Ляксандра Михалыч, прижмет и новгородцев и москвичей, нашему купецкому званию легота настанет! Ждал князя посад, ждала церковь, ждали старые слуги княжеского дома, избежавшие разоренья и вместе с вдовой покойного Михайлы, Анной, соживавшие теперь «молодого князя» назад, на стол. Среди этого общего ожидания Константин, ежели бы и восхотел того, навряд сумел бы даже и после материнной смерти что ни то содейть противу старшого брата.

Александр на первый погляд с лихвою оправдывал всеобщую любовь к себе. Был смел до удали в бою и на ловах, щедр и хлебосолен на пирах, ясен и ровен нравом, прост и дружелюбен с низшими. Был он и сам статен и широкоплеч, красив – не той надменно-холодною красою, что словно бы возносит над прочими, а красив спроста: румян, большеглаз, крупнонос, с красиво кудрявящейся бородою и алыми губами, с улыбкою, полною такого солнечного добродушия и веселости, что и всякий не мог не улыбнуться ему в ответ, а жонки, подольше поглядев в очи тверскому князю, надолго теряли и сон, и сердечный покой.

И не всегда, и не вдруг замечалось иное, что великая княгиня Анна издавна с тревогою подмечала в сыне своем: всеобщий любимец князь Александр был излиха легок, не любил раздумывать, в трудном деле решал с рыву или отходил посторонь и мог не со зла, а от той же легкости, незаботности душевной обидеть, а то и тяжко оскорбить иного из ближников своих, даже порою не догадывая о том.

В Литве, в первый год своего изгнания, Александр нерасчетливо сыпал сокровищами княжеской казны направо и налево, изумляя щедростью иноземных рыцарей, старался не уступить Гедимину в роскоши двора, потом же, поизмотав казну, начал все чаще и чаще залезать в кошелек своих ближних бояр, оплачивая дорогие услуги туманными обещаниями, а то и позабывая о содеянном ими, и тем посеивал ропот в старшей дружине своей. Нерасчетливо, ради одной лишь выхвалы, приблизил он к себе немецких, датских, фряжских и польских рыцарей, гостей, даже духовных, не желая видеть, что оскорбляет этим своих тверичей, от которых меж тем ожидал и требовал прежней службы и прежней безоглядной верности себе. Если бы еще мать, великая княгиня Анна, была в тот год рядом с сыном! Многими из новых наперсников своих Александр, возвратясь во Псков, начал тяготиться, кое с кем и расстался тою порой, но из той же княжеской широты и щедрости не мог, не сумел, да и не восхотел паки отринуть всех прилипчивых иноземцев, тем паче таких, кто, как надеялся Александр, поможет ему в переговорах с иноземными государями.

Вот и теперь битых два часа отнял немецкий посол, уговаривавший князя принять, вкупе с Гедимином, католическую веру. Тогда-де перед двумя государями, России и Литвы, откроется великое будущее – помощь самого папы римского, а также государя Богемии и ляшского короля Казимира. Понимал ведь, что немцу верить нельзя, что никакой союз противу татар с кесарем и папою ныне невозможен, а – слушал! Слушал, дивясь настырности католиков. И когда немец, угловато-прямой, мнящий себя непогрешимым, уходил, с некоторым уважением даже проводил иноземца. И не без досады поймал колючий, неуступчивый взгляд тысяцкого своего, Александра Морхинина, что встрел им на пути невесть почто. Хотелось крикнуть: «Да, да, знаю сам! Сам не люблю католиков, и уж Русь-то папе не продам ни за какие блага! Полно о том!» А воротясь, сник, повесил голову. Ну хорошо, тайный договор с Гедимином подписан

и лежит в скрыне, но Гедимин-то имеет в руках Литву, а он? Ему, чтобы быть полноправным союзником литовского князя, надобно прежде воротить Тверь, а и мало того – великое княжение воротить! Но Литва безпрестани спорит с Орденом, а он, Александр? Сидючи тут, во Пскове, ссорится с Великим Новгородом, угождая плесковским смердам и тому же Гедимину в его тайных планах... А и в сих делах многого ли добились его советчики? Епископа Плескову и то поставить не смогли! (Ныне сами бают: «И к лучшему!» Мол, воротим великое княжение, дак не стало бы со Плесковом лишней доуки...) От сына, из Орды, вести задерживались. Сами же Акинфичи с Бороздиным уговорили его послать Федора к хану Узбеку! Что ни бают, как ни льстят католики, а воротить свою волость он может токмо с соизволения хана Узбека! И пусть Александр Морхинин не хмурит чело! И его думою тоже отсылал он старшего сына в Орду! Немец им не люб! Без иных немцев давно бы мы все тут пропали!

Князь сердито глянул в небольшое оконце, прямым коего виделся плесковский кром с высоким храмом Пресвятой Троицы и грозными, вознесенными над крутизною обрыва башнями. Игольчато сверкал подтаявший снег на мохнатых опушках кровель. Кормленный князь! Вот он кто тут, на Плескове. Принятой! (Весь обидный смысл этого слова, коим в просторечии обозначают бедного зятя, принятого к дочери в богатый дом, разом предстал мысленному взору Александра.) Нет, он прав, трижды прав, что послушал своих воевод! Но что порешит Узбек? Федя, Федя, возвращайся скорей! Ты-то хоть не заботь отцова сердца! Княгиня опять в трепете. Иван из Нова Города угрожает войной...

Александр встал, вышел из покоя. Морхинин, все так же невступно и колюче глядя на своего господина, посетовал:

– С немцем, княже, надоть соборно толк вести! Думою штоб! И со плесковичи вместех! Не то худые толки пойдут о нас... Уж и без того...

– Ну, хорошо, хорошо! Вперед того не стану... – морща брови, рассеянно отозвался Александр. – Чать, с одного-то разговору не зазрят! Вели коня подать!

Они шагом, в сопровождении десятка кметей, проминовали несколько улиц. Снег сверкал. Небо лучилось промытою весеннею синевою. Бряцая оружием, проходили дружины горожан. Веселые, несмотря ни на что, ратники перекликались с жонками, что, выходя из калиток, тоже весело отвечали ратным. Своя дружина нынче ушла к Порхову.

На въезде в кром князя, взбрызгивая снег, догнал гонец. Тяжело дыша, натягивая повод, укротил пляшущего жеребца. Достав из-за пазухи, подал грамоту, осклабясь всею рожей, приговорил:

– Уходят москвляне!

Протягивая руку за свитком, Александр испытал мгновенное сожаление. Постоянные тихие угрозы Ивана до того надоели, что неволею хотелось боя, сшибки, открытого ратного спора с московским князем. (Хоть и знал о возможном мире заранее. Плесковичи отай пересылались с новгородской господой, и те уверили, что отговорят великого князя от войны на Плесков.)

Александр с улыбкой оглянул на дружинников, прокричал весело:

– Слышь, други! Сробели москвиты!

На миг расхотелось ехать в кром, вести долгие разговоры с посадниками и купеческой старшиной – ведь уходят, уходят уже! Подавив в себе желание заворотить коня, промчат в опор по Великой, тронул дальше. В уме сложилось: тотчас повестить княгине! Ждет, волнуется, поди! Рада будет, что обошлось без войны и на этот раз... «Ничего, Иван Данилыч! Будет срок, переведаем с тобою и на рати!» – пообещал он мысленно, успокаивая себя.

В низких воротах крома пришлось пригнуть голову. Его встречали. Похоже, об уходе москвичей отцы градские вызнали прежде него, Александра... Что ж, они мыслят, поставя своего владыку и отделясь от Нова Города, не попасть в руки Ордена или Литвы? Самим придет выслушивать послов иноземных, что только и нудят перейти в ихнюю веру! А ежели Гедимин

примет католичество, как предлагают ему паки и паки папские легаты? Что должен тогда делать он, изгнанный тверской князь?.. Додумывать не хотелось. Да и не время было: уже доехали, и кмети спешивались, отводя коней.

Он легко привстал в стремени, не тронув подставленного плеча стремянного, соскочил в снег. Гавша с Григорьем Посахном, оба улыбаясь, как именинники, приняли князя едва не под руки.

– Ведаю уже! – Александр помахал трубкою грамотки.

– Господь, Господь отвел! – говорил Гавша, крупно крестясь на купола Троицы. И уже подымаясь по широкой тесовой лестнице вечевой палаты, глянул скоса, прищуря глаз, и вполгласа спросил:

– У тя, княже, гость-от немечкой ныне побывал?

– А! – отмахнулся Александр. – Непутем и баял, все о вере да о посулах цесарских...

– Сулят много! – вздохнул Гавша, отводя глаза и вздыхая. – Католики на посулы падки... – Помолчав, уже когда входили в палату, примолвил: – Ты тово, княже, к нам посылай гостей-от иноземных. Прилюдно чтоб... Какой пакости али молвы худой не стало!

«И этот с советами!» – подумал в сердцах, но не сказал ничего. Послушно склонил голову. Рати ждали, дак не лезли с советами! А как мир, дак и вновь указуют: от сих и до сих... Не думал тогда, посылая к Феогносту о епископе для Плескова, как оно ся повернет потом. На выхвалу деял, щедрость хотел выказать свою! А стань он вновь великим князем владимирским?.. И опять не дали додумать до конца. Зарассаживались, пристойно загомонили. Сейчас почнут о кормах, подводах, вирах, мытном сборе... А ему скучать, улыбаясь, выслушивая и кивая в ответ. Ничего он не может и не волен решать здесь! Так и сидели бы заместо него тот же Иван Акинфов альбо Игнатий Бороздин! Пустые речи – боярская забота, не его! А приходит сидеть ему. Кивать. Соглашаться. Даже и сына в Орду без ихнего совета послать не возмог! Кормят. «Кормленный князь». На случай ратной грозы принятой воевода. И не упрекнешь! Кормят не скудно, любят... Пока свой!

Вечером он отослал вестовошей – воротить дружину из-под Порхова, и только тогда, уже в первых сумерках, воротил домовъ, к заждавшейся Анастасии, к детям, к семье, ради которой и жил, и нес тяготы своего нужного господарства, подчас несносно отяготительного, как ныне, когда (к счастью для всех!) ушла от него возможность на бою, лик в лик, встретить и поразить врага своего, отобравшего у него и отчизну, и волость, и власть.

## Глава 43

Федор любил отца, быть может, больше всех прочих. Любил, понимая все его недостатки и слабости. Потому в мальчишеском обожании Федора была изрядная доля материнского заботного чувства. «Жалел» родителя, как понимают это слово в народе, соединяя в нем в одно и любовь, и жалость-заботу, стремление опекать и защищать любимое существо. Он очень рано, семи, восьмилетним отроком, уже умел по едва заметному движению бровей Александра понять, чем недоволен отец, и, в меру своих слабых сил мальчишеских, подчас вызывая невольные улыбки старших, пытался отвести беду от родителя-батюшки.

Мальчику многое пришлось увидеть своими глазами, о чем иные узнают лишь по книгам да от мудрых наставников своих. Во Пскове княжич бегал по улицам ремесленного околородья, часами, морщась от жара, простаивал в кузнях, бывал у замочников, секирников, шорников, седельных или щитных мастеров; дирался со сверстниками на посаде, дважды едва не утонул, перебираясь в ледоход через Великую, не пораз падал с лошади на полном скаку, а воротясь с улицы, весь исцарапанный и в ушибах, садился за псалтырь, а потом и за «Историю» Малалы. Архидиакон псковского крома учил мальчика греческому, и к двенадцати годам Федор уже читал Омировы «Деяния», «Александрию» и труды Златоуста, Пселла и Григория



Великого. Дома были речи и споры бояр, послы иноземные, и не один раз мальчик незамеченным просиживал в думной палате, слушая витиеватые речи с уклончивыми и цветистыми оборотами, и всем своим юным разумом, а больше по выражению лиц, по невзначай брошенному взгляду или мановению руки старался понять, о чем говорят и чего хотят эти взрослые важные мужи в дорогих одеждах.

Всех сыновей у князя Александра было пятеро, да две дочери родились им вослед (последняя уже в Твери). Но дружить Федя мог только со вторым своим братом, Всеволодом, – прочие были еще слишком малы. С ним они лазали по башням крома, рискуя сверзиться вниз, проходили по неохватным перевоинам под кровлями костров. У них и место было свое избрано: противу крома на крутосклоне Гремячей горы, почти под самую башней, близ моста через Пскову. Ископана пещерка малая, и ключик родниковой воды близ нее – своей, заветной. И там оба отрока просиживали, таясь ото всех; судили взрослых, рассказывали друг другу разные тайности, приносили детские клятвы один другому. Подрастая, Федор все реже посещал ихнюю пещерку, вызывая тем ревность у Всеволода, но в этот день, когда решилась судьба его поездки в Орду, он сам вызвал брата на старое место и ломающимся баском поведал тому, что едет, быть может – на смерть!

Всеволод вздрогнул, прижался к брату:

– Как же ты?

Федор смотрел, раздувая ноздри, прямо перед собой:

– Меня будут мучить! Но я все равно не покорюсь! Умру, как дедушка! (Житие Михаила Святого они читали оба не пораз и затвердили почитай наизусть.) А ты, – он сжал до боли плечо брата, – поклянись, что бы со мной ни случилось... Нет! Повторяй за мной: «Честным крестом и пресвятой матерью Богородицей клянусь: егда погибнет брат мой старейший в Орде, не ослабну духом и не престану побарать на враги своя и град наш отчий, Тверь, ворочу под руку свою, како было при деде нашем, святом, великом князе Михаиле!»

Всеволод, бледнея, повторил клятву.

– Аминь! – хором заключили отроки. Помолчав, Федор, насупясь, добавил:

– А егда с тобою что ся створит, то передай клятву Мишутке, он как раз подрастет тогда, понял?

Всеволод молча кивнул головой.

– Ну и... посидим так!

Братья обнялись. Наступило долгое безмолвие.

– Тебе страшно? – шепотом спросил Всеволод.

Федор кивнул головой:

– Страшно, конечно! Но я все равно не боюсь! Дедушке тоже было нелегко... с колодкой на шее... Дак зато он святой, вот!

Опять помолчали.

– Ты бабу Анну увидишь... – начал Всеволод.

– Увижу. Передавали, ждет меня уже! – невольно похвастал Федор и, вспомнив, что Всеволод ни разу не видал бабушки и, верно, завидует ему, поправился: – Я ить недолго буду во Твери, разом в Орду поеду! А ворочу живой, все мы вместе к бабе Анне во Тверь поедим!

– Ты скажи ей, – стесняясь, попросил Всеволод, – что и я... что все мы... любим ее...

– Скажу! – Он крепче обнял брата и замолк. Так они и сидели молча, пока мощный голос колокола над обрывом не напомнил им, что пора уходить...

Для Федора это было последнее детское свидание, последняя игра слишком рано оборванной юности и первое предвестие грозной грядущей судьбы.

Сборы были не быстрыми, не пораз пересылались послами, и в путь отправились уже в середине зимы. В Твери за хлопотами радостной встречи он едва не забыл о давней просьбе Всеволода и только уж перед отъездом в Орду вспомнил. Великая княгиня Анна прослезилась,

услышав о любви к себе никогда не виданного ею внучонка, и порешила послать Всеволоду благословение – родовую икону, Спасов лик, древнего суздальского письма.

Федор, озрясь в Твери, которую любил всегда по рассказам старших и по смутным воспоминаниям, теперь, увидав все это повзрослевшим оком, уже и сам начал в юношеском нетерпении торопить своих бояринов. Воротиться в Тверь! Это была у него уже не мечта – дело всей жизни. И впервые, быть может, он трезво и тяжело помыслил о возможной смерти в Орде... Пусть! Иного пути не было. Сидючи отай в думе отцовой, он лучше Александра понял, что латиняне – многообразные наезжие немцы – да и государи западных земель не спасут ихнего тверского стола и не помогут Руси в борьбе с Ордой. А значит, надо было ехать к хану Узбеку и пытаться там, в далеком и грозном Сарае, удачи в споре с заклетою Москвой и непонятым князем Иваном Данилычем.

Бояр со своим сыном Александр отправил опытных, не раз побывавших в Орде, знающих тамошнюю жизнь и язык татарский. Были и старые связи, были и доброхоты тверские в свите Узбековой. Надлежало все это поднять, уведомить, обновить приязнь, повестить кому надо, послать поминки (без приноса в Орду и не ездил лучше!). Готовя поезд в Твери, с ног сбились. Анна отворила княжеские сундуки, пришло и тверским гостям поклоняться. Слава Господу, город ожил, отстроился, побогател за прошедшие леты. Было что доставать из сундуков! Обоз собрали уже к весне.

И вот они плывут по синей Волге, следя желто-пятнистые солнечные берега, провожая погосты и городки, минуя тяжело выгребавшие встречу купеческие караваны, и когда-то воротят назад!

В Орде Федор пробыл более года. Изучил речь татарскую. Начал понимать, как непросто тут все, простое издали, как тяжело порой и самому хану Узбеку, который четыре лета потратил только на то, чтобы выдать любимую дочь за египетского султана, ибо прежде, дабы получить согласие подданных и родичей своих, ему пришлось дарить чуть не всех вельмож ордынских порядку.

Узбеку по нраву пришел урусутский юноша, чем-то напомнивший покойного Тимура; он брал его на охоты, несколько раз подолгу беседовал с ним и был добр. Только провожая, глядел странно, как бы издалека, отчуждаясь: так смотрят вослед редкостной птице, пролетевшей над головой. И взгляд этот, скорее задумчивый, чем грозный, чем-то был страшен Федору. Что решал повелитель? Что решали вельможи его? Федор не знал. Бояре приходили то радостные, то озабоченные. Серебро уже брали по заемным грамотам у купцов. Федор невзначай услышал брошенное по-татарски одним из важных нойонов Узбековых:

– Коназу Александру дорого станет воротить великий стол!

И опять было непонятно, как уразуметь сказанное? Неужели отца, хоть и за большую мзду, не токмо простят, но и воротят ему великое княжение владимирское?! Он передал подслушанные слова старшему боярину. Старик покачал головой, повздыхал:

– Просим о том! Да вишь... Обадил тут Иван-от Данилыч почитай всех! Никакими посулами не своротить! Добро бы отдали Тверь, и за то надобно благодарить Господа!

Федор обветрил, загорел, огрубел и возмужал на режущих степных ветрах, на южном солнце; весь пропах запахами коня и полыни. Без него Иван подступал под Псков, без него отступил, не доведя дело до брани. И наконец, когда уже всякая надежда даже на возвращение домой покинула Федора, Узбек вновь вызвал его с боярами и, в своем роскошном шелковом и парчовом шатре, сидя на золотом троне в окружении двора, жен и вельмож, изрек, глядя куда-то поверх Фединой головы:

– Мы порешили так! Пусть твой отец сам приедет ко мне говорить о своей волости! Обещаем ему жизнь. Ступай.

Федор поклонился и вышел, пятясь. Дома бояре толковали, что дело почти устроено. Конечно, ежели московской князь сам не прискачет в Орду!

Вновь потянулись, теперь уже вспять, берега великой реки, по которой так быстро плыть из Твери до Сарая и так медленно и трудно возвращаться назад.

В Орду уезжал отрок – воротился муж. Пусть не все понял он в сложных переговорах с ордынцами, но главное постиг. И то постиг, какова цена ему, княжичу, наследнику своего отца, возможному будущему тверскому князю. Едва не схоронив бабу Анну, Федор остался в Твери. Сам, без отцова подсказа и без совета бояр, понял, что так надо. Дядя, Константин с Василием, пересидевшие в Ладоге тверское взятие и воротившие в отчий дом вместе с великой княгиней Анной, стали за эти десять лет чужими семье Александра. И для того чтобы не разошлись старые слуги, не разбрелась дружина, чтобы волость, ведомая властной рукою бабы Анны, теперь, при ее немощи, не пошатилась и не отпала от их семьи, он, Федор, должен был остаться в Твери. И Федор остался. Отослал бояр к отцу, вызвал к себе воевод княгинина полка и имел с ними долгую молвь, после чего дружина великой княгини Анны присягнула на верность юному княжичу.

Дядя Василий скоро уехал в Кашин. Константин оставался в Твери, в родовом тереме. Обедали за одним столом. Тетка Софья, «московка», сразу невзлюбила племянника. И, глядя на ее тупой подбородок, чуть выставленный вперед, и весь упорно-самолюбивый очерк лица, Федор и сам чуял к ней глухую тяжелую злобу. Все поминалось, что именно ее отец, Юрий Данилыч, погубил дедушку, Михаила Святого, в Орде. Прошное сидело перед ним за широким пиршественным столом. И подчас – глядя на тетку – кусок не шел в рот Федору. Добро еще, что Софья прихварывала и, верно, не могла, не имела сил выказать всю крутую власть своего нрава. Дядя Константин казался усталым, явно робел перед женой, на племянника поглядывал неуверенно, словно гадал: как себя вести с юношей? О делах говорили мало и всегда в отсутствие тетки и бабы Анны. Дядя горбился. Он был сух, поджар. Почасту страдал нутрянною болезнью и тогда вовсе ничего не ел. Когда-то красивое лицо Константина портили ранние мелкие морщины и общее выражение брезгливой усталости и недоверия ко всем и всему. Юному Федору дядя, коему было всего лишь за тридцать, казался и вовсе стариком. На жадные вопросы племянника о той далекой ордынской трагедии Константин отмалчивался или отвечал кратко и сухо, словно и не был сам в Орде, когда убивали его отца. Раз, подняв глаза на племянника, спросил:

– Что, Александр мыслит и все великое княжение опять себе воротить? – И, не сожидая ответа, померк, оскучнел, отворачивая взор, пробормотав невнятно: – Наверяд... Тяжело...

Почто старший племянник сидит в Твери, объезжает села, знакомит с боярами и купцами, Константин не спрашивал...

Пройдет совсем не так уж много лет, и он, уже при второй жене, обратясь от трусости к подлости, начнет ссориться с вдовой брата, Настасьей, вымогать серебро у ее бояр, утешать племянника Всеволода, кланяться у ордынского хана ярлык на тверской стол и свершит и закончит весь свой невеселый путь от большеглазого мальчика, рыдающего в юрте царевны Бялынь, до едкого неприятного сухощавого старика с дурным запахом изо рта и общим старческим резким запахом, козловатого и жадного, не ведающего, что смерть сразит его неожиданно и не в срок, посреди ненужных просьб и ненужных трудов суетных.

Новая весна выглаживала снега на полях, вновь суматошно и радостно орали птицы. Ржали кони, чуя весну, и томительной ледяною сырью несло вдоль потемневшей и посеревшей Волги – откуда-то оттоле, издалека, из-за синих лесов, от тревожных татарских степей.

Радостно и тяжело бил большой тверской колокол, и толпы горожан осыпали смоленскую дорогу, по которой ехал в город князь Александр. И Федор, поддерживающий под локоть слабую еще бабу Анну, глядя со стрельницы на приближающийся издалека поезд, весь исходил

ликованьем и гордостью. Это была его встреча, его затея! Его думою тысячи горожан ныне встречают батюшку, и дядя Константин, на тонконогом, арабских кровей жеребце, встречает брата за воротами города. Они победят! Должны победить! И Тверь, и великий стол владимирский – все будет снова у них, в их роду! И пусть сейчас Александр едет только затем, чтобы с ним, Федором, воротить во Псков, но теперь уже, после этой встречи, батюшка не отступит, не посмеет отступить от задуманного!

Юный княжич сбегает по лестницам, вскакивает в седло. Конь с места в опор, кидая позадь себя комья снега, выносит его на улицу. И Федор скачет, во главе своих кметей, радостный, под праздничный колокольный звон, встречу отца.

## Глава 44

Анастасия, или Настасья, жена Александра Тверского, прожив в браке шестнадцать лет и родив восьмерых детей, продолжала любить мужа столь же трепетно-безоглядно, как и в первые месяцы супружества.

Стройная сероглазая красавица с милыми ямочками на щеках, она с годами еще расцвела, раздалась и чуть-чуть огрузнела в груди и бедрах, пополнела-округлела лицом, отчего ямочки на щеках стали еще соблазнительнее. Дома, вечером, сняв повойник и расплетя тяжелую корону уложенные на голове две толстенные косы, она, тряхнув головой, могла тотчас окутать всю себя ниже колен густым дождем волос цвета густого гречишного меда.

Александр любил жену спокойной ответной любовью уверенного в себе и своей спутнице супруга. Дома, в семье, отдыхал, радуясь детям, что возились и кричали, лезли на плечи отцу, дрались за право подержать в руках его оружие, визжали от восторга, когда Александр подсаживал малышей на седло своего рослого боевого коня; снисходительно и терпеливо выслушивал рассказы мальчиков, почерпнутые из греческих книг и Библии. Ни храбрости, ни прилежанию учить сыновей не приходилось. Оба старшие от роду были и храбры, и кипуче-любопытны, почему и научение книжное давалось мальчикам без труда. Поворотись по-иному судьба тверского княжеского дома – и как бы не позавидовать этой семье!

Жизнь не баловала княгиню Настасью безоблачным счастьем. Грозный спор с Юрием Данилычем, казнь шурина Дмитрия в Орде, короткое, полное тревог и частых отлучек из дому великое княжение Александра и, наконец, тверской бунт и последовавшее за ним судорожное безоглядное бегство в Новгород, Ладогу, Псков – бегство в ничто! Затем вечные страхи татарской мести, девять лет жизни на чужбине, во Пскове, откуда путь был бы уже один: за рубеж, в Литву либо в немецкие земли, а там ждали бы их нищета, тщетное обивание порогов сильных мира сего, унижения и измены, скорбь и потери близких... От последнего упас Бог! До сих пор Настасья, вздрагивая, вспоминает тот год, когда Александр ушел в Литву, оставя их всех во Пскове, быть может, на выдачу и плен Ивану Московскому. Тогдашний год разлуки показался за десять. Когда воротил наконец, обласканный Гедимином, празднично, с колокольным звоном, принятый плесковичами, так едва выстояла торжественную встречу и, лишь закрылась дверь, лишь остались одни, повисла на шее у мужа, вся вжавшись, судорожно ощупывая его руками, захлебываясь от слез, – мало не испугав Александра силою страсти. Отстранясь на миг, слепительным взглядом окидывала родное, как-то чуть изменившееся лицо, вдыхая чужие, литовские, запахи от иноземного платья...

И все всегда, всю жизнь, было для него одного: для мужа, лады, ненаглядного. Для него и густые косы, и лучащийся взгляд, и домашний уют, и дети. Даже нечаянную смерть первенца, Льва, перенесла легко, без отчаянья. При живом отце дитя и еще, и еще родить мочно! Мужа единожды дает Бог! Впрочем, когда Левушка погиб, уже ходила тяжела вторым, Федей. В одночасье и опечалил и обрадовал новым сыном Господь.

А ныне сама не знала, не ведала: чего пожелать, чему печаловать? Сперва Федя уехал во Тверь и оттоле, надолго, в Орду. Затем дошли вести о болезни свекрови. Сын, воротясь из Орды, задерживал в Твери – на добро ли? Звал отца, Александра, к себе. А ну как переймут, схватят дорогою? Вдруг деверь, Константин, переметнул к Ивану? Уехал ненаглядный князь, и у нее вовсе пропали и сон и покой. Что, ежели пропадут оба? А ну как московиты изымают на миру мужа с сыном да и посадят обоих в железа, в затвор, в проклятой Москве? И что ей одной с малыми чадами в чужом городе?

Многое передумала княгиня Анастасия в эти тревожные месяцы. Первая прямая складка залегла меж бровей. И почто так волновалась, так переживала всегда, когда уезжал от нее? Или чуяло сердце невзгодушку дальнюю и маячило где-то пред нею долгое одинокое вдовство, ссоры и свары с родичами, горький вдовый хлеб грядущей судьбы? Где нашла она силы, чтобы жить, драться за судьбы сыновей, устраивать почетные браки дочек, все время гордо оставаясь великой княгиней тверской? Не сейчас, не в эти ли годы отбоялась она за всю свою грядущую судьбу, отжила, отстрадала все страхи и все страдания женские, чтобы после суметь быть мужественной уже навсегда – до конца лет, до предела жизни, до предела своей земной невеселой судьбы.

И ныне ждала, как тогда, девять годов назад, из литовской земли, неистово, страстно, как не всегда ждут и в юности. И беды не близились никакой! Ни рати не было на Плесков, никакого иного нелюбия. Почему? Почто?

Услыхав, что едут, чуть-чуть не упала в обморок, в глазах поплыло, поплыло... Едут, едут же! Всеволод первый опаматовал, кинулся встречать. Анастасия, опомнясь, подняла на ноги всех слуг и служанок. Когда Александр с сыном прибыл к себе на двор, хоромы были готовы к приему, на поварне всю пекли и стряпали, и уже подсыхали вымытые до желтого блеска полы, а Настасья, сияющая, в праздничных переливчатых шелках, в жемчужном кокошнике, окруженная вымытыми и тоже принаряженными детьми, встречала супруга со старшим сыном на сених, держа в чуть подрагивающих руках серебряный поднос с двумя чарами, налитыми до краев душистым «боярским» медом.

И была долгая толковня бояр, прях о том, что и как деять теперича? Шумный пир, длинное, томительное для нее, ожидание. И все повторялось: Орда, Орда, Орда, Узбек, великое княжение владимирское... Что ей были и кесарь татарской, и дела господарские мужевы! Дотерпеть до ночи, остаться с ним наедине! И вот наконец ночь. Счастье – и наваливающийся дурманом глубокий покой. Обарываемая сном, Анастасия все еще ласкает мужа, гладит ему бороду, разглаживает пальцами складки на лбу, все еще удивляясь, что он рядом, следит в скудном плывущем свете лампадки поднятое вверх, с задранной бородою дорогое чело.

– Спишь?

– Думаю.

– Не думай, спи! – нежно просит она и не выдерживает: – О чем ты?

Вот смутно шевельнулась борода, вот дрогнули губы... И тогда она, уже все поняв, громко, отчаянно шепчет, перебивая:

– Не надо, не езд! Задавят, замучат тебя, как батюшку, как Митрия!

Он долго молчит, мерно и тяжело дыша, и потом, когда она уже начинает успокаиваться, молвит тихо:

– Князь я! И здесь покою не дадут. Отчину не воротить, детям по чужбине скитаться придет.

Настасья, вся сжавшись от острой боли сердечной, прижимается к нему, словно уже теряя навсегда, бормочет, шепчет – сама толком не понимая, что и говорит, – что-то жалкое, свое, неразумное, женское:

– Не езд, Саня, Санюшка! На кого...

И Александр крепче и крепче сжимает трепещущие плечи жены и сжимает зубы до дрожи в скулах, чувствуя, что и сам не может заставить себя оторваться от нее, поехать в Орду, на смерть, но что и не ехать уже нельзя.

## Глава 45

Уже всюду текли ручьи, солнце пекло всюю и кое-где начинали просыхать улицы, а тут задул упорный сиверик, нанесло белесой мги и пошел снег. Дуром, что Пасха на носу, завьюжило, стойно Святки! На второй день сугробы выросли до крыльца, вновь замело обсохшие было пригорки, далекие леса и деревни по окоему утонули в серо-синем сумраке, а ветер все дул и дул, завывая в дымниках, все несла и несла метель белую тонкою порошей, и уже шапками молодого снега укрыло плесковские тесаные кровли, уже мужики лопатами начали разгребать сугробы в улицах, дивясь необычной весне. И уже совсем по-зимнему гляделся убеленный порошею простор Великой, за которым, неясные в снежной круговерти, вздымались островерхие плесковские костры с долгими пряслами стен и хороводом размытых метелью сквозистых звонниц и куполов над ними.

Андрей Кобыла стоял в долгом бараньем ордынском тулупе и бобровой шапке и с удовольствием подставлял режущему ветру разжумившееся на холоде лицо, следил, как в снежном дыму то возникают, то скрываются башни псковского крома, – словно белый холодный пожар бушевал над городом. (Когда летом Псков загорелся и выгорел весь, мало не дотла, Андрей вспомнил, гляючи на сизобагровые, гонимые ветром облака огня, эту весеннюю небывалую вьюгу.) В дымно-белых вихрях, проносившихся вдоль Великой, маячил, то скрываясь в снежной круговерти, то появляясь вновь, одинокий вершник. «Ко мне али не ко мне? – гадал Кобыла. – А стало быть седни гонцу!» Вершник, в очередную вынырнув из метели, издаleка помахал рукой. «Ко мне!» – понял Андрей и шагнул встречу. Микита, тверской ключник Кобылы, с докрасна иссеченным ветром лицом, свалился с коня прямо в медвежьи объятья своего господина. Смачно расцелованный в обе щеки, сбрасывая снег с усов и бороды, Микита полез было за пазуху – за грамотой.

– Постой! В горницу взойдем! – остановил его Андрей. – Екой ты поспешной!

Влезли в жило. Пока разоболокались, Андрей кивнул слуге, – мигом собрали на стол. Микита хлебал, обжигаясь, щи, ел хлеб, с удовольствием опрокинув в глотку чашу красного фряжского, налитого господином, а Андрей, хмуясь и крикая, шевеля губами, медленно читал грамоту сводного брата, Федьки Шевляги. Оторвавшись от письма, вскинул на ключника лохмы бровей:

– Серебро-то хошь прислал?

Тот, давась куском, быстро закивал головою. Проглотив, наконец вымолвил:

– Четыре рубли новгородских! А снадное везут обозом! – быстро примолвил он, видя, что хмурая складка на челе господина не разгладилась.

– Четыре рубли... Восемь гривенок... Мог бы и пять дослать! – пробормотал Андрей. – Шевляга – он Шевляга и есть!

Скоса кинув взгляд на тяжелый кожаный мешочек, досланный Микитою, Андрей вздохнул и спросил будто нехотя:

– Как там, в деревне?

– В Спасах? – уточнил Микита.

– Вестимо!

– А, Бог миловал! Даве глядел: кони справны, и сеять есть чем, рожь добра.

– Не блодит Офонька-то?

– Да... как ить баять? – Микита замялся. – Немного-то есь!

– Скажи, ворочусь – шкуру с живого спущу! – пообещал Андрей.

– Вот только в Замежье пакость приключилась, с Твердилою...

– Чего бы то?

– Человека убил!

– Ето постой... Какой же Твердило, кузнец?

– Он.

– Ну-у-у, – протянул Кобыла, – мужик доброй! Степенной мужик. Етот дуром и в драку не полезет! Князю положено уже?

– Дак... В мертвом теле... Князев суд...

– Мог бы Федька и пождать, не долагать! Узнай путем, што да как... Мню, не так-то просто тамо. За такого кузнеца, как Твердило, я и головную виру дам, не постою! – решительно присовокупил Андрей.

Микита почал было долагать о кормах.

– Ну а Сивой-то, Мизгирь, – перебил Андрей, – какой ныне? Девок, поди, замуж повывал всех?

– Дак што ж! Годы, господине!

– Уж и с приплодом, поди... Дивно! Помню, махоньки, едаки вот росточком, а востры... Утешные у него чада... А у Селянина, бочара, сын-от здоров?

– Которой?

– Да хошь... Верно, двое ведь у ево!

– Старшего-то Бог прибрал: кака-то болесь, не то остуда пала...

– А второй?

– Плотничает!

– Плотничает, говоришь? – переспросил Кобыла, поглядывая в маленькое слюдяное оконце, за которым бесновалась, завывая и шипя, вьюга, и с откровенною тоскою пробормотал:

– А как Селька косил! Загляденье! Меня ить не пораз окашивал! – И, крепко сжав щеки ладонями, покрутил головой.

– Стосковались, Андрей Иваныч? – участливо спросил Микита.

– Не скажи! Во снях вижу... домой бы... с косою, по лугу... – признался боярин.

Встряхнувши гривой, Кобыла отогнал настырное, до боли, видение и вновь углубил очи в братню грамоту. Скрипнула дверь. Андрей было сердито повел глазом (не любил, когда дети мешают разговору), но тут же и растянул рот в улыбке. Вошла боярыня. Ключник вскочил было.

– Сиди, сиди, Микитушко! – ласково остановила холопа Андреиха. – Добры ли вести привез?

– Федюха четыре рубли прислал! – отозвался Андрей.

Боярыня только коротко вздохнула. (Тоже ожидала лишнего, ой как нужного в хозяйстве рубля.)

– Покуда сами не сядем на селах, порядку не жди! – с сердцем сказал Андрей. – Вишь, Твердило, кузнец, каких мало, бают, человека убил!

– Надо помогать, Андрюшенька! – живо возразила боярыня (понимала мужа с полу-слова). – Может, ко князю сходить!

– Князя в екое дело мешать! Своих делов... С ханом... До нашего ли кузнеца нонече?! – Подумав, примолвил: – Однако схожу! Сраму б токмо не добыть... А по правде судить, так тово: прежде разглядеть надо, кто убил и кого? Труженик завсегда прав, а тать, вор, пьяница и не сбродил, да виновен! С иным ничо не сделать, не хочет работать – и на-поди! Куды такого? Каких детей воспитат?! Ну, разве в степь, ордынских гостей зорить... дак и то... Не! Коли справной мужик сам напал на татя и татя порешил, дак все одно виноват тать! Иначе, коли всем равну исправу по «Правде» давать, дак татю-то и выгода, ему и своей головы не жаль, а справной мужик – отойди посторонь!

– Погоди, Иваныч! – примирительно, любуясь своим богатырем-супругом, отмолвила жена. – Вызнай путем, може, твой-от кузнец вовсе и не татя порешил, а из соседей кого!

– Пушай! – взъерясь медведем, заорал Кобыла. – Пушай! Грех не по приключаяю... Все одно невиновен в сем! Стало, имел нужду убить! Може, тот его травил-измывал, до ноздрей дошло, може, над дочерью, женой ли цего сбродил! Може, еще иной какой тайностью одолит... А токмо... Знал ли кто за Твердилою хоша один грех допрежь? Никто никогда! На братчине иной свара, кто разнимет да утишит? Кузнец Твердило! Помочь кому какая надоба, починить што али там подковать, хошь и даром, – Твердило! А ты... Вишь... По людину смотри! А справны мужики никого зазря не порешат! У корел, вона, рыбного вора поймают на дели – сетью опутают и в воду! Коневого татя наши мужики изловят – кол в ж... и концы! Есь, всегда есь такой выродок, што не даст никому ни жить, ни работать, ну ни во что! Его, такого, не убивать – он весь народ перепортит, как паршивая овца стадо. На что ни пошли худое, каку пакость – изменить ли князю, свою боярина убить, мужиков пограбить, – такой сыщется...

Хлопнула дверь. Новый гость вступил в горницу. Усмехнувшись на громкую речь Кобылы, обер багровое лицо красным платом.

– Кура курит! Чисто февраль на дворе! Кого ета честишь, Андрей? – смеясь, спросил Иван Акинфов. – Здравствуй! Счас к тебе мой Федор с Морхиничем нагрянут!

Бояре обнялись. Микита, свернув грамоту, пятась, исчез из покоя. Кивнув вслед уходящему, Иван полюбопытничал:

– Из дому ле?

– Да так, рублишка привез да и вести, братуха там...

– Почто шумишь?

– Кузнеца у меня в татьбе ищут. Доброй мужик, знатный мастер.

– Быват и добрый, а уж за мертвое тело заплатишь!

– Вестимо, заплачу. Не выдма мужика, а только обидно! Ни за што серебро князю Костянтину передавать!

– Тоже и самим-то разрешить... – возразил Иван. – Не дело! Иного порешат и непутем, глаз нужен! Нам с тобою разреши токо, вмиг кого ухлопаем, сами не заметим!.. Благодарствую! – отнесся он к боярыне, которая неспешно поставила на стол чарки, кувшин меду, вишневым квас и сейчас доставала приборы из поставца. Вошла жонка-прислуга, и в четыре руки стол был живо убран после трапезы Микиты и уставлен новою точеною и глиняною посудю.

– Щец не подать ле?

– А не откажусь! – весело отмолвил Иван, потирая застывшие на холоде ладони и посматривая на стол, на коем уже появились рядом с караваем хлеба, чашею топленого масла и кувшинами нарезанная крупными ломтями сиговина, миса вяленых псковских сметков, моченая брусника и рыжики.

Испив пока, до столов, кислого квасу, Иван ухватил щепоть перевитых, скукоженных жаром сметков и, отправив в рот, хитро посмотрел на Андрея.

– Иного подлеца и к делу приставить мочно! Я справного мужика не трону: за конем ходить альбо там што подай да принеси...

– Холопья на што?

– Холопья ти тоже! Иного на пашню посадишь – и сам ему поклон воздашь! Всякой твари свое место.

– Ну и держи ту тварь на чепах! – вновь взъерился Андрей. – Кажен похочет... а потом вот! Иван мелко смеялся, жевал сметка, крутя головой.

– Те бы дать волю, ты народ, как племенной скот, разделит, и которы худы – под нож их?

– Почто под нож? – возразил Кобыла. – А так... Воли не давать...



– Воли! Ить коли б по-твоему, ну, мужика ты оправишь. А боярина? А князя? А ежели набольший такой народит? И его? – Иван показал пальцем по горлу. Андрей засопел, его ум не поспевал за быстрым умом Ивана.

– Запутал ты меня, Окинфич, маненько, а только одно знаю: так ли, сяк ли, а закон должен охранять труженика, а не тунеядца! А то втуне ядящих разведем и сами ся погубим тою порой!

– Закон, закон... – рассеянно повторил Иван Акинфич. – Как мыслишь, князю Лександру дастся княжение вновь?

– Баяли бояре, что с княжичем ездили в Орду, могут и Тверь воротить, а могут и все велико княжение. Ляксандр ить был великим князем-то!

Иван вздохнул, утупил очи.

– Чего вздыхаешь? – спросил Кобыла. – Я дак жду не дожусь домовь воротить! Плесковичи и добры до нас, а все воля не своя, не своя и отчина! А ты словно не радошен тем?

Иван Акинфич взглянул на приятеля без улыбки, устало и строго вымолвил:

– С Иваном Данилычем ратиться придет, Андрей!

Кобыла собрал брови хмурью. Как-то сам о том не подумал путем ни разу.

– Села твои переяславски опеть... – начал было он.

Иван зло отмахнул рукой:

– Дались всем мои села переяславски! И у Сашка села ти, и у тебя, Иваныч, село под Москвой! Не в селах дело! – бросил он почти с отчаянием. – А и в них тож! Нам всем, всем, Андрей! И тебе, да, да, и тебе! Надобен единый глава, едина власть, один князь великий на Руси!

– Дак почто?! Лександр-от, батюшка, коли возьмет велико княжение, дак единым великим князем и станет на Руси?! – недоумеая, воззрился на него Андрей. Иван Акинфич глянул на хозяина тяжело и недобро, словно гадая: говорить или нет? Слышнее стала выюга, подвывавшая в дымнике. Но тут в сенях зашумело, двери весело расскочили, с гомоном и шумом ввалились, оба оснеженные, краснолицые, Федор Акинфич с Александром Морхининым.

– А, Иван и тут первый поспел! – прокричал Федор.

– Не шуми до поры! – возразил Иван. – Скоро тебе воеводить на дели придет?

– Против Иван Данилыча?

– Противу татар! – значительно изрек Иван, погасив веселье братьев.

Зарассаживались. Андреиха сама внесла обернутый полотенцем дымящийся горшок щей. Отложив взятую было ложку, Федор выпрямился:

– Чтой-то опять темнишь, брат!

– Снидай, снидай! – добродушно окоротил Иван. – Поснидашь, сам все скажу-выскажу! Ты-то вот, Ляксандр, законник, ты у нас тысяцкой! – лукаво добавил он, глядя на двоюродного брата.

– Не зуди! – угрюмо отозвался Александр. – Теперича буду и тысяцким вскоре!

Тверским тысяцким назначил князь Александр боярина Морхинина словно в насмешку. Где Тверь и где они? Но теперь, верно, вроде бы вскоре звание тысяцкого должно было обрести силу.

– И ты, брат, подумай прежде: не под новый ли погром тверичей поведешь?! – продолжал Иван, словно не заметив обиды двоюродника.

– Да молви толком! – взорвался Федор.

– Повести мужикам, с чем пришел! – подал свой голос и Андрей Кобыла.

Иван кончил щи, рыгнул, сыто отвалил к стене.

– Дак вот, други! То были грамоты, а ныне полный договор с Гедимином подписан: Литве – Смоленск, а против хана – вместилах!

Сотрапезники замерли.

– Как же без нас-то? – недоуменно протянул Андрей. – Думу ить вместиах думали! – присовокупил он с обидою.

– Немчин все, Дуск ентот самый, и тот, другой, Гедиминов, Жигимунт, Зигмунд, разом-то не выговоришь! Они и подвели. Дак вот и разглядяйте, други, не дорого ли плачено за великий стол?

– Эх! – встряхнул головою Федор. – Неполуби мне твои подходы, Иван! Ить стало б одно: альбо служить Александру Михалычу, а другоюко – отъезжать от ево!

– Дак почто тогда естолько летов тута сидели?! – прогудел Андрей. И Александр Морхинин тоже покачал головой с осудительной раздумчивостью:

– Немцы – они немцы и есть. И Гедимин, дружья-товарищи, у ево своя беда на дворе! Ему с ляхами да чахами сговорить, да Орден ентот на хвосте висит, а в Подолин с татарвой рать без перерыву... Ево, други, понять мочно! А вот Русь как тут... Можем ли мы Русь спасти, коли правде изменим?! Задал ты задумку немалу, Иван!

Иван, ожидавший дружного возмущения друзей, молчал. Что-то – он еще не понимал что – не получалось, не выходило так, как он задумал сегодня из утра, да и сам он уже начинал колебаться в своих мыслях. А ну как правы братья и спешить с осуждением князя Александра вовсе не след?

И началась долгая пря, в коей хороводом проходили Москва, Литва и Орда и где решалось и так и другоюк и всяко оказывало одно: надо годить, ждать, глядеть, как оно повернет. А пока безусловно и дружно помогать князю Александру.

Смеркло. Внесли свечи. Уже многожды, вновь и вновь, наполнялись кувшины с квасом и хмельным медом, и уже бояре, устав спорить, сникли, почуяв, что пора им и по домам. На дворе все так же мело, все так же выл ветер в дымниках, и уже совсем непроглядной чернотою гляделся размытый и смятый метелью простор Великой с чуть брезжившими вдали, по-за стенами, светлыми окошками псковских хором. Федор, выходя, рек:

– Пождем-ко Орды! До писанного на грамоту далеко! Хан и другоюко порешить может!

– Худого б не створило ищо! – жестко примолвил Александр Морхинин. – Тяжка Орда, а и с Литвою беда! Не отдаем ли мы Русь Гедимину?

– Ладно, братцы! – устало заключил Иван, усаживаясь в седло. – Я вам, как на духу, а дале – никому!

– Вестимо! – отозвался Андрей, вышедший проводить приятелей.

Одного не сказал Иван Акинфов соратникам: что у него самого два дня назад побывал на дворе тайный посол Ивана Калиты. И другого не сказал, хотя ждал вопроса: примет ли их всех князь Иван и даст ли места в думе княжой? – что да, примет! И на почетные места! Но не спросили, и сам не возмог сказать. Как оно еще ся решит в Орде!

## Глава 46

Жарынь! В улицах Москвы клубами горячая пыль. Парит. Дождя б и не нать, покос, а так охота на эту едкую, пропахшую дерьмом, гнилью, людским и конским потом серую мгу, запорошившую дома, заборы и листву дерев, веселого звонкого дождика! Пусть грязь, да вздохнуть полною грудью свежий, лесной дух из Заречья, увидеть промытые синью небеса, мокрые крыши в резных опушках, упруго трепещущие ветви яблонь и озорные глаза молодок, что, завернув подолы на головы, со звонким смехом бегут укрываться под навесы торговых рядов...

На порядком обмелевшей Москве стук вальков, бабы выколачивают портна. Вдали гомонит торг. Где-то бухают увесистые удары: загоняют новые сваи под причал. На въезде в улицу едва разминувши с мужицким, нелепо застрявшим поперек возом, Мишук рысью проминовал высокие частоколы сябров, кожевника и шерстобита, и у своих хором тяжело спешил, обрасывая росинки пота с чела и бороды, повел плечьями, чуя, как горячо налипла на спине волг-

лая рубаха, пихнул заскрипевшие створы ворот, завел коня. Средний сын, Услюм, выбежал, подхватил повод.

– Никишка где? – недовольно обронил Мишук.

Старший нынче начал загуливать непутем. То приятели, то беседа, уже и девок высматривает, молокосос! А у дела возьмишь, и нет! Отец... Ну, отец в его годы тоже был не промах... А все ж Москва не Переслав, тут и разбойного народу довольно – попадет в иную ватагу... Надо приучать к службе молодца! Сыну Мишук уготовал свою судьбу: служить на дворе великого боярина Протасия, при Василье Протасыиче, в молодых. Сам с того начинал. Да о сю пору жалел молодца, все давал погулять, потешиться. А ныне... Он поглядел, как Услюм старательно заводит коня к коновязям, и, пригнувшись, полез в полутьму домовой клетки.

Катюха едва глянула от печи. Явно чегось не так у нее, опять какая поруха в обрядне, пото и небрежничает! Дети загомонили разом. В избе от мух и жары было не продохнуть. Трехлетняя дочурка вывернулась сбоку. Мишук походя торнул ее за вихрастую головенку, и она тотчас побежала хвастать перед братишкой:

– А батя меня потрогал за волосы!

Младшие, двойняки, паренек с девочкой, ползали по полу, и тут тоже оба покатили под ноги отцу. Подняв паренька, Мишук сморщил нос:

– Обмыла бы хошь! – недовольно крякнул он.

– Я все про все одна! Хоть разорвись! На естолько ртов, да скотина, да кони! Никита бегат непутем! Ково тута обмывать, не знашь присести за полный день... – визгливо, переходя в крик, завела Катюха, и пошла, и пошла... Мишук только махнул рукой. При тетке Просе все жалилась, что та ей век заедает, а померла Просинья – и рук ни до чего не найдет!

– Девку бы взяла хошь какую... – не удержал он все же укора.

– Найдешь тута девок, на Москве... Однова и гляди за ней! – остывая, пробормотала Катерина. Быстро подхватив малого, обтерла ему мокрой тряпкой ноги и рожицу, от чего тот тотчас залился в рев.

Ополоснув руки и шею, Мишук крепко провел грубым рушником; не столь от теплой воды, сколь от льняного рушника, почуяв прохладу, вздохнул, перекрестил лоб и развалисто сел за стол. Катюха стала швырять из печи горшки, и уже маленькая Ксюша лезла ему на колени, а Сашок отпихивал ее, стараясь уместиться к отцу сам. Семеро по лавкам! Тут и не семеро, девять уже! Молодые, парень с девкой, еще катаются по полу, а старшую дочь, гляди, скоро нать будет и замуж: двенадцатый год девке пошел!

Услюм зашел в избу, пристроился с краю стола.

– Никита где? – спросил Мишук.

– А где-та шастат! – живо отозвалась Катюха.

– Шастат... Не евши, не пивши... Ты мать, должна знатье иметь, где сын-та!

– А ты отец! – споро возразила Катюха и опять зачастила: – Уж такой лоб, где мне одной...

– Ну буде, буде! – оборвал Мишук. Придвинув глиняную мису – от огненных щей валил сытный пар, – он крупно отрезал ломоть хлеба, посолил. Ел молча, изредка срыгивая, вполуха выслушивая таратористую речь жены. Пахло потом, кожей, нечистыми детьми. От пойла, приготовленного поросенку, несло кислятиной.

– Хоша отволоки окошка-та! – вымолвил он, отваливая от щей.

– Мух налетит!

– Мух у тя в избе поболее, чем на улице!

Услюм кинулся отодвигать дощатые заволочки узеньких окошек. Молчалив и исполнительен. Работник растет. Меньшой, Селька (Селянином назвали), тот заботил. Оногда скажешь – будто и не слышит! Ну, може, вырастет, станет книгочий, яко дядя Грикша, по тому делу пойдет... Да Никита, Никишка, вот от кого днесь голова болит! Со старшим спасу нету уже и теперь. Придвигая горшок с черной кашей, Мишук проронил:

– Слух есть, поход ладят... На Двину. Черный бор собирать будто. Заместо новгородцев!

– Поедешь? – вскинулась и даже как-то прояснела голосом жена.

– Чево я там не видал! – недовольно возразил Мишук. Помолчав, прибавил: – Не. Покос у меня. Да и опосле, хошь... Вас тут вон больно много!

– С севера жемчугу бы привез! – разочарованно протянула Катюха.

Мишук глянул. Жена с последних двоен сильно раздалась вширь, ходила враскачку, маленькая, не ходила уже, а колом каталась по избе... «Отбыло твое время, Катюха! – подумал он без злобы и жалости. – Ково нынче... Клуша-клушей. Только новгородского жемчугу тебе... Зады малым не подотрет!»

Он по-прежнему любил ее, любил ее привычно-податливое тело в постели, но нынче все чаще после любовных ласк подымалось в нем раздражение на жену, на ее неряшество, детскую незаботность, на вечное недуманье о том, что может случиться наперед. Пора бы и уметь! Весь век в девках не пробегаешь!

– Наездилсе! – сказал он, невольно переходя на полузабытый новгородский говор.

– Сам же повторяешь, што тятя у тя всюю жисть ездил! – попеняла Катюха.

– Дак я у тяти один и вырос! Да и то чудом: Яшка, покойник, спас! Тут бы иной войны не было... – На недоуменные взгляды жены и Услюма (оба враз так и уставились на отца) Мишук, обтирая бороду и всовывая малому в рот кус хлебного мякиша, пояснил: – С Тверью! Ляксан Михалыч, слышь, ладит из Плескова к себе на стол... Тогда уж вси пойдем!

Поскреб в горшке, доедая кашу. Запил квасом. Уставать стал нонече. Али ко грозе? Жарынь!

– Покос, покос! – ворчала Катюха. – Служишь, служишь, а чево выслужил? Дюжину ртов с одной деревни кормишь!

– Службой и живу! – обиженно возразил Мишук. – Все сыты покамест! Вона: холопов привел!

– Холопи твои... Один там и вовсе, бают, нос задрал! Не деют ни лысого бесу! Никоторого тебе и покоса не будет!

Опешил Мишук, сперва не понял, подумалось грехом: так сболтнула. Но Катюха, твердо сев на лавку, глаза в глаза, ладом повторила злую весть, примолвив, что из деревни прислали, посельский Васюка Хромого приезжал, дак с им!

– Из двоих один, бают, работает, а второй, Офонька, блодит, не мое, грит, дело!

– Чего ж разом не сказала? – взъярился Мишук. – Чего молчала допрежь!

– А што, не поевши бы кинулси? – возразила Катюха, и на сей раз, кажись, была права. Мишук уже стоял, затягивая пояс.

Прорычал:

– Я ему покажу, чье то дело!

Выходя, уже с порога, повелел:

– Никишка пушай, коли сыщется, едет за мной, не стряпая!

Мельком подумалось: худо, что не отдохнул, не выстоялся конь... Помедлить? Но уже и с тревогою взглядывалось на него и безжизненно громоздящиеся в вышине словно выпцветшие облака – а ну как ежели дождь? В покос ить и своих молодцов не созовешь! Кажен косит ежели не на себя, дак на боярина. Протасию, ему сколь ни буди косцов, все мало, при таких-то стадах коневых! Одно спасение нынче – эти холопы, приведенные из Осечны... Ну, ежели и они подвели! Все еще не совсем верил Катюхе, не хотелось верить. Мало ли и сбрешут чего!

Выезжая из улиц, Мишук мимоходом приметил две новые клетки, срубленные днями. Москва расстраивалась на глазах. Все новые амбары, хоромы, избы прибавлялись по-за Неглименью, множились кузни, шорные, валяльные, седельные, щитные мастерские... Минувя ремесленное околородье, он невольно придержал дыхание – такой кислой вонью несло от кожевен. Но вот начались огороды, пыльные сады, и уже пахнул, освежив лицо и разом наполнив грудь,

вольный дух полей. Вот и первая березовая роща. Конь пошел резвее, начались перелески, рощи. Однако жарко было и тут. Парило! И Мишук, изредка взглядывая в небо, на неживые сизые громады, утонувшие в жарком мареве клонящегося долу дня, погонял и погонял коня. За Сходней пришлось спешиться, покормить и напоить взмокшего Гнедого. Заночевал Мишук уже в Красном и, едва вздремнув, еще в потемнях, уже снова был в седле.

Солнце пробрызнуло жарким золотом, всклубив речные истринские туманы, и уже высоко конько встало над лесом, и уже ушли последние пятна ночной сыри из-под дерев, когда наконец показались знакомые уголья. Конь был добрый у Мишука! Зимой возы с сеном отсюда до Москвы прежде полутора дней и не доправишь!

Подъезжая, он привстал в стременах и закусил губу. Там, где Мишук ждал увидеть островершие сметанные копны (новое слово «стоги» еще не укрепилось на Москве), лежали только безобразные кучи свезенного сена, и – никого! Зверея, он подскакал к летовке, швырком откинул дверь. Оба холопа сидели за столом, хлебали ложками квас из самодельной долбленной тарели. Завидя гневного хозяина, утопили ложки, и первый, бледнея, торопливо промолвил:

– Я один не помечу, хозяин, мне-ко одному-то немочно...

– А я не желаю тута боле вершить! – перебил его второй. – Я медник, за меня выкуп должны дава...

Не успел докончить. Мишук, вложив в удар всю силу скопившегося гнева, ринул кулаком прямо в наглые рыжие глаза. Холоп, слетев с лавки, шлепнулся о стену, вскочил и кинулся на Мишука. Свернули стол. Бурый квас с зелеными перьями лука потек по полу. Мишук сгреб холопа в охапку и ринул в дверь, но и сам, не устояв, выкатил следом. Второй холоп выскочил из дверей летовки с кичигой в руках, еще сам толком не понимая, к кому пристать. Мишук, мгновенно пожалев, что не дождал и не взял сына, вырвал кичигу у него из рук и, собрав в удар все и последние силы, огрел противника по голове. Кичига с треском переломилась. Медник пал под крыльцо. Мишук бешено глянул на второго – тот прынул в сторону. И тогда Мишук принялся обломком кичиги избивать вставшего на четвереньки противника. Тот уже не лез в драку, только прикрывал голову и лицо, бормоча что-то о правах и обельной грамоте.

– Права? – с хрипом выдохнул Мишук, приодержавшись (обельной грамоты на холопов у него, и верно, не было). – Я тя на рати ял! – прорычал Мишук. – На рати ял! – повторил он и, почти в визг: – Зарублю суку!

Взяв за ворот медника, он ударил его о стену и – прямо в лицо, в хлещущую кровь, в даве наглые, а теперь испуганные глаза... И бил уже лежавшего на земле, пинал сапогами, в беспамятстве повторяя:

– На рати, на рати ял!

Задышавшись, остоялся, и уже вовсе мелькнула мысль о ноже, рука сама стала шарить по поясу.

– Хозяин! – судорожно крикнул второй, остудив горячую Мишукову голову.

Подтянув медника к колодцу, Мишук черпнул и вылил полведра на избитого. Пнув, приказал:

– Вставай, падина!

Тот, закачавшись, поднялся на ноги.

– Лезай! – велел Мишук, подогнав холопа к начатому стогу. Тот полез на стог и упал. Мишук, натужась, сам закинул его на сено. – Топчи!

В две рогули стали подавать. Избитый медник плясал на стогу, утирая кровь с разбитого лица, нелепо взмахивая руками, но клал, кажется, толково, верно, работать-то умел.

К пабедью довершили первый стог. Подтащили сена и принялись за второй. Уже в багряных лучах снизившегося солнца, подоткнув обе копны порицами, пошли домой. Потянуло сырью, сено к ночи вбирало влагу. Ночью копны не вершат... У Мишука с отвычной работы дрожали ноги, руки тряслись. Ужинали молча.

– Ну, – угрюмо пообещал он, – хватит ночью дождем – убью!

Спать легли вповалку, все трое в одном углу. Засыпая, Мишук сунул нож под себя. Подумал: прирежет во сне! Ну, так и нать старому дурню!

На заре его разбудил тоненький всхлип.

– Ты чего? – пробурчал он спросонья.

– Медник я, мастер! А ты... За меня должны хороший выкуп дать! Тебе ж, тебе ж бы...

Може, уже и выкликали, а я тут, в нетях...

Мишук черпнул квасу, долго пил, обмысливая. Сказал, протянув кружку:

– Пей! Какой ты ни мастер, а коней морить мне не след! А коли выкуп пришлют, твоя удача! У нас на Москве те дела строго блюдут, и тебя не минует, не бойсь. – Подумал, прибавил: – Ладно. Вставай. День долог.

В этот день поставили втроем еще три стога. Мишуку не след бы доле и задерживать, да на кого бросишь? Впрочем, к вечеру прискакал Никита. Завидя еще издали знакомые вихры и разбойные светлые глаза сына, Мишук вздохнул с облегчением. Сын подскакал, с любопытством озрел всех троих, приметив разом и синяки на лице медника, и смущенный лик родителя. Присвистнул, легко соскочил с коня. Невысок, а уже и теперь видно: будет широк в плечах и ухватист. Ладный сын! Кабы еще и к делу прилежанье имел! Никита, хмыкнув, сообщил:

– Тятя! Василий Протасьич тебя кличет!

Мишук подумал, почесал в затылке. Сам боярин кличет, стало – скачи в ночь! Сказал-попросил:

– Побудь, Никиша, здесь, пока останние копны не поставят! Снедного привез ле?

– Матка хлеба да пирогов послала! И сыру, вот...

С сомнением выслушав дружные заверения всех троих, что копны смечут и без него, и наказав Никите не отлынивать от дела, Мишук порысил назад.

Гроза, прошлую ночью разразившаяся над Москвою, миновала Звенигород, то только и спасло Мишуково сено. Он порядком устал за эти два дня сумасшедшей работы и едва ли не впервой помыслил, что уже перевалило за пятьдесят и со женитьбою он много припоздал в свою пору: дети малы, а силы уже вот-вот и на исходе! Верно Катюха ворчит: с одной деревни, с одного мужика ни дочерей приданым наделить, ни сынов в люди вывести... Батя и то имел земли поболее моего! А девок нать пристраивать! И Никита нравный, гордый, смотрит, куда повыше попасть. Ну, Услюм... Дак и тому не в мужики ить подаваться! Добро отцово в скрыне да в земле Мишук сумел сохранить, кое-что и прикупил – прибавил к тому... Куплять землю? Коштовато! Да и не одюжить ноне ему земли...

Что-то сдвинулось в нем: убыль ли сил, близкая старость, смутная ли вина перед медником, коего избил он непутем. Нежданно возникла, как первое дуновение холодного ветра среди августовской горячей от зноя листвы, мысль: бросить все и пойти в монастырь. Далекая еще мысль! Детей поднять надо было прежде... И от монастыря, от детей перекинуло к походу на Двину, о коем упорно поговаривали на дворе у Протасия. Може, напроситься и мне? Поди, и с прибытком воротят!

Да, вот так! Сходить на Двину, пограбить! Он усмехнулся сумрачно. Устроить сына в службу. Выдать замуж хотя старших двух дочерей, и – прощай, Катюха! Тогда уж уходить в монастырь...

## Глава 47

Жизнь в Радонеже идет своим чередом. Поправить на новом месте дела господарские, как хотелось и мнилось боярину Кириллу, так им и не удалось. Семья все больше опрощалась. Да и Тормосовы, приехавшие всем огромным родом своим, да и протопопов сын Георгий, и сам Онисим, некогда думный боярин ростовский, – все они стали тут, в Радонеже, простыми

вотчинниками, рядовыми держателями земли, едва ли даже не черносошными мужиками... Все прочее зависело от рабочих рук, деловой сметки, въедливости в труде. Этими добродетелями, слава Господу, сыновья Кирилловы обижены не были. Трудились все, и по труду в доме был достаток и хлебный запас. Ежегодно подымали новые росчисти, выжигали пни, пахали, сеяли, жали. И отношения родичей стали сердечнее, проще. Охотно являлись на помочи, задушевнее пировали по праздникам.

...Вот хлопают двери. Вся облепленная снегом, румяная, сияющая, нежная в своем пуховом плате и шубейке, забегает Нюша, протопопова внучка, Анна Юрьевна, как вполшутя зовет ее по изотчеству Онисим. Ойкает, ласково и звонко произносит: «Хлеб-соль!» – и таратористо передает, с чем ее послали родители, сама озорными глазами оглядывая по очереди всех троих братьев, что сидят за столом, хлебают щи и, каждый по-своему – Стефан снисходительно, Петя радостно, а Варфоломей застенчиво, – невольно отвечают на ее улыбку. А то ввалится дядя Онисим с каким ни то известием о том, что происходит там, наверху, на Москве. Куда поехал великий князь, куда уланы рати, кого созывают нынче в Орду, к хану. Рассказывает, а никого все то уже и не трогает взаболь. Иные заботы у всех на уме: не вымерзло б яровое, не залило б покосов водой, да почем сало, говядина, кожи? Нынче, как вышла легота, приходит и дани давать, и на тот же ордынский выход опять собирать серебро!

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.